



СОЛДАТЫ НА ПЕРЕПРАВЕ

Воспоминания
хасидов Хабада,
собранные и литературно
обработанные
Давидом Шехтером



ЧЕЙСОВСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

СОЛДАТЫ НА ПЕРЕПРАВЕ

*Воспоминания
хасидов Хабада, собранные
и литературно обработанные
Давидом Шехтером*



{книжники}

Москва, 2014

УДК 821.161.1-94+296.67
ББК 84(2Рос=Рус)6-4+86.33
С 60

Главный редактор Борух Горин
Литературный редактор Галина Зеленина
Корректоры Виктория Рябцева, Нина Сергеева
Верстка Дмитрия Кобринского
Выпускающий редактор Надежда Бахолдина
Ответственный за выпуск Яков Ратнер

Издательство благодарит Давида Розенсона,
без которого создание этой серии не было бы возможным.

Оформление серии Андрея Бондаренко

ISBN 978-5-9953-0315-2

© «Книжники», 2014

ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

Материал для этой книги я собирал в 2007–2008 годах среди любавичских хасидов, живущих в Израиле — в Кфар-Хабаде, Лоде, Бней-Браке, Ришон-ле-Ционе. С первых же дней работы я натолкнулся на совершенно неожиданное для меня препятствие: подавляющее большинство тех, к кому я обращался, под разными предлогами отказывались поделиться своими воспоминаниями, тем более — позволить мне записать их на диктофон.

Мотивировки были самые разные: «А кому это вообще надо?», «Я уже почти ничего не помню», «Ничего интересного рассказать не могу», «Я бы с радостью, да вот здоровье не позволяет, все время чувствую себя отвратительно».

Я сперва верил, но после того, как натолкнулся на четвертый или пятый отказ, начал подозревать, что на самом деле за всем этим кроется совсем другая причина. Пока один из «отказников» не сказал мне прямо: «Я боюсь».

«Чего же тут бояться? — удивился я. — Ведь я прошу рассказать о делах давно минувших дней, о событиях полувековой давности. Советская власть давно не существует, а нынешняя ФСБ вовсе не НКВД. Тем более что я прошу рассказать не о том, как вы собирались взорвать

Днепрогэс или убить все Политбюро во главе с товарищем Сталиным. А о том, как проходили хасидские фарбренгены, что на них говорили, какие песни пели. Меня интересуют бытовые детали — где и как вы доставали кошерное мясо, мацу, как исхитрились соблюдать субботу. Чего тут бояться, кто вас за это может преследовать?»

«Ты ничего не понимаешь, — сказал мой собеседник. — НКВД хоть и сменил вывеску, но никуда не исчез. И руки у него по-прежнему очень длинные, достанут даже в Израиле».

Реб Йона Левенгарц хоть и согласился дать мне интервью, но высказал в нем те же опасения.

«Я боюсь, — признался он. — Хоть умом и понимаю, что это глупости, но боюсь. Этот страх сильнее меня, он сидит где-то в подсознании. Я знал слишком многих людей, которые исчезли в ГУЛАГе только потому, что были религиозными евреями. И этот страх впитался в меня, став частью моей души. Я понимаю, что сегодня это, наверное, выглядит смешно, но избавиться от него я не в состоянии».

К сожалению, большинство тех, к кому я обращался, не сумели перебороть этот страх и не поделились своими воспоминаниями. И я, хотя тоже был участником еврейского религиозного движения в начале 80-х годов прошлого века, пережил обыски и даже небольшую «экскурсию» в тюрьму, не могу и не имею права иметь к ним даже малейшие претензии. Мне просто повезло: я жил и живу в другое время, когда то, что пришлось пройти этим людям, кажется жутким, невероятным, кафкианским кошмаром.

И тем более ценны рассказы, да нет — свидетельские показания — тех, кто согласился, несмотря ни на что, встретиться со мной, зная, что все это будет опубликовано. И не где-нибудь, а в России. В той самой России, где им пришлось так страдать; страшная память о пре-

следованиях, пережитых в ней, до сих пор терзает их, не давая спокойно жить и адекватно воспринимать действительность.

Хочу особо подчеркнуть, что все эти люди вовсе не считают себя мучениками или героями. Они держатся просто, очень доброжелательны, добродушны и во всем, что касается израильских реалий, открыты и не закомплексованы. Они искренне считают, что ничего особенного в своей жизни не сделали, — просто жили, просто соблюдали заповеди, просто шли по пути, указанному их учителями и Любавичскими Ребе.

То, что сегодня всем им уже за 80, а кое-кому и за 90, и они остаются верными хабадниками, воспитавшими в этом же духе своих детей и внуков, не кажется им чем-то достойным внимания. Это — их жизнь. Это — их убеждения, впитанные в детстве и пронесенные через все беды, невзгоды и радости.

«Ну, какой интерес может представить мой рассказ, — искренне удивился Мелех Левенгарц перед началом нашей беседы. — Я не сидел в тюрьме, ни с кем не дрался, не сражался, не был ни оратором, ни организатором. Я просто всю свою жизнь прожил как религиозный еврей, как хабадник. Да, я никогда в жизни не работал по субботам и в еврейские праздники, никогда не пробовал некошерную еду. Ни одного дня не занимался в советской школе, не состоял ни в пионерах, ни в комсомоле и уж тем более в компартии. Но это факты моей личной биографии, ничем особо не примечательной. Так о чем я могу рассказать, что тут есть интересного — это все только моя личная жизнь».

А когда после беседы с ним я радостно сообщил, что он на самом деле рассказал мне именно то, что я ищу, реб Мелех удивился еще больше. Это удивление не было продиктовано простотой душевной и не являлось позой ложной скромности. Нет, реб Мелех, как и другие герои

этой книги, считает, что иначе жить было нельзя. Потому что жить иначе не имеет смысла.

Признаюсь честно: говоря с героями этой книги, слушая их рассказы, а потом обрабатывая свои записи, я получал огромное удовольствие. И не только от общения с этими цельными, чистыми, так редко встречающимися в наше время людьми.

То, что они мне рассказывали, порой удивительно напоминало так называемые «хасидские майсы». Но в данном случае я точно знал: это не легенды, не фантастические истории о чудесах, которые то ли творили праведники, то ли из лучших побуждений придумали их последователи. Это и не дидактические истории о преданности, бескорыстии и готовности хасидов к самопожертвованию, призванные подвести слушателя к соответствующим выводам о пользе добра и вреде зла. Нет, все это происходило совсем недавно, в стране, где жил я и все читатели этой книги. И происходило в действительности.

Я мог судить об этом хотя бы по тому, как они рассказывали, — заново переживая события полувековой давности, порой смеясь, а порой и плача. И эти обнаженные эмоции, которые им зачастую не удавалось, несмотря на явные старания, скрыть, были лучшим подтверждением правдивости их рассказов.

Мне было не только чрезвычайно интересно. Я и многому научился у этих людей. Общение с ними оказало на меня серьезное влияние, которое, я уверен, со временем не ослабеет, а только усилится. Я надеюсь, что читатели книги получат такое же удовольствие от этих рассказов — они будут им столь же полезны и окажут на них такое же благотворное влияние, как и на меня.

СЧАСТЛИВЧИК

Зуша Гросс

Я, Зуша Гросс (Прусс), родился в 1937 году в Ленинграде, в религиозной семье. Мой дед со стороны матери Шмуэль Миндель был *машгиахом*¹ и *шойхетом*² еще при предыдущем Любавичском Ребе Йосефе-Ицхаке, Раяце³. Собственно, Ребе и назначил его на пост машгиаха. Дедушка сперва был просто шойхетом и бойдеком, то есть тем, кто проверяет, насколько ножи шойхетов соответ-

¹ Машгиах (ивр.) — дословно «наблюдатель», от *гаашгах* — «наблюдение». Машгиах наблюдает за всем процессом шхиты, то есть кошерного забоя скота, и следит, чтобы резник в точности соблюдал все релевантные правила галахи, еврейского религиозного законодательства. — *Все примечания, если не указано иначе, принадлежат автору книги.*

² Шо(й)хет (ивр.) — резник, обеспечивающий забой скота в соответствии с правилами шхиты. Здесь и далее: рассказчики иногда произносят те или иные еврейские слова и выражения в принятой в современном иврите фонетике, но чаще — в идишском варианте, или в ашкеназском произношении: *шойхет* вместо *шохет*, *Тойре* вместо *Тора*, *Исроэл* вместо *Израэль* и т. д. — *Прим. ред.*

³ Йосеф-Ицхак Шнеерсон (1880, Любавичи — 1950, Нью-Йорк) — шестой цадик любавичского хасидизма; подробнее о нем см. Краткую историческую справку.

ствуют правилам галахи. А Ребе сделал его ответственным за всю шхиту (производство кошерного мяса) в Ленинграде. Когда Ребе приезжал в Ленинград и останавливался на квартире у реб Шмуэля Немойтина⁴ и его жены Иды, дедушка всегда встречался с ним и докладывал о своей работе.

С Немойтиными моя семья очень дружила. Это были необыкновенные люди. Когда сын реб Шмуэля реб Фоля (Рефоэль)⁵ отбывал ссылку в Казахстане, мой отец Шмуэль-Лейб поехал его проводить. Реб Фоля рассказал, как он соблюдает кошер даже в ссылке, где и обычной-то еды было

- 4 Немойтин Самуил Евсеевич (Шмуэль) родился в 1879 г. в местечке Бышенковичи, в семье раввина. В 1920 г. арестован и приговорен к пяти годам тюремного заключения, вскоре освобожден по амнистии. Жил в Ленинграде, работал вязальщиком-трикотажником на дому. В семье было два сына и три дочери. В 1937 г. арестован в Ленинграде как «активный хасид-антисоветчик и сионист, поддерживающий связь с зарубежными сионистскими кругами». Из обвинительного заключения: «Является активным сионистом, ведет контрреволюционную агитацию за эмиграцию евреев из СССР в Палестину, допустил контрреволюционный выпад по отношению к тов. Сталину, проявляет террористические настроения к руководителям партии, имеет связь с границей». 26 августа 1937 г. приговорен к высшей мере наказания, 29 августа расстрелян на Левашовской пустоши. 22 февраля 1957 г. реабилитирован. Здесь и далее: биографические справки о хабадниках составлены на основе их следственных дел, хранящихся в следующих архивах: Государственный архив РФ; Архив ФСБ РФ; Архив УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; Архив Управления СБУ по Киевской области; Архив Управления криминальной информации, Центр правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан; Архив Управления СБУ по Львовской области; Архив Управления МВД Узбекистана.
- 5 Немойтин Рафаил Шмуилович родился в 1909 г. в Двинске (Латвия). Жил в Ленинграде. В ноябре 1937 г., после ареста и расстрела отца С. Е. Немойтина, был приговорен как «социально-опасный элемент» к административной высылке — сначала в Ярославль, позднее в Казахстан. В послевоенные годы находился в Кустанайской области, откуда 30 ноября 1953 г. был освобожден. В декабре выехал в Ленинград, был шохетом. 22 февраля 1957 г. реабилитирован после решения о реабилитации его отца.

немного. Он показал отцу свой *халейф* — шойхетский нож, который держал под подушкой. Показал и говорит: «У нас тут плохие условия, и я себе позволяю есть мясо от своей шхиты. Но ты в другой ситуации, поэтому не полагайся на мое умение». Вот какие это были люди, вот как они относились к шхите и ко всем нашим законам.

В 70–80-х годах прошлого века реб Фоля стал учителем нового поколения шойхетов не только Ленинграда, но и всего СССР. Это были почти полностью ассимилировавшиеся советские евреи, которые возвращались к вере отцов. Первым учеником реб Фоли стал Изя Коган, ныне раввин синагоги на Большой Бронной⁶, а уже через него к реб Фоле попали на учебу добрых полтора десятка новых шойхетов. Научившись и сдав реб Фоле экзамен, они разъезжались в разные концы Союза. К сожалению, реб Рефозель скончался несколько лет тому назад в Иерусалиме.

Семья отца была хабадской. Жизнь у него была очень тяжелой — мать умерла, когда ему исполнилось полгода, а отец — когда ему едва минуло три года. Но хасиды не бросили круглого сироту на произвол судьбы, его поддерживали разные семьи, а потом он воспитывался в хабадских

6 Коган Ицхак Абрамович — раввин московской синагоги на Б. Бронной. Родился в религиозной семье в Минске в 1946 г., учился и работал инженером в Ленинграде, в 1974–1988 гг. был в отказе, в 1988–1991 гг. жил в Израиле, руководил эвакуацией еврейских детей из Чернобыля, с 1991 г. — посланник Любавичского Ребе в Москве, занимался возрождением и реконструкцией синагоги на Б. Бронной, автор мемуаров и герой четырех биографических документальных фильмов. — Прим. ред.

ешивах⁷ Полоцка, Жлобина, Невеля. Когда он женился на моей матери Штерне-Соре, они поселились в квартире деда. Отец работал в швейной артели, мать воспитывала меня и моего брата Берла, который сегодня живет со всей семьей в Кфар-Хабаде. Когда я родился, мне, естественно, сделали *брис* — обрезание. В доме у нас соблюдались все еврейские законы — кошер, суббота, праздники. Впервые я нарушил эти законы после того, как меня вместе с другими ленинградскими детьми вывезли на «большую землю». Мне повезло — не пришлось испытать ужасов блокады. Я попал в детский дом в Ярославле, а там ни о каком еврействе речь уже не шла. Помню, как в поезде, едва мы отъехали от Ленинграда, «доброжелатели» тут же сняли с меня ермолку и выбросили. На мое счастье, несколько месяцев спустя отец с матерью сумели выбраться из осажденного Ленинграда. После долгих приключений они попали в Ташкент, где была сильная хабадская община, и поселились в районе Карасу. Отец приехал в Ярославль и забрал нас из детского дома.

Но наши беды на этом не закончились. Мама вскоре скончалась, а отца в 1943 году арестовали. Ему вменили в вину «экономические преступления», хотя это был только предлог. Власти закрывали глаза на существование хабадской общины, но уж слишком активной деятельности в ней не хотели. И упрятали отца на семь лет в тюрьму.

7 Высшая религиозная школа для юношей, предназначенная прежде всего для изучения Талмуда.

Мы вновь остались одни. Спасла нас тетя Рива, дочь Шмуэля Минделя. Она специально приехала с Урала и помогла нам пережить первый период после ареста отца. Постепенно все наладилось, старшего брата отправили в Самарканд, где он учился в подпольной ешиве. Одним из его учителей был легендарный реб Йона Каган (Полтавер)⁸. А меня поддерживала местная община. Сперва я учился в хедере⁹, потом в ешиве.

Я хорошо помню наш подпольный хедер на улице Коллективной. Улица выглядела так, будто находилась не в столице республики, а в далеком ауле: узкая, пыльная, застроенная глиняными домишками, похожими, скорее, на кибитки. В од-

8 Коган Ейно Хаим-Зеликович (он же Каган Евсей Залманович). Родился в 1898 г. в местечке Куронец. Получил традиционное воспитание, три года проучился в ешиве «Томхей тмимим» в Любавичах. Жил в Москве. В сентябре 1946 г. выехал во Львов, где находился на нелегальном положении. 8 февраля 1947 г. был вызван на допрос в связи с показаниями арестованных членов львовского комитета, категорически отрицал свое участие в нем и был освобожден под подписку о невыезде. В марте тайно выехал в Москву, где жил несколько месяцев на нелегальном положении. Летом 1947 г. в связи с начавшимися арестами выехал в Ленинград, где пытался прописаться в области. Был арестован по доносу сексота, вывезен в Москву и привлечен к групповому делу московских хасидов. Из обвинительного заключения: «Участник нелегальной антисоветской еврейской буржуазно-националистической организации хасидов, проводил в течение ряда лет активную антисоветскую работу, вел пропаганду за бегство националистически настроенных евреев из СССР, принимал деятельное участие в практической подготовке и осуществлении их нелегальной переброски за границу, сам пытался осуществить эти изменнические намерения». 17 апреля 1948 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на пять лет. Отправлен в Карагандинский лагерь, где в феврале 1949 г. скончался.

9 Хедер — начальная школа для мальчиков. В хедере изучают религиозные обряды, молитвы, толкования Библии и Талмуда, учатся читать и правильно исполнять заповеди. Во время советской атеистической кампании середины 1930-х гг. хедеры и прочие еврейские учебные заведения были закрыты и затем существовали лишь в подполье.

ной из таких кибиток и размещался хедер. Поначалу в нем учились шесть детей, потом их число дошло до семнадцати. В советскую школу я, конечно, не ходил. У нас были очень знающие, добрые и мудрые мелаеды — Довид Лабковский¹⁰, Гирш-Цви Либерман — брат секретаря Ребе Раяца, Хаим-Меир Горелик. Особо мне запомнились Залман-Лейб Эстулин и Исроэл Левин (Невелер)¹¹.

Реб Залман-Лейб был не просто большим знатоком Торы, но и человеком, который не шел ни на какие компромиссы, когда дело касалось соблюдения

¹⁰ Лабковский Довид — раввин, ученый, дни и ночи посвящавший изучению Торы. В 1949 г. арестован в Кутаиси и приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Скончался в лагере.

¹¹ Левин Шмуэль-Исроэл Давыдович (по прозвищу Невелер) родился в 1886 г. в Городке (Белоруссия) в семье мелаеда. С 1920 г. находился в Ростове-на-Дону, преподавал в ешиве, в 1925 г. организовал нелегальную ешиву в Невеле и преподавал там. В 1931 г. выехал в Торопин, где организовал тайный молебельный дом. В 1933 г. после вызова в ГПУ тайно выехал в Климовичи, где также организовал нелегальный молебельный дом. С 1935 г. жил в Егорьевске под Москвой, работал кустарем-трикотажником на дому. Организовал здесь нелегальный молебельный дом, преподавал в нелегальном хедере, возглавил подпольную ешиву. В 1938 г. арестован как «участник нелегальной хасидской организации, вел активную фашистскую агитацию»; заключен в Таганскую тюрьму. Из обвинительного заключения: «Будучи враждебно настроен к существующему строю, по день ареста являлся одним из руководителей контрреволюционной организации еврейских клерикалов-хасидов в Егорьевске; свою квартиру предоставлял для нелегальных сборищ к-р организации; среди участников контрреволюционной организации и еврейского населения вел пропаганду на подрыв мощи советской власти и пропаганду палестинизма; занимался вербовкой новых участников в организацию». 5 сентября 1939 г. в присутствии прокурора отказался от показаний, данных на следствии и при очных ставках. 21 сентября 1939 г. дело было прекращено, обвиняемый освобожден из-под стражи. Вернулся в Егорьевск и вновь возглавил подпольную ешиву. В 1941 г. с началом войны эвакуирован в Среднюю Азию. Жил в Ташкенте, преподавал в нелегальном хедере. В 1944 г. вернулся в Москву, работал в артели «Батан», был раввином в Хоральной синагоге. В 1946 г. выехал во Львов, где нелегально перешел границу. Был привлечен заочно к следствию по делу «нелегальной антисоветской еврейской националистической организации». В 1949 г. скончался.

заповедей. Он воевал, под Сталинградом получил тяжелое ранение и ходил на костылях, но даже на фронте и в госпитале соблюдал заповеди, в том числе кашрут. Реб Исроэл Левин (Невелер), хасид еще Ребе Рашаба¹², был просто кладезем еврейских пословиц, поговорок и большим эрудитом. Он знал превеликое множество рассказов о жизни хасидов и Любавичских Ребе и был центром всех фарбрэнгенов¹³. В хедере изучали *Хумаш*, комментарий Раши, *Мишну* и *Гемору*¹⁴. Преподавание велось на идише.

Мы вели еврейский образ жизни, тщательно соблюдая все законы. Регулярно ходили в микву¹⁵ на улице Чекарной — ее тайно построила и содержала община. Учились много, и дисциплина была строгой. Но каждый день нам все же выделяли несколько часов для игр. В хедере давали завтрак и обед. Не могу сказать, что наедались мы досыта, но ведь и время было тяжелое — даже в «хлебном городе» Ташкенте люди умирали с голоду. А в хедере благодаря общине всегда была еда. Конечно, кошерная.

Все работающие хасиды добровольно вносили деньги в общую кассу. Руководство общины тра-

12 Шолом Дов-Бер Шнеерсон (1860, Любавичи — 1920, Ростов-на-Дону) — пятый цадик любавичской династии; подробнее о нем см. Краткую историческую справку.

13 Фарбрэнген — хасидское застолье. Старые хасиды говорили: «На занятиях в ешиве учат хасидизм, а на фарбрэнгенах — как быть хасидом».

14 Хумаш — Пятикнижие; Раши — р. Шломо Ицхаки (1040–1105, Труа) — средневековый мудрец, автор авторитетнейших комментариев на Библию и Талмуд; Мишна — первый свод Устного Закона; Гемара (от *арам.* «завершение») — свод дискуссий законоучителей, посвященных тексту Мишны, также употребляется как синоним Талмуда.

15 Миква — бассейн для ритуальных омовений. Миква необходима для соблюдения предписанных Торой законов семейной чистоты. Они столь важны, что еврейская община должна построить микву раньше, чем синагогу.

тило их на помощь особо нуждающимся, платило зарплаты меламедам в хедере, преподавателям в ешивах, обеспечивало учащихся едой. Возглавляли общину раввины Нисан Неменов¹⁶, руководитель ешивы Йона Каган (Полтавер), известный своей праведностью хасид Перец Мочкин, один из духовных наставников моего отца, и Шлойме-Хаим Кессельман, ставший впоследствии руководителем ешивы в Кфар-Хабаде¹⁷.

Хасидская община имела четкую структуру и функционировала безупречно. Ее руководителей никто не избирал, они не имели никаких средств принуждения, но их слово было законом для всех. Не только потому, что их все очень уважали, но и по той причине, что делали они свою работу бескорыстно и с огромным риском.

16 Неменов Нисан — раввин, родился в 1896 г. в Жлобине в семье крупного торговца. После окончания ешивы в Невеле стал в ней же руководителем. В 1929 г., во время массовых арестов раввинов и меламедов подпольной ешивы, тайно выехал из Невеля в Ленинград. Преподавал в нелегальной ешиве. В начале 1930-х гг. арестован как «учитель нелегального ешибота, руководивший антисоветской деятельностью ешиботников, выпускавший через учащихся антисоветские воззвания об оказании помощи ешиботу». Приговорен к 10 годам ИТЛ. Отправлен в лагерь, откуда в 1939 г. был освобожден. Жил в Егорьевске под Москвой, возглавил там хасидскую общину. В 1941 г. эвакуировался в Ташкент, где в 1942 г. возглавил подпольную еврейскую религиозную общину хасидов. Позднее выехал в Самарканд, где также создал подобную организацию хасидов, тесно контактировавшую с ташкентской. Все участники работали надомниками артели, организованной Нисаном Неменовым. В Ташкенте и Самарканде были организованы подпольные хедеры и ешивы. В середине 1946 г. прибыл во Львов и нелегально выехал за границу. В 1947 г. был привлечен заочно к следствию по делу московской «нелегальной антисоветской еврейской националистической организации».

17 Израильский поселок в окрестностях Тель-Авива, основан хабадниками — эмигрантами из СССР в 1949 г., центр любавичского хасидизма в Израиле (там находится хабадская ешива, женский педагогический колледж и др.). — *Прим. ред.*

Ведь мы жили при советской власти! И у нее под самым носом существовала большая подпольная организация — со своими законами, лидерами, общинными учреждениями. Если бы органы пронюхали об этом, то руководство общины оказалось бы за решеткой. И на немалый срок. Наши лидеры прекрасно осознавали всю меру опасности, но помогали евреям оставаться евреями.

Впрочем, сейчас я понимаю, что власти догадывались о том, что происходит. Но узбеки не были настроены антисемитски, да и, пока шла война, властям было, по-видимому, просто не до нас. Но когда война закончилась, власти перестали смотреть на нашу деятельность сквозь пальцы. Однако мне снова повезло — к тому времени я уже уехал из Ташкента.

В 1947 году моя тетя Рива сумела «отбить» в Ленинграде две комнаты в квартире моего деда. Как это было принято после войны, в нее заселили других людей. Все имущество родителей и деда пропало, но мы были рады даже этим двум комнатам. Я вернулся в Ленинград и, поскольку мне уже было десять лет, пошел в четвертый класс обычной школы. Поначалу было очень трудно, я ведь не умел читать и писать по-русски. Пришлось много заниматься, но я наверстал упущенное и даже стал отличником. Изучение Торы я не забросил — ко мне домой приходил меламед — не помню, к сожалению, как его звали, — и вплоть до 1949 года я вместе с ним штудировал Талмуд. В самые страшные годы сталинщины любавич-

ские хасиды заботились о том, чтобы я продолжал свое еврейское образование.

В Ленинграде я соблюдал еврейские законы, поэтому в школе возникали проблемы. По субботам я приходил на уроки, но ничего не писал. Придумывал разные предлоги: то бинтовал руку, мол, обжег палец, то еще что-то. Так приходилось выкручиваться всем религиозным евреям, мы находили всевозможные ходы-выходы, чтобы соблюдать заповеди. В школе мы вели одну жизнь, а дома — абсолютно иную. Я был совершенно оторван от советского образа жизни, и это приводило к разнообразным казусам.

Как-то в школе нам задали выучить наизусть и прочитать вслух стихотворение. До сих пор помню несколько его строчек. Но я ведь не знал, с какой интонацией, в каком ритме следует читать стихи. И я продекламировал их на мотив, с которым читают Талмуд. Учительница, на мое счастье, не поняла ничего, но была настолько шокирована, что вызвала в школу тетю и посоветовала ей немедленно пойти со мной к врачу. «Вашего мальчика надо лечить, — сказала она, — у него явные проблемы с дыханием и с речью».

А сколько проблем мне приносил *талескотн*!¹⁸ Я всегда носил его под рубашкой и очень боялся, что кто-нибудь заметит кисточки *цицис*. Особен-

¹⁸ Талес котн (талит катан) — «малый талит», нательная рубашка в виде прямоугольника с вырезом для головы и *цицис* (*цицит*) — кистями из восьми нитей, прикрепленными к каждому из четырех углов.

но трудно было скрыть их на уроках физкультуры. Однажды нас повели в рентгеновский кабинет, где пришлось снять рубашку. Я стащил ее вместе с талескотном, но врач все же увидел цицис и, конечно, спросил, что это такое. Я сказал, что у меня порвалась майка, а бабушка не успела зашить. После войны все жили скудно, носили кто что мог, и врач поверил. Пронесло.

Классной руководительницей у нас была еврейка. Как-то она вызвала меня и говорит: «Я проверила все твои прогулы за последнее время и нашла в них странную закономерность. Вот, например, тебя не было два дня подряд. Потом десять дней ты посещал занятия без единого пропуска. И снова не явился. Я заглянула в календарь — два дня это был праздник Рош а-Шона, а через десять дней — Йом Кипур¹⁹. Ты что, соблюдаешь еврейские праздники?»

Да, она меня четко «вычислила». Пришлось вновь прикинуться — «я не я, и хата не моя»: «Какой Рош а-Шона, какой Йом Кипур? Это случайное совпадение, просто я часто болею». Сумел я ее убедить, вновь пронесло.

В 1950 году отец освободился из тюрьмы и вызвал меня в Ташкент. В 1951 году он женился на Бейле, дочери известного хасида из города Невеля Хаима Березина по прозвищу «Дер-кацев». У них родились два моих брата, которые живут сейчас в Америке.

¹⁹ Осенние праздники, выпадающие обычно на сентябрь: Новый год и Судный день.

В Ташкенте мы продолжали вести еврейскую религиозную жизнь. После отсидки у отца была репутация неблагонадежного, и вскоре он почувствовал пристальное внимание органов. Опасаясь, что ему вновь «пришьют дело», отец решил сменить фамилию и скрыться. Так наша фамилия Прусс стала Грусс — мы убрали одну палочку в букве П. А Гроссом я стал уже в Израиле, где «вав» без огласовки можно прочитать и как «у», и как «о». Грусс — что-то непонятное, а слово Гросс — «большой» — известно всем.

Отец изменил фамилию, и мы потихоньку, чтобы никто не узнал, уехали в Ригу. Там была небольшая, но очень дружная хабадская община. До сих пор я помню каждого из моих рижских собратьев и поддерживаю связь с теми, кто еще жив, хотя судьба разбросала нас по всему миру: Исроэл Певзнер, Шлойме Фейгин, реб Мордехай-Арон Фридман, Ноте Баркан, Исроэл Брод, Залман Левин, Гиршл Клебанов, Шимон Гутман, Шолом-Бер Фридман, Нохум Бесер и Аврум Годин, бывший секретарь депутата латвийского сейма Мордехая Дубина²⁰, благодаря усилиям которого Ребе Раяцу разрешили выезд в Латвию в 1928 году.

20 Дубин Мордехай (Мортхель) Залманович родился в 1889 г. в Риге в любавичской семье, получил традиционное воспитание. С 1919 по 1934 г. — депутат латвийского сейма от партии «Агудат Исраэль». Будучи в дружеских отношениях с президентом К. Ульманисом, содействовал смягчению антисемитской атмосферы в стране. Принимал активное участие в еврейской жизни, был председателем секции религиозных евреев. С его помощью Йосеф-Ицхак Шнеерсон получил разрешение на выезд из СССР в Латвию. В 1940 г. с установлением советской власти был арестован как «руководитель реакционной клерикальной еврейской партии «Агудат Исраэль»».

В Риге хабадская община функционировала точно так же, как в Ташкенте. Была миква, построенная в 1955 году моим отцом и его соратниками, общая касса (ею распоряжался отец), из которой помогали нуждающимся, регулярно устраивались фарбрэнгены. Слух о нас каким-то образом дошел до Ребе, и он послал своего «секретаря по особым поручениям», раввина Нисона Минделя, посмотреть, как мы живем. Его миссия хранилась в секрете, лишь спустя много лет мы узнали, что Миндель был посланником Ребе. Он приехал в 1957 году с официальной целью навестить двух своих сестер. Миндель не носил бороду, и мы дивились: вот они какие, современные американские религиозные евреи.

Прямой связи с Ребе, насколько мне известно, у нас не было. В письмах, которые получали хабадники, имевшие родственников в Америке, очень туманно, намеками сообщалось о Ребе и его деятельности. Окольными путями, через Самарканд,

и выслан в Куйбышевскую обл. После освобождения из ссылки в начале 1945 г. жил в Москве. Среди хасидов пользовался непререкаемым авторитетом, большинство прихожан синагоги обращались к нему по всем жизненным и религиозным вопросам. 29 февраля 1948 г. арестован как «участник антисоветской националистической организации». Из обвинительного заключения: «После установления в Латвии советской власти занимался организацией нелегальной переброски еврейской буржуазии за границу и распространял клеветнические измышления о советской власти; поддерживал преступную связь с враждебно настроенными евреями, подстрекая их к бегству за границу». Виновным себя не признал. 16 октября 1948 г. приговорен к 10 годам тюремного заключения. Отбывал наказание в Бутырской тюрьме. В 1951 г. заболел в тюрьме и заключением судебно-психиатрической экспертизы признан душевнобольным. 12 января 1952 г. отправлен «на принудительное лечение в соединении с изоляцией» в Тульскую психиатрическую больницу, где в 1956 г. скончался. Его останки позднее были перенесены на еврейское кладбище в поселке Малаховка под Москвой.

Москву и Ташкент, эта информация доходила до нас. Какой-то период, после кончины Ребе Раяца, мы даже не знали, кто у нас Ребе. Но Нисон Миндель много рассказал во время своего посещения, а оказался он у нас в гостях благодаря смелости моего отца и его друзей-хасидов.

Когда мы узнали, что из Нью-Йорка приехал религиозный еврей, то решили обязательно встретиться с ним. Но как? Подойти в синагоге опасно, вполне возможно, что за ним следят. А если слежки и нет, вдруг кто-нибудь проговорится. Помог случай.

Рав Миндель попросил в синагоге найти семью, которая могла бы готовить ему кошерную еду. Это была совершенно замечательная возможность, и мой отец не преминул ею воспользоваться. Его жена приготовила пакет с едой. Миндель забрал его в синагоге, и когда он вышел на улицу, то по этому пакету отец и определил, что это он. Едва рав Миндель отошел немного от синагоги и свернул на улицу Ленина, возле него остановилась машина. Из нее выскочили два человека и втолкнули его в машину. Вся операция заняла считанные секунды, Миндель решил, что его схватили люди КГБ. А это были мой отец и Ноте Баркан, который после крушения советской власти стал главным раввином независимой Латвии.

Когда в 1967 году мы с отцом и братом приехали к Ребе в Нью-Йорк, мы встретились и с Нисоном Минделем. Он обнял и расцеловал нас, а потом начал кричать на отца — уж очень сильно его тогда напугали с этим заталкиванием в машину.

Рава Минделя привезли к нам в квартиру, и он сразу сообразил, куда попал, увидев подсвечники, еврейские книги и главу нашей общины, который носил большую бороду и выглядел совершенно ортодоксальным евреем. Это был реб Мордахай-Арон Фридман, учившийся еще в Любавичах, у Ребе Рашаба, отца Ребе Раяца. Но, даже поняв, что он в хабадском доме, рав Миндель все-таки не признался в том, кто он и по чьему указанию приехал в Ригу. Уж слишком он опасался, что среди собравшихся может оказаться доносчик. Поэтому мы не смогли выудить из него много информации.

И тем не менее он сумел нам передать, будто невзначай, ненароком, много важного. Так, например, упомянул, между прочим, что заходит иногда в главную хабадскую синагогу. Естественно, мы попросили рассказать о Ребе, и он описал, очень кратко, как тот выглядит, что делает. Но когда мы начали расспрашивать, знает ли он такого-то и такого-то, Миндель замкнулся — не знаю, не видел. А мы смотрели на него с некоторой укоризной: ох уж эти современные американские хасиды, ничего не понимают, ничего не соображают и не прошли того, что пришлось пережить нам.

Рав Миндель со всеми познакомился, поговорил о житье-бытье и, как оказалось, все запомнил. Уже потом мы узнали: он во всех подробностях доложил Ребе, что увидел. Не только с кем встретился на квартире, но и кто как выглядит, кто что говорил, какие тосты произносили, какие *диврей Той-*

ре²¹, как вспоминали всех хасидов, какие истории о себе и других хабадниках рассказывали, какие песни пели. Благодаря Минделю и другим своим посланникам Ребе было известно о жизни многих его хасидов, и не только в Риге. Ребе посылал своих людей в разные города и, получив от них информацию, точно знал, где кто живет и чем занимается.

А потом начали приезжать другие посланники Ребе. Они оставляли молитвенники, *маамарим* Ребе²², «Танью»²³. Отдать их кому-то в руки было опасно, а вот «забыть» в синагоге можно, за это ведь никого нельзя осудить. А хабадники подбирали эти книги.

У нашей группы не установилась прямая связь с Ребе, и все же сведения начали просачиваться. Мы-то думали, что и информация, и книги попадают к нам случайно, а оказалось, что это Ребе окольными путями поддерживал нас. Но делал это очень осторожно, чтобы, не приведи Господь, не подставить нас под удар.

21 Диврей Тойре (диврей Тора) — «слова Торы», комментарий на тему недельной главы Торы, обсуждение споров мудрецов в Талмуде или пересказ *маамара* Ребе (см. след. прим.). Принято произносить их за субботним, праздничным столом или на фарбрэнгене.

22 Речи Ребе, содержащие исследование различных положений Торы в свете учения хасидизма. Обычно Ребе произносит *маамар* во время фарбрэнгена. Со времен основателя Хабада Алтер Ребе хасиды называют *маамарим* «ДАХ» — по первым буквам словосочетания *Диврей Элоким хаим* («Слова Бога живого»). Считается, что во время произнесения *маамара* Ребе находится на том же духовном уровне, на котором находился Моисей во время получения Торы у горы Синай, и передает слова Всевышнего.

23 «Танья» (арам. «Учение»), или «Ликутей амарим» («Собрание изречений»), — основополагающий труд любавичского хасидизма, написанный Алтер Ребе — рабби Шнеуром-Залманом из Ляд (1745–1813).

Наша община собиралась еженедельно, как правило, на исходе субботы, каждый раз в другом доме. Ну и, конечно, мы отмечали день освобождения Алтер Ребе из тюрьмы — *Юд-тес кислев*²⁴, *Юд-бейс тамуз*²⁵ и другие хасидские праздники, проводили фарбренгены, вместе учили Тору, пели хасидские песни.

В Риге я окончил школу, хотя меня несколько раз из нее выгоняли. Я ведь не приходил по субботам, не вступил ни в пионеры, ни в комсомол, ссылаясь на то, что все еще морально не готов. Получив аттестат зрелости, я подал документы в медицинский институт, сдал вступительные экзамены. Но в приемной комиссии мне сказали: «Молодой человек, Зуша Шмуїлович, сколько лет отсидел ваш отец и за что? В нашем институте для вас нет места». Пришлось уехать в Ленинград, и, поскольку я хорошо сдал вступительные экзамены, меня зачислили в Электротехнический институт имени Бонч-Бруевича.

Там я уже не мог пропускать лекции по субботам, за прогулы сразу бы отчислили. Я приходил на лекции и слушал, ничего не записывая. На это никто не обращал внимания, а я, конечно, тщательно скрывал, что соблюдаю заповеди. Если бы

24 Юд-тес кислев — 19 число месяца кислев, день освобождения Алтер Ребе из-под ареста в Петербурге (1799 г.). Называется он Праздником освобождения и отмечается не только хабадниками, но и хасидами многих других направлений.

25 Юд-бейс тамуз — 12 число месяца тамуз, день освобождения из советских застенков ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона (1927 г.), приговоренного к смертной казни за распространение религии и еврейскую просветительскую деятельность.

это стало известно, то на следующий день меня уже не было бы в институте.

Помню, как-то между занятиями подошел один мой знакомый студент, еврей, и протянул конверт. «Возьми, попробуй, — сказал он, — сейчас Песах». В конверте лежал кусок мацы. Я сделал вид, что ничего не понимаю: «Есть замечательное печенье «Мария», зачем мне твоя маца?» Студент махнул рукой: «Э, да ты совсем осоветился» — и ушел.

Были случаи и посерьезней. И каждый раз спасал меня доктор Мендл Кубланов. Он был из хасидской семьи, в 1947–1948 годах я питался у них в доме. Кубланов выписывал мне бюллетени по болезни, которая всегда «настигала» меня по субботам и праздникам. Но пользоваться этим способом слишком часто было опасно, каждый раз приходилось придумывать что-то новое. Было трудно, но я так ни разу и не попался.

Окончив институт, я вернулся в Ригу. Работал и, главное, участвовал в жизни общины. А дел в ней хватало. Нужно было доставать и готовить кошерную еду, поддерживать шойхета, которого мы нашли, собирать на это деньги, организовывать нашу учебу и фарбрэнгены. И постоянно быть настороже. Когда в Риге посадили одного из членов нашей общины, раввина Залмана Левина, мы всем миром помогали его семье. Сын его, раввин Мойше-Хаим Левин, стал потом редактором хабадского журнала на русском языке, издающегося в США.

Была у нас еще одна, очень важная миссия — отправка посылок хабадникам, сидевшим в ла-

герях. Напрямую делать это было опасно, но мы нашли выход — наняли еврейскую семью в Даугавпилсе, и все посылки шли от ее имени. Отправляли топленое масло с медом, колбасу нашего производства. Никто не мог догадаться, что это кошерные колбаса и масло, внешне они были как обычные. Кроме того, отправляли чеснок, сахар, сухофрукты. Многие «брали на себя» сразу нескольких заключенных.

Я еще школьником ездил в Даугавпилс и отвозил семье, служившей «крышей», продукты для посылок. Но, понятно, от одной семьи и из одного города много в зону не отправишь. Поэтому мы наладили связь с хабадниками в других городах и переводили им деньги для посылок. Кроме этого, мы переводили деньги на подпольные миквы и ешивы в разных городах Союза.

В Риге тоже нужно было построить микву. Хотя к тому времени советская власть существовала в республике сравнительно недолго и еще оставались воспоминания о нормальной, свободной и открытой, еврейской жизни, которая была до присоединения Латвии к СССР, положение оказалось не из легких. Сколько трудов и времени мы положили на то, чтобы убедить «двадчатку», официально руководившую синагогой, дать разрешение на микву! Члены двадчатки были вроде бы религиозными людьми, но миква их совершенно не интересовала, думали они только о том, как бы не потерять доверие властей. А сколько денег стоило найти инженера, сделать проект, осуществить

все работы! Зато, когда я сегодня приезжаю в Ригу, то с гордостью говорю: эту микву мы построили пятьдесят (!) лет назад, при советской власти. Она пережила эту власть и, надеюсь, никогда уже, до прихода *Машиаха*²⁶, не будет закрыта.

В общем, жили мы тяжело, трудно, но еврейской жизнью. Слушали передачи израильского радио. Их глушили, но в Риге был ВЭФ²⁷ — завод, выпускавший радиоприемники. Нам удалось найти инженера, он настроил радио так, чтобы оно принимало «зарубежные голоса» на волнах, которые не глушили. Поэтому мы были в курсе того, что происходит в Израиле.

И тут мне просто счастье привалило — я фиктивно женился на девушке, семья которой имела право на возвращение в Польшу. Лишь совсем недавно я узнал, до чего же мне повезло. В 90-х годах прошлого века раву Баркану удалось раздобыть в архиве КГБ мое дело. Собственно, не только мое, а всех, кто оформил брак с польскими гражданами. В нем были сведения обо всей моей жизни: где родился, в каких школах учился, какой институт закончил. Даже указывалось, когда, где и как я изменил фамилию. Мы-то думали, что это страшная тайна, а КГБ все знал в точности. И там написа-

26 *Машиах* (ивр.) — букв. «помазанник», Мессия, потомок царя Давида, который, согласно еврейской традиции, явится и осуществит Избавление народа Израиля, возвращение его из стран рассеяния в Святую землю. — *Прим. ред.*

27 ВЭФ (от латыш. VEF, Valsts Elektrotehniskā Fabrika) — Государственный электротехнический завод, в советское время крупнейшее электротехническое предприятие Латвии, выпускало телефоны, коммутаторы, радиостанции, радиоприемники и др. — *Прим. ред.*

но было черным по белому: я намерен воспользоваться браком, чтобы вывезти из СССР всю семью.

В деле имелся список из 148 фамилий — всех, кто вступил в брак таким образом. Поверх списка красовалась резолюция председателя Совета министров Латвийской ССР Лациса министру внутренних дел: «Разобраться и доложить». Органы засекли: евреи заключают браки с польскими гражданами и уезжают. Что случилось с другими людьми из этого списка, я не знаю. Вполне возможно, что их так и не выпустили. Но мне в очередной раз повезло — я беспрепятственно прошел все пограничные проверки и уехал.

Жил я в городке Валбжих, работал директором столовой «Джойнта»²⁸. Там я уже не скрывал, что соблюдаю заповеди. Хотя Польша и принадлежала к «лагерю социализма», меня никто не допрашивал и я не ощущал никаких препятствий со стороны властей. Я написал Ребе письмо с вопросом, что мне делать дальше, и получил от него ответ с указанием ехать в Эрец-Исроэл.

Ребе во всех подробностях знал, кто я, что мне пришлось пережить. С тех пор моя переписка с ним стала постоянной, и не было ни одного события в моей жизни, чтобы я не написал Ребе и не получил от него мудрый совет, как поступить.

В Польше я пробыл год и в 1958 году репатрировался в Израиль. Поступил в хабадскую еши-

28 «Джойнт» — Американский объединенный еврейский комитет по распределению фондов (American Jewish Joint Distribution Committee), крупнейшая еврейская благотворительная организация, создана в 1914 г. — *Прим. ред.*

ву в Лоде, проучился столько, сколько указал Ребе. Когда в Израиле оказалась вся наша семья, Ребе написал, что мы обязаны *леѓави корбан тода*, то есть принести благодарственную жертву Всевышнему за наше чудесное избавление от власти большевиков и приезд в Эрец-Исроэл.

После этого я начал работать учителем математики в Безр-Шеве, стал директором школы в Тверии, а затем много лет был директором тель-авивского колледжа «Тора у-млаха». По указанию Ребе я продолжил изучать и светские дисциплины, закончив Бар-Иланский университет по специальности «управление учебными заведениями». Как и у всякого репатрианта, были и трудности, но моя жизнь в Израиле сложилась, слава Богу, удачно. Я женился, родились замечательные дети, потом внуки. Я участвовал во всех войнах — и в Шестидневной, и в Войне Судного дня, и в 1-й ливанской. Не отсиживался в тылу, воевал в боевых частях, но меня ни разу даже не поцарапало.

Хотя в СССР я и жил в подполье, под чужим именем, в постоянном страхе перед посадкой, но не подвергался арестам и в тюрьму не угодил, эта доля меня, к счастью, миновала. И я благодарен Всевышнему за то, что, несмотря на все проблемы — а их было предостаточно, — я сумел с помощью святых людей, окружавших меня, остаться евреем даже в условиях Советского Союза, за то, что попал в Израиль и передал нашу хасидскую традицию своим детям.

ХОЗЯИН СВОЕЙ СУДЬБЫ

Михл Вышедский

Меня зовут Михл Вышедский, но прежде, чем я начну рассказывать о перипетиях своей биографии, я обязан рассказать о своем отце. Без понимания того, что это был за человек, нельзя понять, кто такой я, почему я так, а не иначе поступал в течение всей своей жизни. Должен сразу сказать, что духовные основы, заложенные в меня моим отцом, существуют и по сей день, когда у меня уже взрослые внуки, и я сам до сих пор живу тем, что вложили в меня в молодости отец и его друзья, такие, как реб Менахем-Мендл Футерфас.

Мой отец Мойше Вышедский родился в 1912 году в Витебске. Собственно, фамилия наша во всех документах — и на русском, и на английском — пишется «Вышедский». Но когда мы репатриировались в Израиль, отец записал ее как «Вышецкий» — он не хотел, чтобы в ней фигурировало слово «шед» — «черт» на иврите. Есть в Польше такое местечко — Вышедки, но почему у нас польская

фамилия, я так и не выяснил, хотя точно знаю, что родом мы вовсе не из тех мест. Когда отцу исполнилось двенадцать лет, он начал учиться в хабадской ешиве Невеля. Ешива не имела тогда, при большевиках, отдельного здания. Все происходило в синагоге — молились в синагоге, учились в синагоге, ели, проводили фарбрэнгены. А когда наступала ночь, то и спали в синагоге: сдвигали скамейки и превращали их в импровизированные кровати.

В ешиве отцу дали прозвище — Витебскер. Там училось много парней по имени Мойше, одного звали просто по имени, другого — по названию города, третьего — по имени отца, четвертому вообще придумывали ни с чем не связанное прозвище. И как правило, кличка приклеивалась навечно. Вот и моего отца до конца жизни приятели звали Мойше Витебскер. Даже когда его упекли в советскую тюрьму, в деле было написано «Мойше Вышедский, он же Мойше Витебскер». Правда, чекисты по-своему истолковывали это прозвище — как подпольную кличку члена антисоветской организации.

С «недреманным оком» чекистов отец столкнулся еще во время учебы. Ешивы постоянно закрывали, учеников преследовали, арестовывали. Поэтому долго продержаться в ешиве было невозможно, и он скитался из города в город, из одной ешивы в другую. Но, несмотря ни на что, продолжал занятия и оставался верным хабадником. И учился с полной самоотдачей, учился так, будто за стенами ешивы его не поджидали чекисты. Что изучали тогда в подпольных ешивах? Да то же

самое, что и сегодня: Хумаш, Талмуд, хасидизм, маамарим наших Ребе.

Отец никогда не видел предыдущего Ребе — Йосефа-Ицхака, но поддерживал с ним постоянную переписку — и когда Ребе находился в СССР, и когда после ареста, в 1927 году, его выслали за границу. После того как отцу исполнилось восемнадцать лет, он получил очередное письмо от Ребе, жившего тогда в Польше. Каждый еврей, имеющий к Ребе какое-то отношение, известен ему, и не просто так, а во всех подробностях его духовных и материальных дел и забот. Мы пишем ему письма, задаем вопросы, советуемся. А Ребе хорошо знает нас и направляет по жизненному пути.

Мы, хабадники, всегда писали письма к Ребе, даже из Советского Союза. Напрямую отправить их к такому адресату было невозможно, и мы переправляли их окольными путями. Скажем, писали кому-то из хабадников в Израиль и начинали письмо так: «Дорогой дядя» или «Дорогой дедушка». А потом излагали свою просьбу, проблему и просили совета. И Ребе всегда отвечал — опять-таки, на русском языке, через Израиль: «Дорогой племянник (или: дорогой внук), я получил твое письмо с вопросом и считаю, что следует поступить следующим образом». Переписка такая существовала всегда, даже в самые трудные годы. И пусть была она нерегулярной и редкой, но связь с нашими Ребе мы никогда не теряли.

Так вот, Ребе прислал отцу письмо, в котором указал, что ему следует отправиться в Ленинград

и начать обучение еврейских парней, которым в условиях советской власти не удалось заниматься Торой. И отец организовал в Ленинграде подпольную ешиву «Тиферес бахурим». Это было крайне опасно — за подобную деятельность в те годы сажали в тюрьму. И надолго. Не знаю уж, каким образом, но отцу удалось продержаться в Ленинграде целых три года, в течение которых он не только обучал десятки еврейских парней, но и учился сам. В Ленинграде жили тогда очень сильные хасиды, имен многих из них сегодня уже не знает никто, хотя некоторые получили известность.

У отца наладились тесные контакты с Хони Морозовым¹, одним из самых выдающихся хасидов своего времени. Достаточно сказать, что Ребе Рашаб выбрал Морозова в хеврусу² своему сыну Йосефу-

1 Морозов Эльхонен-Бер Гершович (он же Певзнер Берко Лейбович) родился в 1877 г. в Черкассах Киевской губ. в семье меламеда. До 1900 г. жил в Кременчуге, Юзовке, Минске, занимаясь изучением Талмуда, с 1897-го — ученик ешивы «Томхей тмимим» в Любавичах, где впоследствии стал воспитателем. В конце 1920-го вместе с женой и 8 детьми переехал в Ростов-на-Дону, где стал помощником Йосефа-Ицхака Шнеерсона, в 1924-м вместе с Ребе перебрался в Ленинград, стал его секретарем. В 1927 г. арестован «за содействие в нелегальном переходе государственной границы группой лиц и попытке переправить книги Шнеерсона за границу», приговорен к трем годам ссылки в Красноярск, в 1929 г. досрочно освобожден из ссылки по амнистии. Проживал по подложным документам в квартире Ицхака Раскина в Ленинграде, работал мотальщиком-надомником. В 1938 г. арестован как «участник контрреволюционной клерикально-националистической группы». Из обвинительного заключения: «Организатор и идейный вдохновитель молодежной контрреволюционной организации «Тиферес бахурим», активно проводил агитацию, направленную против руководства ВКП (б) и советского правительства». 9 апреля 1938 г. расстрелян на Левашовской пустоши, 3 апреля 1959 г. реабилитирован.

2 Хевруса (хеврута) — соученик, в паре с которым изучают святые книги.

Ицхаку. Они много времени занимались вместе, а Ребе Рашаб лично преподавал им хасидизм. Когда Йосеф-Ицхак стал Ребе, то назначил Хони Морозова своим секретарем. Все, естественно, относились к нему с огромным уважением — он ведь не просто секретарь Ребе, но и был его хеврусой.

Хони Морозов часто рассказывал такую притчу о себе и своем соученике: «Бывает, что птенец орла и теленок питаются из одного корыта. Когда же они вырастают, то орел взмывает высоко в небо, а теленок превращается просто в большую корову». Эта притча позволяет нам понять не только разницу между Хони и Ребе, но и моральный уровень, отношение к самому себе, самоиронию этого человека. Ребе Раяц назвал его «бейнони из “Тань”». Как известно, в книге «Танья» Алтер Ребе рассматривает разные типы людей, в том числе и бейнони — «средний», который, согласно Алтер Ребе, почти праведник. И вот с таким человеком мой отец после преподавания в своей подпольной ешиве каждый день учил хасидизм.

Когда отцу исполнился двадцать один год, он женился на Хасе, дочери Шлойме Раскина из Нижнего Новгорода. Раскин был святым человеком, полностью посвятившим себя тому, что сейчас называют бизнесом. Он очень преуспел и зарабатывал много денег. Вы спросите, в чем же его святость? А в том, что все деньги он тратил на поддержание бедных евреев. Время было голодное, и благодаря помощи Шлойме Раскина сотни евреев сумели выжить.

Конечно, отец попросил у Ребе согласия на брак. И получил неожиданный ответ: Ребе благословляет жениха и невесту, но с условием, что жить они будут в Нижнем Новгороде. Как в Новгороде, почему в Новгороде?! Ох, как же не хотелось отцу покидать Ленинград, где у него уже было много друзей, учеников. Не хотелось расставаться с учителем — Хони Морозовым. Тем более что в Горьком почти не было религиозных евреев, а уж хасидов так вообще раз, два и обчелся. А в Ленинграде жили не просто хасиды — высокие горы! В наше время можно только вспоминать о таких людях.

Отец написал Ребе еще одно письмо с просьбой позволить остаться в Ленинграде. Но Ребе был непреклонен: «Я хочу, чтобы ты уехал в Нижний Новгород. Это будет хорошо и для тамошних евреев, и лично для тебя — и в духовном, и в материальном аспекте». Спустя всего несколько лет большинство ленинградских хасидов погибло в блокаду, и только тогда отец понял, насколько Ребе был прав.

В Нижнем отец сразу же организовал подпольные уроки Торы и хасидизма, регулярно проводил фарбрэнгены. К нему потянулся народ, возникли несколько подпольных *миньянов*³. Люди, еще вчера далекие от веры, превращались в хабадников. Хочу особо подчеркнуть, что делал отец все это совершенно бескорыстно, а на кусок хлеба зараба-

3 Кворум из, как минимум, десяти взрослых мужчин (старше 13 лет), необходимый для общественного богослужения и для ряда религиозных церемоний.

тывал в переплетной мастерской. Вот в такой семье я и родился в 1941 году.

Самое сильное впечатление моего детства — расставание со старшим братом. В 1946 году начали отпускать в Польшу бывших польских граждан, оказавшихся во время войны в СССР. Хабадники решили воспользоваться этой возможностью, чтобы вырваться за железный занавес. Реб Мендл Футерфас⁴ создал и возглавил подпольную организацию, изготавливавшую фальшивые паспорта. С ее помощью несколько тысяч хабадников сумели выехать в Польшу, а затем в Израиль или к Ребе в Нью-Йорк.

Отец тоже попытал счастья. Но сперва он вписал в паспорт к сестре моей матери, получившей разрешение на выезд, моего старшего брата Шолома-Бера, которому уже исполнилось двенадцать лет. Уж не знаю, каким образом, но удалось записать его сыном тети. И брат уехал. Решение это было необычайно тяжелым, ведь в тех условиях разлука могла оказаться не просто долгой — вечной. Но никто не знал, что ждет нас в сталинском СССР, поэтому, когда появилась возможность вы-

4 Футерфас Менахем-Мендл родился в 1907 г. в мест. Плещеницы под Минском. В 1925–1929 гг. учился в подпольных ешивах «Томхей тмимим» в Харькове, Невеле и Витебске. Стал раввином, в 1930–1935 гг. руководил любавичскими ешивами в Днепропетровске и Одессе. В 1935–1941 гг. тайно исполнял обязанности раввина в Егорьевске под Москвой. В войну эвакуировался в Самарканд. В 1946 г. выехал во Львов, где проживал на нелегальном положении, ведал финансами подпольного комитета, организовывавшего выезд евреев за границу. В 1947 г. арестован как «активный участник антисоветской организации хасидов» и приговорен к 10 годам ИТЛ. Из обвинительного заключения: «Намеревался изменить Родине». Вышел на свободу в 1956 г., в 1964-м выехал из СССР. Скончался в 1995 г.

рвать хотя бы одного ребенка из-под власти большевиков и помочь ему остаться религиозным евреем, отец не медлил ни секунды.

Отправив старшего сына, отец с остальной семьей поехал во Львов. Мы прожили в этом городе полгода и в конце концов, с помощью организации реб Футерфаса, оформили все документы, необходимые для выезда. Как-то ночью к нашему дому подъехала крытая грузовая машина, мы погрузили свои нехитрые пожитки и покатали на вокзал. До отхода поезда оставалось несколько часов. У самого вокзала машину остановил милицейский заслон: проверка документов. Мы видели здание вокзала, слышали паровозные гудки.

Не знаю, кем на самом деле были эти люди: милицией или переодетыми эмгэбэшниками. Они взяли наши документы и стали их рассматривать со всех сторон, очень медленно, очень тщательно. А до отхода поезда уже оставались минуты. И лишь когда проревел паровозный гудок и застучали колеса, нам вернули документы, сказав с нескрываемой издевкой: «Теперь все в порядке, можете ехать». А ведь это был последний эшелон с польскими беженцами, выехавший из СССР!

Я не думаю, что это была специальная акция, направленная против отца. Если бы это было так, она имела бы продолжение. Нас просто задержали перед отходом поезда и не дали в него сесть. Скорей всего, антисемиты-милиционеры вознамерились поиздеваться над нами. Может быть, они знали, что это последний поезд, а может, просто ре-

шили попортить нам кровь — ведь такие поезда отправлялись не каждый день, и если ты на него опаздывал, нужно было переоформлять многие документы. Этого делать нам уже не пришлось — больше поездов не оказалось. Вот таким фиаско завершилась попытка нашего отъезда через Польшу.

Во Львове мы оставаться не могли, поскольку не имели прописки и получить ее было невозможно. Вернуться в Горький? Но там за отцом уже велась плотная слежка, зачем совать голову волку в пасть? И мы перебрались в Черновцы.

Спустя два года перед отцом с матерью встала новая проблема. Мне уже исполнилось семь лет, и, в соответствии с законом, я должен был начать учебу в школе. Отец, конечно, не хотел этого, поскольку сразу же возникали проблемы с соблюдением субботы. Кроме того, родители совершенно справедливо считали, что мне, не приведи Господь, могут «промыть» мозги в большевистской школе. Хотя следует подчеркнуть, что к семи годам я уже был основательно «подкован» в еврейском отношении — и знал немало, и соблюдал заповеди. С того момента, как его дети — четыре сына и две дочери — начинали что-то понимать, отец занимался с ними Торой, обучал молитвам, соблюдению заповедей. Но все же опасность того, что ребенок окажется под влиянием советской пропаганды, была велика.

За две недели до начала учебного года инспекторы гороно начали обходить квартиры, где жили дети школьного возраста, и проверять, куда они идут учиться. И родители решили отправить меня

в Горький, где жила бабушка и два брата матери. План был такой: на расспросы, где я, почему не записался в школу, родители станут отвечать: уехал в Горький к бабушке, будет учиться там. А когда занятия начнутся и меня перестанут искать, я спокойно вернусь домой. Согласно этому плану, мне предстояло провести у бабушки всего несколько месяцев. Но жизнь распорядилась иначе.

Через два-три дня после моего приезда в Горький в бабушкину квартиру ночью ворвались эмгэбэшники — пришли арестовывать отца. Он был в Черновцах, чего им, конечно, никто не сказал. Впрочем, они и так все знали и, как я понимаю сейчас, ломали комедию, стараясь как можно сильнее запугать мою бабушку и дядей.

А над отцом в Черновцах нависли тучи. Он ведь ни на минуту не оставлял мысли вырваться из СССР и постоянно искал пути для этого. Граница после войны все еще не была перекрыта герметически, как это произошло позднее, и контрабандисты относительно свободно сновали из Румынии в СССР и обратно. Несколько евреев решили воспользоваться каналами контрабандистов, чтобы перебраться в Румынию, а уже оттуда — на Запад. Отец был членом этой группы, и из нашего дома отправились с контрабандистами первые два человека, чтобы проверить, как работает канал.

Границу они действительно перешли без проблем, но в Румынии их тут же схватили — «контрабандисты» оказались сексотами. Двух несчастных евреев переправили во Львов, начали пытаться,

и они выдали остальных членов группы. Отца немедленно арестовали, и целый год мы не знали, где он, что с ним. В конце концов его осудили по политической статье — за попытку перехода границы. Отец все отрицал — ведь, собственно, к границе он даже не приближался, — но власти не желали ничего слышать, и ему пришлось отсидеть шесть лет в тюрьме.

Во время допросов отцу показали его дело. И хотя в нем вроде бы речь шла о попытке незаконного пересечения государственной границы, материалы содержали подробнейшее описание всех лет его жизни в Горьком. Отец, конечно, знал, что за ним следят. Но он и представить себе не мог масштабы этой слежки, числа людей, участвовавших в ней. В деле содержалась детальная информация обо всех его шагах и поступках — к кому, куда и когда он ходил, что делал, что говорил, с кем встречался. И так буквально день за днем, причем на протяжении многих лет!

Следователь как-то сказал ему: «Ты думаешь, мы знакомы с тобой только с момента приезда в Черновцы? Ошибаешься. Мы отслеживали тебя еще до того, как ты женился на дочке Раскина». И задал ему вопрос: «Где ребята, что на праздновании Симхес Тойре⁵ в Ленинграде называли тебя “черный цыган”?»

5 Симхес Тойре (Симхас Тойра, «радость Торы») — праздник, посвященный завершению годового цикла чтения Торы. В день Симхас Тойра в синагогах проводится торжественная и очень веселая церемония с пением и танцами.

Отца арестовали в 1949 году, из Ленинграда он уехал в 1932-м. За год или два до отъезда он действительно организовал фарбренген по поводу Симхес Тойре, на котором присутствовали трое братьев Кляйн — Зяма, Мойше и Липа. Те, что постарше, — Мойше и Зяма — выпили немного и начали дурачиться, кричали ему: «Черный цыган!» — у отца была жгуче-черная борода и темный цвет кожи. Сколько же надо было потратить средств и усилий в те голодные и холодные годы, чтобы организовать слежку за одним хабадником, вся вина которого заключалась в том, что он верил в Господа Бога, а не в советскую власть?

Я приехал в Горький на месяц, а задержался в нем на пять лет — почти на все время, что отец сидел в тюрьме. Матери и без меня было тяжело, вся забота о семье, о детях свалилась на ее плечи. Когда отца взяли, она была беременна и через полгода родила близнецов — Шлойме и Сару. Денег катастрофически не хватало, к тому же мать болела. Но нашлись добрые евреи, поддержавшие ее в тяжелую годину, хотя помощь семье политического заключенного была связана с опасностью ареста или, по меньшей мере, преследований со стороны властей.

Жил тогда в Черновцах реб Мойше Коликов⁶. Он был уже пожилым человеком, но когда узнал,

6 Коликов Моисей (Мойше) Яковлевич родился в 1878 г. в Киеве в семье торговца. Получил религиозное воспитание. Жил в Киеве, проводил сбор средств для работы нелегальных хедеров и ешив. В 1927 г. арестован за «антисоветскую агитацию», но через двенадцать месяцев освобожден. В 1939 г. арестован «как участник антисоветского клерикального под-

что мать осталась одна с новорожденными детьми на руках, приходил к ней буквально каждый день, приносил еду, деньги. Он не был хабадником, но смысл его жизни заключался в помощи евреям. В частности, именно реб Мойше организовал брис для моего брата, что в 1950 году было довольно опасно.

В Горьком я пошел в школу — больше тянуть было невозможно. Но по субботам я ее или вообще не посещал, или придумывал разные истории, чтобы не писать на уроках. То упал и руку зашиб, то пальцы горячим чаем ошпарил. В общем, сказки тысячи и одной ночи. Но как-то все это мне сходило с рук — уж не знаю, верили или не верили мне учителя, а субботу я не нарушал.

В 1954 году я вернулся в Черновцы. Отец сидел, и было ясно, за что: вовсе не за контрабанду или попытку перехода границы, а потому что был религиозным евреем, хабадником. В его отсутствие мать строго придерживалась всех религиозных предписаний и воспитывала детей в соответствии с Торой, в хабадской обстановке. Она делала все возможное и невозможное, в том числе даже подкупала учителей, чтобы они не обращали внимания на наши бесконечные прогулы по субботам и праздникам.

поля» и заключен в Лукьяновскую тюрьму. Из обвинительного заключения: «Принадлежал к антисоветской группировке и активно участвовал в антисоветской агитации». Виновным себя не признал. Приговорен к трем годам ссылки в Казахстан. После войны переехал в Черновцы. В 1989 г. реабилитирован.

Естественно, мать заботилась не только о соблюдении нами субботы, но и о нашем еврейском образовании. Это, без преувеличения, была одна из самых главных ее задач. Тогда в Черновцах жил раввин Хаим-Меир Кахане. Он и его жена отсидели за еврейство много лет в лагерях. Чтобы вкратце охарактеризовать этого человека, достаточно рассказать историю о том, как он спас от большевиков своего единственного, долгожданного ребенка.

Как я уже упоминал, в 1946 году польским беженцам разрешили вернуться на родину. Благодаря реб Мендлу Футерфасу среди уезжавших оказалось много хабадников. И вот однажды, когда поезд с возвращавшимися польскими беженцами отошел от львовского вокзала, но еще не успел набрать ход, раввин Кахане вместе со своим пятилетним сыном (у него больше не было детей) подскочил к одному из вагонов и забросил в него ребенка с криком: «Идн⁷, спасите мальчика!» Как праотец Авраа́м — точно как праотец Авраа́м! У ребенка не было никаких документов — только письмо со всеми его данными, чтобы он знал, кто его родители. И произошло чудо — мальчика таки сумели вывезти за границу!

Вскоре после этого раввина Кахане и его жену арестовали. Освободившись, они поселились в Черновцах, где познакомились с одним из наших хабадников — Гиршелем Рабиновичем. Тот быстро понял, что раввину Кахане можно дове-

7 Идн (идиш) — еврей.

рять, и сказал ему: «В городе есть ребята, отцы которых сидят за Тору, поэтому учить их некому — может быть, возьметесь за это святое дело?» Раввин, не медля ни секунды, воскликнул: «Конечно, я буду с ними заниматься!» Представьте себе: человек только что вышел из тюрьмы после многих лет отсидки. Только что! И сразу же согласился взяться за дело, которое, если его раскроет МГБ, грозит еще большим сроком!

Раввин Кахане жил в громадной коммунальной квартире на пятом этаже, и мы, четверо ребят, приходили к нему каждый день в шесть часов утра. В дверь не стучали — не приведи Господь, могли услышать. Жена раввина оставляла ее открытой, мы прокрадывались в их комнату и там занимались с шести до восьми утра. Ребецн⁸ готовила нам очень скромный завтрак, и мы потихонечку расходились — кто в школу, кто — на работу.

А днем ребецн занималась с девочками. Они не были хабадниками, муж и жена Кахане, но их самопожертвованию, их любви к евреям мог бы позавидовать любой хабадник! Я до сих пор, будто это было вчера, помню большой красивый дом, где жил раввин Кахане, его комнату и, самое главное, то, чему он нас учил.

Я продолжал ходить к раввину Кахане и после того, как отец вернулся из тюрьмы. А через полгода освободился и реб Мендл Футерфас. У не-

8 Ребецн (идиш) — жена раввина.

го в СССР никого не было. Свою семью — жену и двух детей — он отправил за границу, а сам остался. «До тех пор, пока я могу спасти хотя бы одного еврея, мое место здесь», — сказал он. Футерфас был в последнем эшелоне польских беженцев, отправлявшемся из СССР, но к тому времени МГБ раскрыл его тайную организацию.

Реб Мендла сняли с поезда, арестовали и посадили. «Ты теперь сгниешь в тюрьме», — сказали ему эмгэбэшники. «Не по вашей воле вы сумели меня арестовать, и не по вашей воле я окажусь на свободе и буду жить со своей семьей. Есть Властелин мира, и все совершается по Его указанию», — ответил он им. И в конечном счете оказался прав. Я не знаю, куда делись эти эмгэбэшники, а реб Мендл сумел выехать из СССР и еще много лет прожил со своей женой и детьми.

Отец рассказал, как однажды встретился с реб Мендлом в ленинградской тюрьме «Шпалерная». В соответствии с внутритюремными правилами, когда заключенного вели на допрос или переводили из камеры в камеру, ему ни в коем случае нельзя было встретиться с другими заключенными. А допросы проводились только ночью — это была система. Причем шли они всю ночь, а днем заключенным спать не разрешалось. В течение нескольких недель пытка бессонницей доводила здорового человека до такого психического истощения, что он был готов взять на себя любую вину. Всевышний помогал отцу, и он не сломался даже после серии ночных допросов.

Когда его вели на очередной допрос, произошла какая-то ошибка, и он столкнулся в коридоре лоб в лоб с реб Мендлом. И хотя каждого конвоировали по два тюремщика, увидев друг друга, отец и реб Мендл забыли обо всех законах «Шпалерной» и крепко обнялись. По правилам советских лагерей и тюрем шаг в сторону считался побегом. За столь вопиющее нарушение правил тюремщики могли застрелить их на месте, но на вертухаев словно затмение нашло. Они приказали им разойтись и повели дальше, даже не наказав! Более того, после этого отца и реб Мендла какое-то время содержали в одной камере.

Когда в 1956 году реб Мендл освободился, за ним сразу установили плотную слежку. Он не хотел навлечь беду на других, еще не известных властям евреев, поэтому поехал к отцу, недавно освобожденному из лагеря и находившемуся под надзором. Вслед за ним, тоже после выхода из зоны, приехал в Черновцы реб Хаим-Залман Козлинер. В городе постепенно собралась целая компания «крепких» хабадников: Авром Левенгарц, Эйзер Винокурский. Образовалась община — подпольная, конечно.

Бывало, посреди недели приходил к нам реб Мендл и говорил отцу: «Мойше, давай скажем вместе *лехаим*». Они ставили на стол бутылку водки, начинали обсуждать маамар Ребе или какой-нибудь сложный вопрос в хасидизме. А потом звали меня со старшим братом: «Ну-ка, ребята, бегите, зовите всех, сегодня будет фарбринген!»

Сколько слез было пролито на этих фарбренгенах, сколько водки выпито и, главное, сколько диврей Тойре, рассказов о наших Ребе произнесено! Мы, мальчики, буквально дышали ими, впитывали в себя все, до последнего слова! Прошло уже больше полувека, но я до сих пор живу этим духовным богатством. До сих пор не только то, о чем говорилось на фарбренгенах, но и преданность этих людей Торе, их стремление даже в тех страшных условиях оставаться евреями, хабадниками, их вера, чистота, их дружба и единство служат мне примером, компасом в океане жизни, помогают преодолевать все беды и напасти.

Мне уже было больше пятнадцати лет, и отец решил, что пора оставить школу, поскольку постоянно возникали проблемы с субботой и праздниками. Буквально каждую субботу мне приходилось сражаться за то, чтобы не писать на уроках. К тому же отец не хотел, чтобы мне продолжали ежедневно «промывать мозги». Но как избавиться от школы? Закон обязывал учиться всех детей в возрасте до восемнадцати лет. Устроиться на работу можно было только в том случае, если представлялись справки, что в семье все больные и нет кормильца. Лишь тогда давали право на работу, но с условием занятий в вечерней школе. И тут мне помог реб Мендл Футерфас.

Он к тому времени нашел квартиру и жил в конце Сталинградской улицы. Я часто провожал его домой. Он был очень болен — гипертония, язва желудка. Лагеря никому не проходят даром. Но

внешне выглядел чрезвычайно внушительно — невысокий, крепко сбитый, широкоплечий, с черной бородой, пронзительными, жгучими глазами. Носил он специально сшитый, длинный, почти до колен, черный пиджак, как это было принято среди любавичских хасидов, и черный картуз. (Отмечу, что другой одежды у него не было, этот пиджак он носил и в будний день, и в субботу.)

Когда реб Мендл шел по улице, казалось, идет «мелех» — царь, идет пророк — Моше-рабейну. Все прохожие, евреи и неевреи, останавливались, отступали в сторону, чтобы пропустить его. Все понимали: идет святой человек.

Как-то раз, идя по Сталинградской, мы поравнялись с полуподвалом, в котором размещалась мастерская некоего Ящука — водопроводчика, подрабатывавшего мелким слесарным ремонтом. Он выскочил на улицу и обратился к реб Мендлу: «Ребе, благослови меня!» Вид у него был еще тот — нечесанные патлы торчали во все стороны, лицо красное от бесконечных пьянок. От Ящука несло спиртным как из бочки, когда он пригнулся к реб Мендлу и в двух словах рассказал свои беды: жена бросила, сын стал вором, дочь — проституткой. «Благословите, святой человек, чтобы жизнь моя как-то наладилась», — попросил Ящук.

Реб Мендл внимательно посмотрел на него, и сказал: «Я могу тебе помочь. Но с одним условием. Вот мой племянник, — тут он указал на меня, — ему уже больше пятнадцати лет. Возьми его к себе, научи ремеслу и плати нормальную

зарплату. Если выполнишь, я благословлю тебя». «Пусть завтра же выходит на работу. Сделаю так, как вы хотите!» — обрадовался Ящук.

Реб Мендл благословил его — вслух, по-русски: «Чтобы Бог тебе помог, жена вернулась, сын стал порядочным человеком, а дочка приносила только счастье». И прибавил: «Вот увидишь, так оно и будет».

За полтора года, что я работал у Ящука, он ни разу не пожаловался — мол, благословение не сбылось. Видимо, таки сбылось!

Реб Мендл поставил ему еще одно условие: Ящук должен отпускать меня на обеденный перерыв — с часу до трех дня. «Он все же еще ребенок, — сказал реб Мендл, — не может работать весь день и нуждается в отдыхе». Ящук принял и это условие.

Реб Мендл жил в пяти минутах ходьбы от мастерской. Каждый день я приходил к нему, он ждал с готовым обедом и, пока я ел, рассказывал мне хасидские истории. А потом мы учились — Хумаш, Гемора, хасидизм. Вот зачем он поставил это условие.

Ящук относился ко мне очень хорошо. Я был малым смышленным, быстро все освоил и работал без ошибок и накладок. Но трудиться приходилось много — с девяти утра до семи-восьми вечера. И очень напряженно. А просыпался я около пяти, чтобы успеть на урок к раввину Кахане. Поэтому после ужина у меня уже не оставалось никаких сил. И как только я с отцом начинал заниматься То-

рой, глаза у меня сразу слипались и я засыпал прямо за столом. Отец кричал, сердился: «Молодой парень, обязан учиться, что это такое — всего четыре часа в день занятий», но поделаться ничего не мог.

И вот наступил Юд-бейс тамуз. Мы его отмечали в СССР не так, как здесь, в Израиле. Тут устраивают вечером фарбринген, посидят пару часов после молитвы Маарив и идут спать. А мы праздновали два дня — в Юд-бейс Ребе Раяца освободили, а на следующий день, в Юд-гимель, он пришел домой. Поэтому мы начинали фарбринген в Юд-бейс днем, часа в три-четыре. Делали лехаим, пели песни, говорили диврей Тойре. Потом молились Минху⁹ и продолжали фарбринген. Маарив молились уже под утро.

В тот Юд-бейс тамуз фарбринген проводили у реб Аврома-Шмуэля Левенгарца. У него была одна комната в большой коммунальной квартире, где жили еще соседи-нееевреи. Но они очень уважали Аврома и не мешали проводить фарбрингены. Я не пошел туда прямо с работы, а сперва помылся и переоделся в свою лучшую одежду — праздник, да еще какой: день освобождения Ребе из большевистской тюрьмы! Добрался я до квартиры реб Аврома часам к восьми. А они там гуляли уже часов с трех и были в очень веселом настроении.

⁹ Минха — предвечерняя молитва, одна из трех ежедневных еврейских молитв, две другие — Шахарит и Маарив. Минха обычно читается перед самым заходом солнца, чтобы молящиеся могли без долгого перерыва приступить к вечерней молитве Маарив.

Реб Мендл схватил меня, усадил рядом с собой и налил полный стакан водки: «Сделай лехам и обещай, что с завтрашнего дня начнешь приходить домой не позже пяти часов и будешь заниматься каждый вечер, как полагается». «Нет, — отвечаю, — я не могу такое пообещать. Ящук меня не отпустит так рано».

И выпил. Закусил, конечно, — на столе была селедка, хлеб, нарезанные овощи, салаты, консервы какие-то, много лука в масле. А фарбрэнген в самом разгаре — кто-то обсуждает маамар Ребе, кто-то поет хасидские *нигуним*¹⁰, кто-то плачет.

К часу ночи, когда я уже был под хорошим градусом, реб Мендл снова обращается ко мне: «Ты должен со всей еврейской силой принять решение: с завтрашнего дня уходишь с работы в пять, чтобы мог заниматься Торой». И наливает мне еще один стакан водки.

Рядом с ним сидит отец и тоже говорит: «Михл, вот здесь, на фарбрэнгене, ты должен принять это решение и потом не отступаться от него». Я поднял стакан и сказал: «Пусть завтра хоть весь мир перевернется, а с работы уйду в пять. Уволит меня Ящук — так уволит». И выпил стакан одним махом.

Что было дальше — не помню. Очнулся утром, на своей кровати. Как я в ней очутился, как вообще домой попал — никакого понятия. Голова раскалывалась, будто по ней молотками стучали, во рту — сухость, мутило так, что, казалось, вот-вот

10 Хасидские мелодии, которые поют без слов.

вырвет. Реб Мендл все утро просидел возле меня и с ложечки поил чаем с лимоном.

А мама на него кричит — ведь реб Мендл был для нее и отца как брат: «Что ты сделал с мальчиком, зачем его споил!» И на отца: «А твои глаза где были, почему позволил ребенку так набраться!» Но отец с реб Мендлом только улыбались и ничего ей не отвечали.

В тот день на работу я уже, конечно, не пошел — просто не мог. А назавтра Ящук меня спрашивает: «Мишенька, в чем дело, почему вчера не явился?» Отвечаю: болел, плохо себя чувствовал. Он посмотрел на меня: «Ты и сейчас еще очень бледный. Может, и сегодня стоит отдохнуть?» Но я сказал: «Нет-нет, все в порядке».

Начинаю работать, а в голове одна мысль бухает: как же я ему скажу, что теперь буду уходить в пять часов? Сердце колотится, мысли скачут, я все время прикидываю и так и эдак, как начать разговор, какие доводы привести. Уже два часа дня, три. А работы, как назло, — непочатый край. И я стараюсь изо всех сил закончить все к пяти. Напротив меня висели большие часы, отбивавшие время каждые пятнадцать минут, — их звон просто разрывал мое сердце.

И, как назло, в половине пятого, когда я собирался начать с Ящуком разговор, принесли для починки какой-то очень сложный замок. Он положил его на мой рабочий стол и говорит: «Надо сделать побыстрее, только будь внимателен: замок хитрый, разбери его осторожно и запом-

ни место каждой детали». Я глянул на этот замок, и у меня в глазах потемнело: только на разборку уйдет часа полтора. В обычный день до семи я его вполне успел бы починить. Но я ведь дал слово на фарбренгене, что уйду в пять!

Чтобы как-то начать разговор, я посмотрел на замок и протянул: «О, это действительно сложная система, много придется повозиться». А Ящук меня успокаивает: «Ничего страшного, ты уже такие вещи делал. Тут главное быть внимательным».

И вдруг ни с того ни с сего спрашивает: «Скажи мне, сколько тебе лет?»

— Через пару месяцев исполнится шестнадцать, — отвечаю.

— Как, еще шестнадцать не стукнуло? Ты ходишь в вечернюю школу? — удивился Ящук, будто впервые меня увидел.

— Я очень хотел бы, — говорю печальным голосом, — но ведь вы мне даете работу до семи-восьми вечера. Какая уж тут вечерняя школа, у меня просто возможности нет учиться.

И вдруг он как закричит: «Что значит — нет возможности? По моей вине ты останешься неучем? Чтоб духу твоего здесь в пять часов не было — иди в вечернюю школу! Замок подождет до завтра, ничего с ним не случится».

Так я начал уходить в пять часов и занимался в «вечерней школе» моего отца. Мне и слова Ящуку сказать не пришлось. С тех пор в каждый Юд-бейс тамуз я рассказываю эту историю — если еврей во имя Торы принимает какое-то ре-

шение, у него раскрываются колоссальные силы. Он — хозяин мира, ему даже делать ничего не надо; мир сам говорит ему, сам просит его: соблюдай заповеди, учи Тору!

Если же еврей плывет по течению и находит оправдание собственной мягкотелости в том, что, мол, от него ничего не зависит, ведь надо жить по законам окружающего общества, — это течение его уносит, и, скорее всего, он утонет в бурных житейских волнах. Каждый еврей должен в какой-то момент решить для себя, сделать выбор: или он хозяин мира, или раб страстей и слабостей.

Эта история произошла со мной именно в Юд-бейс тамуз вовсе не случайно. Когда Ребе Раяца арестовали, он сразу принял решение, что не поддается гэдэушникам, а будет вести себя как хозяин своей судьбы. Так оно и было: находясь в застенках, Ребе говорил с гэдэушниками только на идише, и они приняли это, он никогда не вставал перед ними, признавая тем самым их власть, и они смирились. Он никогда ни о чем их не просил — и победил.

Они сняли все свои обвинения, а затем в течение нескольких дней заменили смертный приговор на лагеря, потом лагеря — на ссылку, а затем и вовсе выпустили его на свободу. И даже позволили выехать из Советской России со всей семьей и с нашим будущим Ребе Менахемом-Мендлом. Ребе Раяц не дал гэдэушникам возможности управлять им. Этот урок Ребе преподал всем нам, и я лично убедился в его правоте на примере ма-

ленькой, но очень важной для меня истории с вечно полупьяным водопроводчиком Ящуком.

Коли уж я упомянул, что мы пили на фарбренагах, расскажу немного и о том, что мы ели. Конечно, вся пища была кошерной. В нашей семье покупали на базаре раз в неделю (больше позволить себе не могли) живую курицу и несли к шойхету, реб Хаиму-Залману Козлинеру. Мы ели эту курицу всю неделю. Мать делила ее между детьми — кому голову, кому крылышко. Она разделяла курицу, как полагается по галахе, и кошеровала ее — высаливала и вымачивала. А потом готовила в пасхальной посуде и вытапливала жир, чтобы у нас в Песах был куриный жир. Ведь подсолнечное масло в Песах мы не ели¹¹.

Раз в неделю мама ходила в какое-то близлежащее село и приносила бидончик молока, которое доили при ней. Так у нас был холов Исроэл¹², и пил его только папа. Когда мы были маленькими, нам давали обычное молоко, из магазина, но из отдельной посуды. Молоко хоть и не было некошерным, но все-таки не холов Исроэл, поэтому держали для него специальную посуду. Когда мы

11 Песах — восьмидневный праздник в память об исходе из Египта (14–21 нисана, март–апрель) — сопровождается особыми диетарными законами: запрещено употребление в пищу *хамеца* — квасного: хлеба и иной выпечки, а также иных продуктов (каш, алкоголя) из пяти видов злаков (ржи, пшеницы и др.); ашкеназская традиция запрещает и так называемые *китнийот* — продукты, похожие на эти злаки, к которым относятся и семечки подсолнуха. — Прим. ред.

12 Холов Исроэл (халав Исраэль) — «еврейское молоко», то есть молоко, надоенное евреем или под надзором еврея.

подросли и уже не было жизненной необходимости в молоке для развивающегося детского организма, мы перестали это молоко пить.

Хлеб из магазина мы тоже ели, хотя это и не еврейская выпечка. Но что можно было с этим поделать — вообще хлеб не есть? Ели. На субботу, понятно, и на праздники мама пекла халы. Кроме того, весь месяц тишрей — от Рош а-Шона до конца праздника Суккот¹³ — отец не ел гойский хлеб, только мамины халы. Были, конечно, единицы, которые весь год не ели магазинный хлеб, пекли для себя сами. Но в нашей семье ежедневно напечь хлеба на восемь человек было невозможно.

Безусловно, на Песах пользовались только своей мацой. У нас в Черновцах в одном доме, не помню уже адрес, оборудовали большую печь. Перед Песахом там собирались все наши женщины и пекли мацу. Не только для себя, но и для евреев, про которых точно знали, что они нас не сдадут властям. Производство мацы было тайным, и за него можно было запросто схлопотать срок.

Делали мацу также для хабадников, сидевших по лагерям, и отправляли им в посылках. Хранили мацу в наволочках. Примерно за месяц до Песаха тщательно их стирали. Подушки в России были большие, поэтому в каждую наволочку входило несколько килограммов мацы.

¹³ Суккот (ивр. «кущи») — семидневный осенний праздник в память о шалашах, в которых жили евреи в пустыне после исхода из Египта, по происхождению — аграрный праздник урожая («сбора плодов»). — Прим. ред.

Но вернусь к моей трудовой деятельности. У Ящука я проработал, пока мне не исполнилось семнадцать лет, а потом устроился водопроводчиком в домоуправление. Сначала брать не хотели. Директор взглянул на меня: «Сколько тебе лет? Семнадцать? Так ты ж еще ребенок, какая работа — иди и учись!»

Но я знал, что главный инженер в этом домоуправлении — большой пьяница. Зашел к нему в кабинет, поставил на стол бутылку водки. И когда директор опять начал возражать против моей кандидатуры, главный инженер привел «убийственный» аргумент: «На хорошем инструменте любой сыграет, а вот на плохом — только большой мастер. Возьмем парнишку на работу и сделаем из него человека!» Так я начал свою карьеру водопроводчика.

Все шло вроде хорошо, но приблизилась суббота, и надо было придумать какую-то историю, почему я не могу работать. А это ведь уже не Ящук с его замками — если лопнет труба или потечет кран, кого волнуют проблемы водопроводчика? Обязан починить — и вся недолга! Думал я, думал и ничего лучшего не придумал, как снова прийти к главному инженеру. Принес ему, понятно, бутылку, но уже не поллитровку, а чекушку.

«Вот, — говорю, — дело к воскресенью, выходной день, чтобы вы хорошо отдохнули». Ну что это такое — чекушка водки? Один стакан. Но для выпивохи и он в радость. Главный инженер хлопнул меня по плечу: «Ты, Миша, — свой парень, все понимаешь. Не зря я воевал за тебя у директора!»

А я ему говорю: «У меня завтра свидание с девушкой, с самого утра. А что делать, если вдруг я понадобится?» — «А, не волнуйся, все заявления приходят ко мне. Я тут хозяин, никто мне не вправе указывать. Гуляй спокойно со своей девухой, если вдруг срочный ремонт случится, я найду, кому его поручить».

Так прошло около полугода, и каждый раз я придумывал какую-то причину, почему не могу выйти в субботу. То приболел, то родственники нагрянули, то вообще что-то промышчу нечленораздельное. На меня кричали, устраивали нагоняи, но терпели. Я ведь был хорошим работником: не пил, не скандалил, в течение недели все выполнял без сучка и задоринки. А то, что постоянно носил кепку или тюбетейку, так это смотрелось для водопроводчика вполне естественно — надо же чем-то голову прикрыть, когда занимаешься канализацией.

Но сколько веревочке ни виться, а концу быть. В домоуправлении все же обратили внимание, что я именно по субботам на работу не являюсь. И, как я потом узнал, сразу стукнули, куда полагалось. Кагэбэшники устроили за мной слежку и моментально выяснили, кто я, из какой семьи. Не только про меня, но и про моего брата узнали, что он не работает в субботу. И появилась в городской газете статья: встречаются еще у нас порой пережитки прошлого — попав под влияние мракобесов, два молодых парня в счастливую эпоху строительства коммунизма не работают по субботам!

За такой статьей могли последовать серьезные «оргвыводы» — вплоть до посадки. И отец с реб Мендлом решили: старший брат останется в Черновцах, но будет жить на другом конце города и домой носа не сунет. А я должен уехать. Почему? Да потому, что, в отличие от брата, я был более бойким, более, как сейчас говорят, коммуникабельным. Я сумею устроиться, а брату-тихоне придется туго.

Я направился во Львов, где жила моя двоюродная сестра. Но, чтобы жить и работать, нужна прописка. А как ее заполучить? Если я сунусь в паспортный отдел, весьма вероятно, что какой-нибудь усердный чиновник пошлет запрос в Черновцы. И какой оттуда поступит ответ? Что я тот самый парень, который попал под влияние мракобесов и сбежал из города?

Без прописки во Львове долго оставаться я не мог. Хотя на дворе стоял уже 1958 год, но еще вовсю шла борьба с остатками бандеровцев¹⁴ и на улицах постоянно проверяли документы. Я узнал, что подо Львовом есть маленькая деревня, населенная только поляками, а в ней — небольшая ткацкая фабрика. Оборудование на ней было старое, работать приходилось и руками, и ногами. Поэтому желающих надрываться там было со-

¹⁴ Бандеровцы — члены радикального крыла Организации украинских националистов, возглавляемого Степаном Бандерой, с 1943 г. объединенных в Украинскую повстанческую армию. В годы войны и после нее, вплоть до середины 1950-х гг., бандеровцы составляли ядро антисоветского вооруженного подполья в Западной Украине; официальная пропаганда клеймила «бандеровцами» любые украинские националистические и даже любые криминальные группы. — *Прим. ред.*

всем немного. И я сразу подумал: о, вот это мне подходит. И действительно, там была такая нужда в работниках, что если в отдел кадров приходил молодой и здоровый парень, то они уже ни на что не обращали внимания. К тому же в деревушке прописка не требовалась. Директором фабрики оказался еврей, он дал мне пару дней испытательного срока и принял.

Ну, все вроде замечательно, но где жить? Про общежитие на этой фабричке слухом не слыхивали. И я пошел искать себе постой на частной квартире. Улицы в деревушке были узенькие, неасфальтированные, грязные. Домишки маленькие, крыши из соломы, окошки узкие, подслеповатые. Как правило, в такой избе была только одна комната, в которой жила вся семья.

В нескольких избах мне согласились выделить койку в углу. Но какая койка, как же я буду молиться? Мне нужна отдельная комната, чтобы я мог закрыть дверь и меня никто не видел!

Я обошел половину деревеньки, пока, наконец, нашел хозяина, готового сдать мне отдельную комнату. Но когда я в нее вошел, у меня в глазах потемнело: все стены были увешаны иконами. Сказать, что я еврей и не могу жить в комнате с иконами? Сразу откажут. Что же делать?

И я говорю хозяину: «Не смогу спать в комнате со святыми угодниками — сильно грешен. Когда они смотрят на меня, то просто сна лишаюсь. Можно их снять?» Услышал он это да как заорет: «Что? Снять Деву Марию?!» — и выгнал меня взашей.

В общем, мыкался я, мыкался, пока все же не нашел комнатку. Она была совсем крохотная, с маленьким окошком. В ней тоже висели иконы, правда всего две. Наученный горьким опытом, я вновь поведал свою «историю», что боюсь спать с угодниками, но попросил не убрать иконы, а только позволить мне завешивать их на ночь газетой. Хозяева согласились, и я обрел крышу над головой.

Утром я встал рано, наложил *тфилин*¹⁵ и начал молиться. Дай-то Бог, чтобы нынче в Йом Кипур я молился так, как в тот день! На кого я мог рассчитывать — молодой парень, заброшенный судьбой далеко от дома, от семьи, в грязную деревушку, где живут только неевреи, — без родителей, без друзей, скрывающийся от властей? Только на Всевышнего. О, как я молился в то утро, с какой верой, с какой силой! Слезы текли по моему лицу, а я, закрыв глаза, стоял у стены и просил Всевышнего о помощи.

Когда я открыл глаза, в комнате было темно: за окном сгрудилась толпа людей и рассматривала меня.

Произошло вот что: сперва кто-то из соседских мальчишек заглянул в окошко — как же, новый человек поселился, интересно. Увидел какие-то странные коробочки на моей голове и руке и ре-

¹⁵ Тфилин — две черные кожаные коробочки, в которых находятся написанные на пергаменте отрывки из Торы. Перед молитвой с помощью кожаных ремешков тфилин накладывают на обнаженную левую руку («против сердца») и на лоб.

шил, что я шпион, обвешанный радиоаппаратурой. Позвал друзей, те — родителей. И кто-то из взрослых сказал: «Это вовсе не шпион, это еврей, они так молятся!» Увидев, сколько я молюсь и как, с какой верой, даже неистовством, они решили, что я — еврейский святой.

Так я стал очень уважаемой личностью в деревне. Когда я шел по улице, не было человека — ни молодого, ни старого, который не поклонился бы мне и не перекрестился. А если вечером на пути попадалась целовавшаяся парочка, то, завидя меня, она убегала — не полагается заниматься подобными делами в присутствии святого.

Так я прожил год. Всю неделю тяжело работал на фабрике, питался только хлебом, картошкой и селедкой, потому что никакие другие кошерные продукты достать было невозможно. А субботу проводил во Львове. Отпускали меня без проблем — как же, святой! И директор-еврей не боялся, ему было даже приятно, что может чем-то помочь соплеменнику, соблюдающему веру отцов. Все это было очень странно и совершенно не соответствовало духу тех времен. Но, наверное, та моя молитва дошла до Небес, и Сверху мне помогли.

Я регулярно переписывался с отцом. Его ответы на мои письма с жалобами, как мне тяжело одному, напоминали *сихот* — беседы — Ребе. Эти наставления я помню до мельчайших подробностей, живу ими до сих пор, передаю своим детям и внукам.

«Все, что происходит с нами, не случайно, — писал отец, — если ты оказался в каком-то ме-

сте, значит, есть некое предназначение, которое ты должен там выполнить. А предназначение каждого еврея — быть посланником Всевышнего, вносить святость туда, где он находится. Если Всевышний отправил тебя в эту деревню, то не для того, чтобы ты работал, как вол, на фабрике, а для того, чтобы ты обнаруживал искры святости в этом месте и высвобождал их, поднимал к Небесам¹⁶. Поэтому, когда ты идешь по улице своей деревеньки и не повторяешь наизусть псалмы, или “Танью”, или Гемору, то каждый камень, на который ты наступаешь, кричит, вопиет к Богу: почему этот парень не возвышает меня, почему он забыл о своем предназначении?! Бог создал мир для евреев, чтобы они приближали его к Небесам, освящали его каждым своим, казалось бы, обычным поступком. И если ты не делаешь этого, то нарушаешь цель, ради которой появился на свет».

Эти слова отца дали мне тогда (и продолжают давать до сих пор) огромную энергию, поставили передо мной цель, к которой я стремлюсь до нынешнего дня. И я продолжал учиться, продолжал жить Торой, хасидизмом, маамарим Ребе, духовной связью с ним, которая удерживала меня от ошибок и неблагоприятных поступков. Я ведь был

¹⁶ Отголосок учения лурианской каббалы, очень влиятельной в хасидизме, о примордиальной катастрофе — «разбиении сосудов» с Божественным светом и рассеянии и сокрытии святых искр под «дурными» оболочками материальной реальности (*клипот*); согласно этому учению, задача еврея состоит в исправлении мира (*тикун олам*) путем обнаружения этих искр и освобождения их из плена клипот. — Прим. ред.

молодым парнем, высоким, красивым. Кровь во мне бурлила — я не был сделан из глины. Девушки заигрывали со мной, приглашали в гости, на вечеринки. И я прекрасно знал, чем может закончиться такая вечеринка. Но я знал также: придет момент, когда я предстану перед Ребе. И он все увидит. Как же я смогу смотреть ему в глаза, если совершу что-то запрещенное?

Через год я перебрался на другую ткацкую фабрику, размещавшуюся в местечке под названием Городок. Это был пригород Львова, жизнь в нем текла намного веселей. А ведь в моей прежней деревушке не было ни одного уличного фонаря. Как только солнце заходило, опускалась тьма крошечная, будто мы жили не в двадцатом веке, а в глубоком Средневековье. На фабрике в Городке работало к тому же много евреев.

Я поселился на частной квартире вместе с еще пятью украинскими парнями, приехавшими на заработки из деревень. Не знаю, что они думали про евреев, но ко мне относились очень хорошо. Это, собственно, были не парни, а взрослые мужчины, лет под сорок. Когда я молился, они не смели слова громко произнести, разговаривали только шепотом и без брани. В их обычной речи каждое второе слово было матерным. Но во время моей молитвы — не дай Бог! И опять я увидел, какую силу имеет еврей над миром, если он со всем жаром еврейского сердца выполняет свое предназначение.

Меня сразу приняли на фабрику, поскольку я уже был специалистом. Никто в Городке не до-

гадывался, что я еврей, — глаза у меня были голубые, волосы русоватые, русский язык — чистейший. Это сейчас, через сорок лет жизни в Израиле, мой русский «подзаржавел», а тогда никому и в голову не могло прийти, что парень, разговаривающий на столь отточенном литературном языке, — религиозный еврей, выросший в доме, где общались исключительно на идише. А чтобы никто не обращал внимания на мою постоянно покрытую голову, я носил узбекскую тюбетейку. Их у меня было несколько, каждый день я надевал другую, и меня даже считали этаким франтом.

Как-то раз я занял очередь в продовольственном магазине, и стоявшие передо мной две женщины начали разговаривать на идише. У меня по сердцу сразу прошла теплая волна, а на лице расплылась улыбка. Женщины заметили улыбку, но расценили ее превратно. «Этот антисемит смеется над нами, ему, похоже, не нравится, что мы говорим на идише», — сказала одна другой. И начали проклипать меня, желать всяких *цурес*, бед. От этого я стал улыбаться еще больше, а они еще сильнее распалились и честили меня на чем свет стоит.

Когда, сделав свои покупки, женщины выходили из магазина, я сказал им на идише: «Милые, подождите, пожалуйста, меня на улице, я хочу с вами поговорить». Они просто остолбенели, а когда я вышел на улицу, сразу же попросили у меня прощения. Мы разговорились, и выяснилось, что их мужья работают на той же ткацкой фабрике. Эти две семьи почти ничего не знали о еврействе,

и я понял, зачем Всевышний столкнул нас в этом магазине. Поэтому я начал каждый день понемногу заниматься с ними Торой.

Подошло время призыва в армию, и я вернулся в Черновцы. В армию я идти не хотел, и вовсе не потому, что стремился увильнуть от защиты отечества. По еврейскому закону, каждый должен защищать страну, в которой он живет. Но религиозный еврей в Советской армии выжить попросту не мог. Или пришлось бы нарушать все заповеди — и субботу, и кашрут, и молитву. Поэтому задолго до призыва, когда мне и брату было по тринадцать-четырнадцать лет, мать начала готовить нас, точнее, наши медицинские документы, чтобы получить освобождение от службы.

Она водила нас по врачам и жаловалась: мальчики нервные, ночами не спят, разговаривают сами с собой, то вдруг впадают в депрессию, то становятся необычайно веселыми и смеются до икоты от самых обычных вещей. И нас поставили на учет в психоневрологический диспансер. Каждый месяц мы проходили обследование, получали лекарства (которые мать тут же выбрасывала в помойное ведро), старательно посещали лечебные процедуры. И нам поставили диагноз: шизофрения. То есть мы были непригодны к службе.

Когда пришло время призыва, наши усилия принесли плоды. Помню как сейчас: на аттестационной комиссии перед врачами положили мое дело — толстую папку со всеми заключениями этих обследований. Со мной беседовали пять врачей-

невропатологов, а у меня так колени дрожали от волнения, что я их сжимал руками. Мне показывали какие-то картинки, но я не давал сразу ответ, а делал вид, будто мне стоит больших усилий понять, что на них изображено. Помню, на одной было нарисовано, как лесорубы пилят большое дерево. «Что это?» — спросили меня. Я подумал-подумал и говорю: «Это дяди ставят дерево в землю».

Но заключения этой комиссии было недостаточно, для окончательного комиссования меня положили в больницу на обследование. Я пробыл там целый месяц. Понятно, больничную пищу я не ел, мама приносила каждый день кошерную еду. Она объяснила врачам, что одним из моих психических отклонений является то, что я никогда не ем, если кто-то посторонний находится в комнате. Мне ставили еду, оставляли одного и закрывали двери. Я быстро съедал то, что приносила мать, а больничный обед выбрасывал.

Но я ведь был молодой парень, одноразового питания мне было недостаточно, и чтобы я мог как-то перекусить в течение дня, мать готовила и тоже тайком проносила котлеты. Я таскал их в кармане и ел, когда никто не видел. Один раз я чуть не попался.

Один из больных унюхал эти котлеты и начал ко мне приставать: дай укусить, дай попробовать. Это был высокий крупный мужчина. Я понял: если его не остановить, он поднимет крик, котлеты обнаружат, и все пропало. И я ударил его изо всех сил так, что он упал. Прибежали сестры, развели

нас по разным палатам. Он что-то кричал, а я, едва остался один, буквально проглотил котлеты.

Никто ничего не обнаружил, к моему счастью, никаких последствий у драки не было — все ж таки сумасшедший дом. Весь месяц, пока находился в психушке, я буквально трясся от страха, что меня выведут на чистую воду. Но все закончилось благополучно, и мне дали белый билет.

Хотя от армии удалось освободиться, отец все же решил, что мне не следует мозолить глаза в Черновцах. И я уехал на другой конец страны — в Ташкент. Там жила моя старшая сестра Дина, которая к тому времени была замужем за Мордхе Городецким, сыном Симхи Городецкого¹⁷.

Я оказался в Ташкенте в 1959 году, совсем еще молодым парнишкой. Но тем не менее я уже был квалифицированным специалистом по ткацким станкам — научился во Львове. Поэтому работу я нашел без труда — в Ташкенте было много ткацких фабрик. Год мне удалось продержаться на одной из них, но из-за моих бесконечных «увиливаний» по субботам пришлось уволиться. И я устроился механиком на мебельную фабрику.

¹⁷ Городецкий Симха родился в Бобруйске в 1903 г., учился в ешиве «Том-хей тмимим» в Любавичах, с 1923 г. — специальный посланник Любавичского Ребе, с 1925-го — в Самарканде, где быстро завоевал авторитет среди бухарских евреев. Создал хедеры, ешивы, возглавил строительство нескольких микв, организовал талмуд тору для 360 человек в Дербенте. Работал начальником предприятия. В 1963 г. Городецкому удалось вырваться из СССР и уехать в Израиль. Он поселился в Кфар-Хабаде и был назначен секретарем правления поселка. В 1970-х гг. основал бухарскую ешиву. Умер в 1983 г.

Это было замечательное место, поскольку там можно было появиться в субботу утром, переодеться в рабочую одежду, покрутиться несколько часов, ничего не делая, и потихоньку уйти. Так в Ташкенте устраивались практически все любовничские хасиды. Не приходить по субботам на работу было нельзя. Но просто находиться на рабочем месте и ничего не делать, то есть не нарушать субботу, было вполне возможно.

Каждый придумывал свои «хохмы», каждый выкручивался по-своему, в соответствии с условиями работы, но субботу мы не нарушали. Конечно, постоянно возникали проблемы. То подойдет к тебе какой-нибудь профсоюзный деятель и попросит расписаться в ведомости, и надо что-то придумать, чтобы не расписываться. То потребуется вдруг что-то срочно починить.

Я был механиком по ремонту паровых машин, которыми гнули на мебельной фабрике доски, чтобы придать им нужную форму. Если такая машина ломалась — скажем, лопнула паровая труба, — то меня сразу же вызывали. А если дело в субботу? Отказаться? Когда машина стоит и вместе с ней бездельничают десяток человек? Невозможно. Но и чинить я не могу — надо ведь ее разбирать, паять, резать.

В таких случаях я обращался к своему напарнику. Он уже знал, что если мне вдруг срочно понадобилось уйти с фабрики по домашним делам и я прошу подменить меня, то в долгу не останусь — рассчитаюсь потом сполна. Или водкой,

или в получку наличными. Он никогда не отказывался, но и никогда не интересовался, почему мои внезапные отлучки происходят исключительно по субботам. Это был простой русский парень, которого вполне устраивали наши, так сказать, хозрасчетные отношения. Он, конечно, не догадывался, что я религиозный еврей. Если бы догадался, то шарахался бы от меня как черт от лада-на. А так за деньги, за выпивку всегда выручал.

Каждую субботу я вставал рано утром и шел погружаться в микву на Комсомольское озеро, отсюда — на работу, а через несколько часов отправлялся в дом Мендла Кляйна. Он жил тогда в Ташкенте со своими тремя сыновьями — теми самыми Кляйнами, про которых у моего отца спрашивали на допросе в Черновцах: «Что поделывают парнишки, называвшие тебя “черный цыган”»?

Пожалуй, стоит подробнее описать, как происходила тогда у нас субботняя молитва. Утром шли в микву: летом — на Комсомольское озеро, а зимой — в дом к Шмуэлю Гуревичу. У него прямо в столовой была оборудована женская миква. Ее закрывали деревянной крышкой, покрывали сверху ковром и ставили стол. Никто никогда бы не догадался, что под полом обычной на вид комнаты есть миква.

Так вот, когда было холодно, мы все ходили туда — понятно, поодиночке, чтобы не привлечь внимания. Первые появлялись у него в четыре-пять часов утра. Кто не был вынужден отмечаться в субботу на службе, шли после миквы в дом Кляй-

нов — мы их звали «кляйнятами» — и начиная с семи утра учили хасидизм. В течение всего утра подтягивался народ с работы и подключался к учебе.

Утреннюю молитву не начинали до часу дня, чтобы позволить как можно большему числу любавичских успеть отметиться на работе. Кто-то появлялся в десять, кто-то в одиннадцать, но, как правило, к часу дня все уже собирались. Заканчивали мы молиться около трех часов и почти все оставались на кидуш¹⁸, который плавно перерастал в фарбрэнген. Там же мы молились Минху и Маарив.

Те фарбрэнгены были не просто приятным времяпровождением, как можно увидеть в наши дни. Собираются сегодня евреи в субботу после молитвы — выпьют рюмочку, поговорят, споют пару песен и, довольные собой, расходятся по домам. В Ташкенте все было по-другому, в Ташкенте духовность этих фарбрэнгенов подзаряжала нас энергией на всю неделю, до следующей субботы. Конечно, мы каждый день учили Тору, но фарбрэнген давал нам тепло, силы, укреплял веру, еще больше убеждал нас в верности пути, по которому мы шли, несмотря на все опасности и беды. Фарбрэнген давал нам жизнь.

Поэтому, когда я сегодня сижу порой на фарбрэнгенах, где столы ломаются от самого лучшего угощения, а духовность скудна, я с тоской вспоминаю ташкентские фарбрэнгены. На них была только водка с селедкой, но их духовными яства-

18 Освящение праздника, обычно совершаемое над бокалом вина.

ми я лакоплюсь до сих пор, до сегодняшнего дня они поддерживают меня.

Когда я сейчас вспоминаю, как мы жили в Союзе, под неустанным надзором кагэбэшников, в постоянной опасности, я уже и сам не понимаю, откуда у нас брались силы все это превозмогать, ничего не бояться. Сказано: когда человек стремится исполнить заповедь, мир уже готов к этому и Сам Всевышний ему помогает. У меня нет сомнения: Всевышний помогал каждому из нас, оберегал, был рядом с нами.

Расскажу еще об одном фарбрэнгене, который мы провели вопреки властям, более того, зная, что они буквально охотятся за теми, кто будет в нем участвовать.

Как-то раз, осенью 1962 года, накануне Юд-тес кислев — праздника освобождения Алтер Ребе из Петропавловской крепости — один из хабадников пришел к Симхе Городецкому и признался: его вызвали в КГБ, велели обойти все дома хасидов и донести, где проводят фарбрэнгены по поводу праздника, кто в них участвует и что там говорят. После такого предложения у него было только два выхода: отказаться и пойти в тюрьму или донести. Тогда в тюрьме оказались бы другие евреи. Выбор, что и говорить, страшный.

Но хасид нашел выход. Он вроде бы выполнит указание КГБ и обойдет все дома. Но если никто в тот день не проведет фарбрэнген, то доносить ему будет не на кого. То есть он не нарушит приказ, но и никого не подведет.

Реб Симха одобрил это предложение и послал молодых ребят (я был в их числе) обежать всех и предупредить: в этом году фарбрэнген не устраиваем. Так и поступили. Но мы, молодые парни, не могли с этим смириться. Как это — праздник освобождения Ребе, а мы будем, как мыши, сидеть по углам?! И решили: не бывать тому!

Собралось нас человек двадцать, накупили водки, закуски — хлеб, овощи, селедку — и уехали на другой конец города, подальше от того района, где жили хабадники и рыскали чекисты. Был в Ташкенте стадион — «Динамо», если не ошибаюсь. Приехали мы к этому стадиону около десяти часов вечера, сунули сторожу бутылку водки и попросили, чтобы он позволил отметить день рождения одного из наших товарищей. В такой поздний час там уже никого не было, а под трибунами были десятки всевозможных помещений.

Сторож обрадовался удаче: как же, бутылка водки ни за что ни про что! Он отвел нас в огромную комнату — целый зал, помог составить столы и разложить на них угощение. У него не возникло и тени подозрения, что речь идет о чем-то ином, а не о дне рождения, который ребята хотят отпраздновать без помех.

Дай Бог, чтобы и сегодня я удостоился участвовать в подобном фарбрэнгене — с таким весельем, с такой радостью победы над силами зла, с такой духовностью! Как мы пели, как танцевали, какие диврей Тойре говорили! Как мы напились в наш хасидский праздник — назло советской власти

и всем ее сторожевым псам! Мы совершенно забыли о них, для нас существовали только Алтер Ребе, наш Ребе, хасидизм и хасиды.

Закончили мы гулять часов в пять утра, дали сторожу трешницу, чтобы он все прибрал, и отправились домой. Кровь у нас гуляла, успокоиться мы не могли, нам действительно море было по колено. Трамваем мы уже не поехали, не шли — танцевали. И когда дотанцевали до нашего района, то советская действительность напомнила о себе во всей своей красе.

Мы сразу же увидели гэбэшников — их звериные оскалы, волчьи взгляды. Они начали нас фотографировать, и наш хмель тут же улетучился. Запахло очень большими неприятностями, мы не стали искушать судьбу и разбежались в разные стороны. С неделю мы не показывались в этом районе, а гэбэшники все ходили по домам и допрашивали, что это за компания тут ночью шлась. На наше счастье, фотографии у них получились не очень четкими, никого опознать не сумели. А добиться чего бы то ни было от хабадников они тоже не смогли. Все прикидывались: ничего не знаем, ничего не видели, а если и бродят по ночам какие-то пьяные компании, так нам о них ничего не известно, спрашивайте у милиции.

Таких праздников у нас было много. Но жизнь все-таки состоит не из праздников, а из серых будней, в которые надо просто работать, просто жить, соблюдая заповеди, учиться и постигать этот мир.

От того места, где я жил, до моей фабрики пешком было идти далеко — часа полтора в одну сторону. Поэтому в субботу я выходил из дому очень рано: надо было и в микву успеть, и на работу явиться вовремя. Я полюбил эти утренние прогулки по Ташкенту — никто не мешал мне повторять наизусть главы из «Таньи» и спокойно обдумывать их. К тому же мой маршрут проходил по центру города, который был довольно красивым.

Помню, на улице Ленинградской (или, может быть, она называлась Ленинградский проспект, уже подзабыл) росли огромные старые деревья. Я присаживался отдохнуть на скамеечке и любовался ими. Говорят наши мудрецы: все, что ты видишь, все, с чем сталкиваешься, — не случайно и должно привести тебя к правильным выводам. Рассматривая эти деревья, я вспомнил то, что много лет назад говорил мне реб Мендл Футерфас, и понял то, чего не понимал раньше.

Как-то раз я заметил, что эти деревья подрезали. Их кроны так разрослись, что тесно переплелись между собой, и городские власти решили придать им более красивую форму. Однако, как это водилось в Союзе, сделали только половину работы: ветки обрезали, но не удосужились снять, они так и остались висеть. Во время одной из моих субботних прогулок, отдыхая на скамейке, я увидел, что срезанные ветки начали падать. Они высохли, и ветер сдувал их на землю. И тут я вспомнил, что реб Мендл еще в Черновцах говорил на одном из фарбрэнгенов о том, как сле-

дует вести себя *баал тшуве* — еврею, возвращающемуся к вере.

Я-то считал, что *баал тшуве* должен превозмочь себя, думать постоянно, как стать лучше, правильней. И я так понимал, что этот процесс должен протекать с большими духовными усилиями, даже, можно сказать, с надрывом. Чтобы сердце болело, душа разрывалась. А как же иначе! Но когда на фарбренгене зашел об этом разговор, то мой отец и реб Мендл сказали: нет, вовсе не так!

Баал тшуве не следует терзать себя ежеминутным раскаянием и угрызениями совести. Он должен просто забыть свои прежние поступки. Обрежь, отсеки от себя то, что было, с сегодняшнего дня делай только хорошие дела. И спокойно живи по-новому, без мук, сомнений и терзаний. Потому что возвращение к вере — это радость, это награда, а не наказание.

Глядя на отсохшие и падавшие на землю ветки, я вдруг понял: вот именно так и протекает процесс у *баал тшуве*. Чтобы дерево развивалось, чтобы оно могло дышать, получать энергию от солнца, нужно отрезать все плохое, все мешающее. Если попытаться рвать лишние ветки, когда они полны соков и составляют единое целое с деревом, то тогда, действительно, придется затратить много усилий. И можно нанести ущерб самому дереву. Но если спокойно, без надрыва и терзаний их отрезать, они высохнут и отпадут.

Поэтому, говорили отец и реб Мендл, надо принять решение отрезать прошлое с его плохими

поступками и спокойно идти дальше по выбранному пути. А если баал тшуве начнет постоянно думать: «Ой, что же я делал, как я плохо поступал», то он может вспомнить и приятные аспекты этих поступков. И вновь, не приведи Господь, вернуться к ним. Только когда все это отсохло, отпало, вот тогда-то и начинается настоящее раскаяние, вот тогда-то и можно, оглянувшись назад, с болью в сердце вспоминать о прошлом.

Я прожил в Ташкенте до 1965 года, а потом отец срочно вызвал меня в Черновцы. Все эти годы он не оставлял мысли уехать из Союза. Он разработал план: сперва он уедет с мамой и маленькими детьми, а потом вызовет меня и старшего брата. Направили письмо Ребе. И тот ответил: выезжать только всем вместе. Это было против всякой логики, но Ребе лучше знает, как устроен этот мир, как крутятся в нем «колесики и винтики».

Я и брат вернулись домой, мы подали документы на воссоединение с родственниками — большая часть семьи Раскиных к тому времени жила в Израиле, а мой старший брат — в Америке. И вдруг нам дали разрешение. Это произошло в 1966 году, мы были одной из первых семей, выехавших тогда из СССР.

В Израиле мне и брату сразу же стали предлагать невест, но отец написал Ребе, и тот ответил: никакой женитьбы, первый год посвятить Торе. Я пошел в ешиву в Кфар-Хабаде. Занятия в ней начинались в семь утра, но я учился с пяти и до двенадцати ночи. А когда год закончился, Ребе при-

слал деньги на билеты для меня и брата. И мы провели весь праздничный месяц тишрей возле Ребе. Причем он приказал своим секретарям, чтобы мы все время были рядом с ним — и во время молитвы, и во время фарбрэнгенов. Даже когда он трубил в шофар, нас ставили возле него, что было огромной честью. Как-то раз мы удостоились сидеть рядом с ним за субботней трапезой, в его комнате.

В Нью-Йорке ко мне обратились из организации «Эзрас-ахим» — «Помощь братьям», которая действительно оказывала огромную помощь любавичским хасидам, жившим в СССР. Они отправляли деньги, посылки, для чего собирали средства по синагогам. И меня как только что приехавшего из СССР и получавшего такие же посылки, попросили участвовать в выступлениях перед евреями. Мы ходили по синагогам, и я рассказывал о нашей жизни в Союзе.

И вот как-то раз мы пришли в субботу перед утренней молитвой в Боро-парк, в дом Садигурского ребе. Когда мы объяснили ему, что хотим попросить молящихся в его синагоге дать деньги на посылки для евреев России, он буквально взмолился: «Вы делаете святое дело, но ко мне каждую неделю приходят просить о помощи представители различных организаций, я боюсь, что все прихожане сбегут из моей синагоги». И тогда реб Мойше Левертов показал на меня и говорит: «Посмотрите на этого парня, он год назад приехал из СССР. Там таким евреям, как он, порой нечего есть».

Садигурер посмотрел на меня и спрашивает:

— Как вас зовут?

Я отвечаю:

— Вышедский.

Он переспросил:

— Как-как?

Я повторил:

— Вышедский.

Он аж задрожал.

— Вашего отца зовут реб Мойше?

— Да.

— А мать — Хася?

— Да.

И тут он расплакался. Да не просто расплакался — слезы буквально полились ручьем. Когда он чуть-чуть пришел в себя, то распахнул двери в дом настежь — заходите.

Он рассказал мне, как его, беженца из Польши — из всей семьи его отца, ребу из Садигуры, только он сумел спастись от немцев, — арестовали сразу же после перехода советской границы в 1939 году и продержали в тюрьмах более двух лет. Он почти ничего не ел в тюрьмах, поскольку жестко соблюдал кашрут, и очень ослабел. Зимой 1941 года его комиссовали и внезапно освободили из нижегородской тюрьмы. Он никого не знал в этом городе, не знал даже русского языка. Вышел он из ворот тюрьмы и пошел куда глаза глядят. Одежды у него теплой не было — тоненькая курточка, а мороз стоял лютый. Шел он, шел, голодный, промерзший буквально до костей, и упал возле какого-то дома.

Лежит в снегу, с трудом сумел прислониться спиной к стене, прочитал «Шма Исраэль» и простился с жизнью. И когда уже почти замерз, вдруг его тормозит какая-то женщина: «Реб ид¹⁹, реб ид, ответьте». А он уже и говорить не может, только мычит. Женщина взвалила его на себя, принесла в какой-то дом, раздела, растерла спиртом отмороженные конечности, напоила горячим чаем. Короче — вытащила буквально с того света. Это была моя мать Хася.

Потом он еще месяцев шесть жил в доме моего деда Шлойме Раскина. Оклемався и сумел через год или два уехать из Союза. Вот так я получил в Нью-Йорке привет от матери и еще раз понял, что ни одно доброе дело в этом мире не исчезает бесследно.

Во время пребывания в Нью-Йорке я женился, и, слава Богу, у нас родились тринадцать детей. Сейчас десять уже создали собственные семьи, у меня много внуков, я счастлив так, как даже не мог себе представить в дни своей юности. И я жду Мошиаха — с надеждой, что он вот-вот придет, как сказал Ребе.

А сейчас извините меня, уже половина одиннадцатого вечера, должен начаться мой обычный ежедневный урок по хасидизму, так что пришло время закончить нашу беседу.

¹⁹ Реб ид (идиш) — «уважаемый еврей», принятое вежливое обращение к незнакомому мужчине.

СТРАХ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ

Йона Левенгарц

Я, Йона Левенгарц, родился в 1931 году в Москве, если быть точным — в самом сердце Москвы. Мои родители, Авром-Шмуэль и Этка, были из религиозных семей.

Семья отца жила до революции в Польше и принадлежала к коцким хасидам. Когда началась Первая мировая война и фронт приблизился к месту их проживания, они переехали туда, где поспокойнее. Семья оказалась разделенной — большая часть осталась в Польше, а дед с моим отцом и его братом очутились в Брест-Литовске.

Дед искал для сыновей хорошую ешиву, и ему сказали, что единственная приличная ешива, которую не затронули военные передраги, — это «Томхей тмимим» в Любавичах. Он определил в нее сыновей, а сам поселился в Любавичах, чтобы быть рядом. Там они прожили до 1915 года, когда фронт подошел совсем близко. Ребе Рашаб переехал в Ростов, и дед решил последовать за

ним. Он поехал в Ростов, чтобы найти работу, снять квартиру и вызвать семью, но внезапно заболел и умер.

Отец был тогда еще совсем ребенком, ему оставалось несколько лет до *бар мицвы*¹. Добрые люди не бросили сироту на произвол судьбы и определили в хабадскую ешиву в городе Невель. В этом городе он прожил до 1926 года — до своей женитьбы и переезда в Москву.

Там в 1927 году родился мой старший брат, через два года — второй брат, а еще через два года — я. Родители работали в артели, производившей лакокрасочные изделия, а детьми занималась нянька. Это была русская женщина, но она все знала, что было положено детям делать: начиная с *негл вассер*² и кончая утренними *брохойс*³.

Кем именно работали отец и мать в этой артели, я сказать не могу. Но, по-видимому, там не очень смотрели на должности и каждый делал все, что требовалось, — ведь это была артель любавичских хасидов. Они организовались, чтобы не пришлось работать на государственных предприятиях, где невозможно было соблюдать субботу и праздники.

1 Бар мицва — букв. «сын заповеди» (*ивр.*), религиозное совершеннолетие, наступает для мальчиков в 13 лет, для девочек (*бат мицва*) — в 12, и собственно мальчик (девочка), достигшие этого совершеннолетия. — *Прим. ред.*

2 Негл вассер — «ногтевая вода» (*идиш*). Вода для ритуального омовения рук при пробуждении утром и в ряде других случаев, перечисленных в галахическом кодексе «Шульхан арух».

3 Брохойс (брахот) — утренние благословения, читаемые сразу же после пробуждения.

Хорошо помню, что наш дом вечно был полон хасидами со всех концов страны. Когда хабадники приезжали по делам в Москву, им был заказан путь в гостиницу. Во-первых, найти тогда место в гостинице уже само по себе представляло задачу довольно трудную. Но самое главное — как религиозный еврей мог жить в одной комнате с посторонними людьми? В те годы религиозных преследовали, и выдавать себя никто не хотел. А в гостинице это скрыть было бы невозможно. Вот и ночевали только у своих.

Наша квартира, точнее, наша комната в подвале служила своего рода постоянным двором для любавичских хасидов. Ее небольшой площади, конечно, катастрофически не хватало — спали на столе и под столом. Но никто не жаловался на тесноту, и для всех находилось место. Несмотря на то что мы жили практически открытым домом, через который проходили десятки людей, — а в те годы хабадников преследовали особенно жестоко, — отец в тюрьму так и не угодил. Это вовсе не было случайностью — ему помог Ребе Раяц. На этой истории стоит остановиться особо.

Тогда в СССР проводили кампанию по отбору золота у населения⁴. Советская власть решила за-

4 Так называемая «золотая лихорадка», или «золотушные кампании», — кампании конца 1920-х — начала 1930-х гг. по обнаружению и конфискации золота у Церкви, «имущих классов», «валютчиков» и населения в целом, проводимые в целях предотвращения государственного банкротства, финансирования индустриализации и создания национального золотого запаса. — Прим. ред.

латать дыры в государственном бюджете за счет народа и постановила: все обязаны сдать «излишки» золота. Ну, какие уж там излишки были у простых людей — часы, кольцо обручальное, сережки... Но если власть постановила — значит, излишки. Правдами, неправдами, уговорами, насилием, но это золото из людей выколачивали. К отцу тоже приставали — ведь он работал в артели, а считалось, что у частных денег видимо-невидимо. И вот из них-то золото выбивали силой, причем в самом прямом смысле слова.

Отец рассказывал мне, как одного хасида по фамилии Бах, имени не помню, вызвали в НКВД. Был этот Бах еще совсем молодым, с густой иссиня-черной бородой. И следователь давай ему внушать: ты должен отдать все золото, обязан помочь государству в тяжелый момент. А следователь этот был детским товарищем Баха. Начал он разговор ласково — мол, уважаемый, делать нечего, надо отдать. А Баху жалко стало золота, он и говорит: «Я бы с радостью, да нечего». «Жаль, — отвечает ему следователь, — очень жаль». Вызвал из коридора солдата, здорового малого под два метра ростом и с брюхом, как у стельной коровы. Тот приказал Баху разуться и снять носки. А потом встал сапожищами ему на пальцы и давай топтаться. Боль — страшная.

Бах оказался упорным человеком и терпел пытки целую неделю. Но когда энкавэдэшники вывели его на балкон и сказали: «Не отдашь золото — сбросим вниз и напишем в протоколе, что

сам выбросился», он сломался и рассказал, где и что у него припрятано. Когда Бах вернулся домой, борода у него была полностью седая.

Так вот, жил тогда в Москве хасид — реб Янкель Москалик по прозвищу Журавицер⁵ (он был родом из местечка Журавицы). И он передал всем слова Ребе, который тогда уже находился в Риге: «Тот, кто даст деньги на ешиву «Томхей тмимим», не окажется в советской тюрьме».

Золото у отца было: на скопленные деньги он покупал царские золотые монеты — червонцы. Как настоящий хасид, отец сразу же послушался Ребе и отдал все на ешиву. И что же? В тюрьму он таки не попал. Хотя несколько раз был буквально на волосок от нее.

Янкель Журавицер приходил к нам обычно поздно вечером или ночью. И вот однажды, в 1934 году, кто-то за полночь постучал в дверь нашего подвала. Мать говорит отцу: «Это не Янкель, у него другой стук, наверное, за тобой чекисты пришли, прячься». А куда спрячешься в подвале? Разве что в шкафу. Отец и залез в шкаф, мать же

5 Москалик Яков-Захария Вульфович (по прозвищу Журавицер) родился в 1875 г. в с. Журавицы Быховского уезда Гомельской губ., в семье любавичского хасида. Получил религиозное воспитание. Учился в ешиве «Томхей тмимим» в Любавичах. До революции — меламед в хедере. В 1920-х — раввин в Журавичах Могилевской губ. С 1930-х годов жил в Москве. В 1935 г. арестован в Москве по обвинению в «антисоветской деятельности». Из обвинительного заключения: «Занимался активной деятельностью по объединению еврейской молодежи и детей в хедеры и ешивы, преподавал в одном из хедеров на ст. Малаховка. Распространял ложные слухи о якобы проводимых в СССР гонениях на верующих евреев». Приговорен к трем годам ссылки в Казахстан. В 1937 г. арестован в ссылке, приговорен к высшей мере наказания, расстрелян.

не пошла сама к двери, а послала нашу домработницу. А та начала кричать на чекистов: «Что вам нужно от бедной женщины, муж наделал ей детей и смылся куда-то, она и сама не знает куда, денег ей не оставил, бросил горе мыкать с пацанятами».

Послушали ее чекисты, посмотрели на нашу нищету и ушли, даже обыск не произведя. А стоило им открыть шкаф, как они тут же обнаружили бы отца.

За отцом приходили еще раз. Летом мы снимали дачу за городом, и отец каждый день ездил на работу электричкой. На наше счастье, чекисты появились к вечеру, когда он еще не вернулся. Сделали обыск, перевернули все вверх дном. А время прихода электрички приближается, вот-вот отец должен появиться. И тут наша гостья (тоже одна из хабадниц), которая, к счастью, приехала в тот день нас навестить, говорит чекистам: «Мне в уборную надо срочно, я больше терпеть не могу». Отхожее место это было в будке во дворе, возле калитки. Когда отец подошел, она приоткрыла дверь уборной и замахала руками: уходи, уходи. Он шмыгнул в кусты — и был таков.

Вот так, благодаря обещанию Ребе, отец избежал посадки. Более того, я думаю, что эти отданные на ешиву деньги спасли ему жизнь и в войну.

В сентябре 1941 года отец получил повестку в военкомат. Тогда формировали народное ополчение и всех, кто приходил в военкомат, тут же сажали на машины и отправляли на фронт. Давали одну винтовку на несколько человек — гнали

людей в бой с голыми руками, рассчитывая, что они будут подбирать оружие убитых товарищей. Как известно, почти все это народное ополчение полегло под Москвой в первые же недели боев. Но мой отец каким-то чудом избежал страшной участи.

Когда он получил повестку, то, понятное дело, сразу же собрал вещи и пошел в военкомат. Мы все отправились его провожать, вместе с моим полугодовалым братом Мотлом, которого мать несла на руках. Военкомом была женщина, увидела она мать с такой крохой, да еще с шестью детьми, и сказала отцу: «Идите домой, ваша очередь еще придет». Но она так и не пришла.

Когда немцы были уже на самых подступах к Москве, наша семья эвакуировалась в Самарканд. Мы стремились именно в этот город потому, что слышали: в нем есть крепкая любавичская община. В Москве все вокзалы были разбиты немецкими бомбами, работал только Казанский. Давка там была страшная, и все же отец сумел посадить семью в поезд. Но в Куйбышеве нас выбросили, зашел какой-то офицер, потребовал билеты, а их, понятное дело, не было. Он и говорит: «Это поезд только для военных, я не понимаю, как вы в него попали, немедленно выходите».

Высадили нас на безлюдном полустанке, где стоял один домик и больше ничего. А дело было в декабре 1941 года — мороз страшный. Мы не замерзли только потому, что станционная смотрительница сжалась, пустила в дом и напоила чаем.

Добирались до Самарканда больше месяца, но, слава Богу, все-таки добрались живыми и здоровыми. Хабадники помогли устроиться на первых порах, а потом отец поставил дома два ткацких ручных станка, и мы со старшими братьями начали на них работать. Станки эти были старые, в процессе работы надо было, среди прочего, нажимать на педали, а мне еще не исполнилось двенадцати, и я с трудом до них доставал. Но мы были счастливы, что получили даже такую работу, поскольку за нее полагался паек. Закончив смену, я, хоть и был уже относительно большим мальчиком, шел в хедер и учился. А когда подрос, то занимался в подпольной ешиве.

В 1946 году родители вернулись в Москву, я же остался в Самарканде для продолжения учебы — в Москве и помыслить нельзя было о подпольной ешиве. А в Самарканде до поры до времени ешива еще функционировала — со мной вместе занимались двенадцать-тринадцать ребят. Учили нас хорошие меламеды. Помню реб Мойше, но он в 1946 году уехал из Самарканда и вскоре скончался. Были и другие, фамилии я, к сожалению, запомнил. Изучали мы Хумаш с комментариями Раши, Мишну, Гемору.

Однажды мне начало казаться, что, когда я направляюсь в ешиву, кто-то идет за мной по пятам. Я спросил у других ребят, оказалось, за ними тоже следят. И я перестал ходить на занятия. А поскольку делать мне в Самарканде было больше нечего, я вернулся в Москву.

После окончания войны мы попытались уехать в Польшу через Львов, но опоздали: когда добрались до Львова, выезд уже перекрыли. Родители отправились в Черновцы — и потому, что там образовалась любавичская община, и потому, что прошел слух, будто бы из Черновцов можно с помощью контрабандистов перебраться в Румынию.

Но и тут мы опоздали. И в 1948 году пришлось нам в Черновцах устраиваться надолго. Я опять пошел на текстильную фабрику — научился этому делу в Самарканде. Работа была тяжелая: неделю — ночная смена, неделю — дневная. А длилась смена двенадцать часов.

Но по субботам я не работал. Поскольку я был специалистом и меня ценили, мне удалось договориться с начальством: я или начинал работу в субботу вечером, или выходил в воскресенье. Иногда получалось так, что в субботу ночью я отработывал за прошедший день, а с утра начиналась моя дневная смена, и я не выходил с фабрики целые сутки. Но молодость, молодость — чего не сделаешь, когда кровь играет, мышцы полны сил и так хочется достойно соблюдать заповеди Всевышнего, особенно заповедь о субботе!

В 1950 году на нашей фабрике ввели в строй новые станки «Жакард», делавшие рисунки на ткани. Я очень хотел их освоить и сказал мастеру цеха, что готов работать несколько месяцев подряд только в ночную смену, если он поставит меня на такой станок. Мастеру было это выгодно, поскольку от ночной смены все старались увиль-

нуть. А мне тоже — я приходил ночью и спокойно изучал станок, который был достаточно сложным. Так я научился работать на «Жакарде», что сыграло важную роль в моей судьбе.

В 1953 году наш директор побывал в Сухуми на такой же фабрике. Там были очень заинтересованы производить ткани с рисунком. Он предложил мне отправиться в Сухуми и наладить там производство. Я согласился.

Когда директор сухумской фабрики увидел меня, то начал кричать на моего черновицкого шефа: «Кого ты мне прислал, это же мальчишка!» Действительно, мне было всего двадцать два года. Но мой шеф его успокоил: «Ты не смотри на его возраст, он хороший специалист и наладит тебе весь процесс».

Я сразу же сказал грузинскому директору: «Знай, что я человек религиозный и по субботам не работаю. Устраивает тебя это — хорошо, нет — я поворачиваюсь и уезжаю». Его это устроило. Я начал работать, и так все закрутилось, что хоть я и рассчитывал съездить на Песах к родителям, у меня ничего не получалось, требовалось мое присутствие в Сухуми.

А в том году власти закрыли все синагоги — и в Тбилиси, и в Кутаиси. Только в Кулашах, где жили одни евреи, осталась синагога. Впрочем, и там попытались ее закрыть, но местные жители не дали. А в Сухуми не просто закрыли синагогу, а даже здание ее снесли.

Но праздник уже совсем близко, и надо провести его как полагается! Я начал искать, куда при-

строиться, и узнал, что есть миньян грузинских евреев, который соберется на праздник. Правдами и неправдами раздобыл адрес, по которому должен был собраться тайный миньян, и отправился туда.

Постучал, дверь открыл хахам — грузинский раввин. Увидел он мой картуз и говорит: «Шолом алейхем, ты откуда?» Я отвечаю: «Из Невеля». Я хоть и родился в Москве, но брис мне сделали в Невеле, где жил мой дед. А хахам вдруг говорит: «*Галелу́гу ба-невель*».

Есть в псалмах такая строка: «*Галелу́гу ба-невель ве-кинор*» — «Славьте Всевышнего игрой на лире и арфе». Эта фраза была как хабадский пароль. Ее как-то раз сказал Ребе Раяц про город Невель, где жило много хасидов-хабадников. Никто, кроме настоящих любавичских хасидов, эту фразу знать не мог. И точно, этот хахам — его звали Шломо — оказался хабадником. Он принял меня как родного, и я молился весь Песах в его миньяне.

С хахамом Шломо я очень подружился. Когда после смерти Сталина объявили, что еврейские врачи невиновны и у этой женщины — Тимашук, которая их оклеветала, отобрали орден Ленина⁶, то

6 Тимашук Лидия Феодосьевна (1898–1983) — кардиолог, врач лечебно-санитарного управления Кремля, в 1948 г. разошлась с рядом профессоров в истолковании ЭКГ А. А. Жданова, который вскоре умер от инфаркта, и сообщила об этом конфликте в письме к начальству; через четыре года ее письмо было использовано в развязывании кампании против «убийц в белых халатах» («дело врачей», 1952–1953 гг.), в январе 1953 г. Тимашук была награждена орденом Ленина «за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц», в апреле, после смерти Сталина и прекращения кампании, лишена этого ордена. — *Прим. ред.*

разрешили вновь открыть синагоги. Но в Сухуми от ее здания остался один фундамент. Хахам Шломо собрал у грузинских евреев много денег, купил большой дом и переделал его в синагогу. Это была отличная синагога — просторная, красивая, со вторым этажом для женщин. Во дворе соорудили сукку⁷ и даже микву — огромную, шикарную.

В общем, к тому времени, когда мы закончили строить фабрику, я успел обзавестись друзьями в Сухуми. В городе были синагога, миква, миньян, шойхет. Чтобы добыть себе кошерное мясо, приходилось тратить целый день — купить на базаре живую курицу, отнести ее шойхету, затем ощипать, разделать, высолить, вымочить. Но все-таки это была только потеря времени. Проблемы кошерного мяса как таковой не существовало, и я мог достать его без опасения, что за мной будут следить, а потом арестуют за «приверженность к мракобесию».

Да и на работе у меня сложились замечательные отношения. Директор фабрики так мной дорожил, что не просто давал возможность соблюдать субботу, а даже напоминал мне в пятницу: «Леня (так он меня называл), смотри, солнце уже на закате, а ты все еще не пошел в синагогу». Ну, где я в Черновцах мог найти такие условия? И я решил остаться работать на этой фабрике и обосноваться в Сухуми.

7 Важная заповедь праздника Суккот — вкушать пищу в особом шалаше, построенном под открытым небом, — сукке.

Все шло хорошо, но спустя три года, в 1956-м, директор фабрики вызвал меня к себе в кабинет. Усадил в кресло и говорит: «Леня, у меня неприятности. В райкоме партии я получил нагоняй: почему на фабрике люди по субботам не работают. Кто донес, не знаю, но им стало про тебя все известно. Если не начнешь выходить по субботам, то и ты, и я пойдем в тюрьму».

Я до сих пор удивляюсь, как про меня пронюхали с таким опозданием. Сухуми — городок маленький, все друг друга знают. Ну, грузинские евреи и тогда соблюдали кашрут, законы семейной жизни. Их не трогали, точнее, на них не обращали особого внимания. А вот ашкеназские евреи не соблюдали ничего. Старики еще, может быть, чуть-чуть. На них тоже власти махнули рукой — мол, пережитки прошлого, нечего с ними бороться, сами вымрут потихонечку. А вот среди молодых ашкеназов я был один такой — религиозный, соблюдающий заповеди. Это бросалось в глаза и дошло до властей.

Послушал я своего директора и ответил: «В субботу я работать не буду. Как мне ни жаль бросать насиженное место, если вы ставите такое условие, то я увольняюсь и завтра же уезжаю домой, к родителям». Он перепугался и стал меня упрашивать: «Как ты можешь такое говорить, ты же столько сил вложил в эту фабрику, все наладил и теперь уедешь? И тебе будет потом жалко, и нам ты очень нужен». Но я был непреклонен: в субботу работать не буду, и баста.

Он подумал-подумал и говорит: «Похоже, я нашел выход. Ты просто приходи по субботам на фабрику, но ничего не делай. Я дам команду, чтобы тебя не трогали и ничего не поручали. Приходи, крутись. Я доложу наверх, что ты перевоспитался. А через несколько месяцев, когда все позабудется, посмотрим, что делать».

Я согласился. В первую же субботу пришел на фабрику, оделся в рабочую робу и специально крутился по всем цехам, чтобы меня увидело как можно больше народу. На следующий день ко мне на улице подошли несколько знакомых евреев, и каждый задал один и тот же вопрос: «Йона, ты что, начал по субботам работать?» И хотя я им всем объяснил, что просто вышел на работу, но ничего не делал, мне стало так стыдно, что я прямиком отправился к своему директору и заявил: «Все, как хотите, а приходить по субботам не могу. Завтра же уезжаю».

А он мне отвечает: «Знаешь, судя по всему, информация, что ты начал работать по субботам, уже дошла куда следует. Давай подождем. Ты по субботам не выходи, снова они проверять не будут. И позабудут о тебе». Так оно и произошло, и я спокойно работал на фабрике до 1960 года.

А теперь хочу сделать небольшое отступление. Вот уже много лет я езжу в аэропорт имени Бен-Гуриона, чтобы помочь всем желающим наложить тфилин перед отъездом. Нам разрешили установить там киоск Хабада, и мы не только даем возможность евреям наложить тфилин, но и раздаем брошюры на разных языках — о не-

дельной главе или дорожную молитву. Но я занимаюсь в основном тфилин. И вот почему.

В 1958 году я решил жениться. В Ташкенте жил известный хасид Симха Городецкий (см. прим. 17 на с. 69), с его сыном я учился в самаркандской ешиве. Вообще, в Союзе любавичские хасиды почти все были знакомы друг с другом или, по меньшей мере, слышали друг о друге. Неважно, где жила твоя семья — в Ташкенте, Самарканде, Риге или Черновцах. В любой точке Союза мы приезжали в любавичские семьи как к себе домой. И я давно уже слышал о дочери Симхи и подумывал о ней. Она была завидной невестой — не просто девушка из очень почтенной семьи, но и выпускница института, получившая диплом инженера-химика. Я долго решался и, наконец, полетел в Ташкент с ней знакомиться.

Стоял октябрь, дни уже становились короткими. В Сухуми аэропорт был маленький, из него отправлялись только местные рейсы, небольшие самолеты. Чтобы улететь в Ташкент, надо было сперва попасть в Сочи, откуда были туда прямые рейсы. Я добрался до Сочи поездом «Тбилиси–Москва», он проходил через Сухуми ночью.

Самолет на Ташкент улетал в девять часов утра, и я спокойно решил, что утреннюю молитву прочту где-нибудь возле аэропорта, а тфилин наложу уже в Ташкенте. По расписанию рейс прибывал туда в три часа дня, и было еще светло, так что никаких проблем с тфилин, которые нужно накладывать только в светлое время суток, не предвиделось.

Но, когда я приехал в Сочи, хлынул проливной дождь. В аэропорту объявили о задержке рейса в связи с нелетной погодой, но предупредили: из аэропорта не отлучаться, как только погода улучшится, тут же дадут посадку. Уйти нельзя, но и тфилин наложить надо.

Дождь льет как из ведра, а время проходит: десять утра, одиннадцать. И я понимаю, что в Ташкент прилечу уже ночью. Значит, надо накладывать тфилин где-то в аэропорту. Но где? Я подошел к работнику аэропорта, который показался мне наиболее приличным, и все ему рассказал: я должен был улететь рейсом на Ташкент, его задержали, а я человек верующий и мне надо утром помолиться. Не мог ли бы он указать мне, где тут есть закрытое помещение.

Он воспринял все это совершенно спокойно, показал сарайчик на летном поле и говорит: «Молись себе там без проблем. Если объявят посадку, ты услышишь».

Я так и сделал. Дождь барабанит по крыше сарайчика, а я молюсь себе без всяких помех. И только я подумал, что мне никто не мешает, как вдруг в дверь начали стучать. Я ведь ее закрыл, чтобы посторонние не вошли. Думаю — не буду открывать, может, пронесет. Решат, что дверь закрыта и уйдут. Но стучать продолжают, и очень настойчиво. Пришлось открыть. На пороге — группа людей в штатском и милиционер.

— Что ты тут делаешь?

— Молюсь.

— Здесь? В аэропорту? Это не синагога, соби-
рай вещи, пройдешь с нами.

Я до сих пор не знаю, кто донес на меня. Скорей
всего, тот самый работник аэропорта, что показал
мне сарайчик. Но я ответил милиционерам: «Пой-
ду, когда закончу молитву». Они поспорили не-
много, но согласились. А я уже как раз был в кон-
це молитвы, так что ждать им долго не пришлось.

Завели меня в какую-то комнату на втором
этаже аэропорта, усадили за большой стол, и че-
ловек в штатском, сотрудник КГБ, начал допра-
шивать: кто, откуда, куда едешь. У меня все до-
кументы были в полном порядке, я ведь оформил
эту поездку как командировку. Показал билет, ко-
мандировочное предписание. Кагэбист при мне
позвонил в Сухуми и убедился: все точно.

И тогда он берет в руки тфилин: «А это что та-
кое?» Я объясняю: «Предмет культа». Он покру-
тил тфилин и говорит: «Я эти коробочки должен
открыть и посмотреть, что там внутри. Может
быть, это такой радиопередатчик, а от нас Турция
недалеко».

Но тут уж я уперся: «Это святая вещь, ее от-
крывать нельзя». Он усмехнулся: «Ну, может быть,
и святая, но как ты мне это докажешь?»

А ведь, действительно, как? Как объяснить ка-
гэбисту в двух словах, что такое тфилин? И тут
меня осенило: «А очень просто — обратиться к лю-
бому старику-еврею, он подтвердит».

Гэбист позвонил куда-то по телефону и бук-
вально через несколько минут привели какого-

то старика. И тот подтвердил, что это тфилин. А у меня спросил — очень, надо сказать, удивленно: «Ты такой молодой и молишься? Я таких уже давно не видел».

Старик ушел, гэбист смотрит на меня внимательно и ничего не говорит. А я в законах был немножко подкован и спрашиваю: «Почему вы меня задерживаете? Я ведь ничего противоправного не совершил. Молился сам, в закрытом сарае. Никого ни к чему не призывал, не агитировал. Тфилин наложить никому не предлагал».

Это я ему специально сказал, ведь мой будущий тесть, Симха Городецкий, отсидел срок за религиозную пропаганду среди бухарских евреев, и я точно знал, что по конституции каждый гражданин имеет право на свободу совести. То есть в своем доме или в одиночку может молиться, — не возбраняется. В общем, гэбист меня послушал-послушал и говорит: «Ладно, на первый раз я тебя отпускаю. Но больше так никогда в аэропорту не делай».

Я благополучно улетел, познакомился с девушкой и через год на ней женился. Но с тех пор у меня особое отношение к молитве в аэропорту, и поэтому вот уже много лет подряд я не пропускаю недели, чтобы не провести хотя бы несколько часов в нашем Бен-Гурионе.

Эта история с аэропортом получила неожиданное продолжение лет шесть назад, когда в Ростове любавичские хасиды выкупили дом, где жил и умер Ребе Рашаб. Мой сын Йоси занимался оформлением документов на покупку. Когда он

и еще несколько хабадников летели в Ростов, то из-за плохой погоды их самолет посадили в другом городе. Каком? Сочи! Они провели там несколько часов и устроили большой фарбринген, во время которого Йоси рассказал, как в этом самом аэропорту меня чуть было не упекли за решетку просто за то, что я молился. А сын мой не просто молился в здании этого аэропорта, но и провел фарбринген — с песнями нашими хасидскими, с диврей Тойре, маамарим наших Ребе. Круг замкнулся.

В Сухуми я продолжал работать до 1960 года. Помню, в тот самый мой первый Песах, что я провел у хахама Шломо, я спросил, нет ли у него подпольной миквы. В городе не то что миквы, даже синагоги тогда не было. Но все ж таки праздник, надо бы окунуться, очистить душу. А море еще холодное: полезешь в него — в два счета заработаешь воспаление легких.

Хахам Шломо повел меня в соседний двор, кликнул хозяина. Тот оглянулся опасливо по сторонам, отпер дровяной сарай. И молча, жестом показывает нам: заходите быстрее. Мы зашли, и я удивился: сарай как сарай, почти полностью забит штабелями дров. Зачем меня сюда привели, к чему такая таинственность, жесты эти опасливые? Но тут хахам Шломо с хозяином разобрали одну из поленниц, и под ней обнаружилась миква.

Хозяин рассказал, что в первые годы революции он поехал в Ростов к Ребе Рашабу — попросить совета и благословения. Ребе Рашаб велел ему тайно выкопать микву у себя во дворе, хоро-

шо замаскировать и никому про нее не рассказывать — час этой миквы еще придет.

Ребе Рашаб уже тогда видел, куда идут дела у большевиков, и понимал, что очень скоро они доберутся до религиозных евреев. Вот он и позаботился, чтобы у евреев Сухуми была миква. Ею, действительно, долгие годы пользовались женщины города. Только после смерти Сталина удалось построить новую синагогу и микву при ней, но это произошло уже в середине пятидесятых годов, а до тех пор пользовались этой, которую велел построить Ребе Рашаб.

В 1960 году вся наша семья собралась в Ташкенте — отец с матерью, братья, сестра. Только старший брат к тому времени уже был в Израиле. В 1956 году к власти в Польше пришел Гомулка⁸ и договорился с большевиками, что все польские граждане, которые попали во время Второй мировой войны в СССР, но не смогли выехать в конце сороковых, получают право вернуться на родину. К тому времени мой старший брат был женат на польской еврейке. Вместе с ней он и выехал в Польшу, а оттуда — в Израиль. Поэтому мы начали борьбу за отъезд.

Уезжал брат очень быстро и в страшной тайне. Мы боялись, что кто-нибудь узнает и привлечет внимание властей к тому, что вместе с «польской»

8 Владислав Гомулка — польский политик, в 1956–1970 гг. первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии, идеолог «польского пути к социализму», инспириатор антисемитской кампании в Польше на рубеже 1960–1970-х гг. — *Прим. ред.*

девушкой уезжает хабадник, — тогда его точно бы не выпустили. Ведь власти не забыли, как в предыдущую волну отъезда реб Мендл Футерфас организовал выезд по фальшивым документам нескольких тысяч любавичских хасидов. Поэтому мы даже родителям не сообщили, что он готовится к отъезду. Только когда брат пересек границу, мы позвонили в Черновцы и рассказали, что произошло.

В 1961 году родители начали переписываться с братом — только они. Мы боялись. Переписка была стабильной, брат описывал свою жизнь в Израиле, и мы стали всерьез подумывать об отъезде. Тем более что начали постоянно приходиться сообщения из разных городов — там кто-то уехал, тут кому-то дали разрешение. Но все говорили: вас, молодых, не выпустят. Стариков — еще как-то, со скрипом, но молодых — никогда.

Брат написал Ребе, спросил, что делать, — может быть, сперва отправить вызов родителям, а потом уже нам? Ребе ответил: подавать документы на всю семью. Брат пошел в израильский МИД и попросил послать вызовы всем. Там тоже его начали разубеждать: ты что, с ума сошел, всех не отпустят, давай в первую очередь вызовим стариков. Но он ответил: как Ребе сказал, так я и сделаю, отправляйте вызовы на всю семью.

И в течение десяти дней мы все получили вызовы, хотя в те времена они частенько пропадали. Я пошел в ОВИР, а там секретарша на меня напустилась: «Куда вы хотите ехать, в фашистскую страну? И кроме того, с кем вы объединяетесь? В Изра-

иле у вас только один брат, а здесь вся семья. Вот вы и пошлите ему приглашение, пусть он вернется в СССР, это и будет настоящее воссоединение». Я ей ответил: «Ваше дело принять документы, а не давать комментарии. А что уж там решат — так оно и будет». Она покрутила носом, но документы взяла. Прошло немного времени, и мы все получили отказ.

Брат опять написал Ребе, тот ответил: подавать снова и снова, до тех пор, пока не дадут разрешение. До следующей подачи надо было ждать полгода, и, как только этот срок прошел, мы вновь отнесли документы в ОВИР. Вновь получили отказ и вновь, выждав положенное время, подали документы. И спустя несколько месяцев получили разрешение. Вышло точно, как и сказал Ребе: «Подавать снова и снова»!

Мы сами себе не верили, что это происходит с нами. Но верили, не верили, а собрались моментально, боялись, что власти передумают. Разрешение мы получили за несколько дней до Йом Кипура, провели праздник в Ташкенте, а как только пост закончился, сразу же вылетели в Москву. Первые дни Суккот мы отпраздновали в Москве, я еще помню, что на крыше сукки лежал снег. А в холь *ѓа-моэд*⁹ сели на поезд «Москва–Ве-

9 Временной промежуток между первыми и последними днями праздников Песах и Суккот называется холь *ѓа-моэд*, т.е. «праздничные будни». «Праздничные» — потому что так же, как и в праздничные дни, надо устраивать трапезы более обильные, чем в обычные дни, веселиться самому и поддерживать праздничное настроение в семье; «будни» — потому что в эти дни разрешено выполнять многие, хотя и не все, будничные работы.

на». В Израиле мы оказались за полгода до Шестидневной войны.

Мой тесть Симха Городецкий, который жил в Ташкенте, тоже несколько лет был в отказе. Но за полтора года до нашего отъезда его вдруг вызвали в ОВИР и сказали: «Хочешь в Израиль — отправляйся, мы тебя не держим». Он, конечно, не стал медлить, сразу же собрался — и был таков. Приехал прямо в Кфар-Хабат, где и прожил до конца своих дней. С ним тут приключилась история, которая достойна упоминания.

Через год после приезда он тяжело заболел, лечился, лежал в больнице и врачи в конце концов поставили диагноз: опухоль. Какая — определить не смогли, то ли злокачественная, то ли нет. Но все равно врачи вынесли вердикт: необходима операция. И не простая, а очень опасная. Ну, понятное дело, когда речь идет о таком решении — написали Ребе. А он прислал странный, неоднозначный ответ: хочешь — делай, не хочешь — не делай.

Реб Симха думал-думал и никак не мог понять, что же это означает. Может быть, Ребе не очень советует идти на операцию? Ведь в других случаях он отвечал без всяких двусмысленностей: делать! А врачи настаивали на операции, причем категорически утверждали, что провести ее следует безотлагательно. И он согласился — раз врачи так уверены, значит, необходимо. Опухоль оказалась доброкачественной.

Во время операции реб Симхе внесли инфекцию, и его мучили сильные боли. Он так страдал,

что написал письмо Ребе: «Я больше не могу, нет у меня никаких сил вынести такие страдания, хочу уйти из этого мира». А Ребе ему ответил: «Как ты можешь думать о таком, когда скоро приедет твоя семья и тебе понадобятся силы!»

У меня хранится и это письмо, и наши выездные документы. На письме и на визах указана одна и та же дата. То есть именно в тот день, когда Ребе написал письмо моему тестю, нам в Союзе поставили печати на выездные документы. О том, что мы подали их, и уж тем более о том, что получили разрешение, никто не знал. Все хранилось в глубокой тайне, о подаче заявления на выезд мы рассказали только самым близким людям. Ребе многое предвидел в этом мире — и события, оказавшие влияние на ход истории, и то, что имело отношение к отдельно взятой еврейской семье.

Кстати, если уж зашел разговор о болезни реб Симхи, то не могу не вспомнить, что предыдущий Ребе, Раяц, спас его в молодости от другой хвори. В начале двадцатых годов реб Симха, тогда еще совсем молодой парень, был учеником любавичской ешивы «Томхей тмимим». А наши, любавичские, занимались как положено. Наверное, даже с еще большим рвением, чем обычно, — они ведь понимали, какая ответственность на них лежит, какую миссию высокую они выполняли — учить Тору в красной России. В Херсоне, где учился реб Симха, занимались по двенадцать часов в день: восемь — Геморой и кодексом «Шулхан арух», а четыре — хасидизмом. Не каждый мог вынести

такую интеллектуальную, да и просто физическую нагрузку. И Симха начал страдать сильнейшими головными болями.

Причину их найти врачи не могли. Куда только его не возили, даже в Полтаву к какому-то знаменитому профессору. Тот вообще обнаружил у Симхи целый букет болячек, да таких, что поставил диагноз: никакой учебы, пусть уезжает домой. Но реб Симха поехал не домой, а в Ростов.

Ребе Раяц выслушал его просьбу остаться в ешиве и сказал: «Двенадцать часов ежедневных занятий тебе, похоже, сегодня здоровье не позволяет. Но я найду тебе другое, не менее важное и нужное для евреев применение. Мне нужен специальный посланник — *шалиах*¹⁰, который будет выполнять мои поручения по всей стране. Если примешь на себя эту миссию, я обещаю: ты забудешь о своей болезни».

Реб Симха согласился, и так оно и произошло — его хвори как рукой сняло, хотя приходилось ему мотаться по всему Союзу и выполнять порой очень опасные не только для здоровья — для жизни — поручения Ребе. Да, не каждый хасид удостоился того, чтобы два великих Ребе лично занимались вопросами его здоровья и помогли ему справиться с болезнями. О таком можно только мечтать. Когда мы оказались в Израиле, реб Симха чувствовал себя уже вполне сносно и, как предсказал Ребе, много помогал нам.

¹⁰ Шалиах (*ивр.*) — посланник.

Естественно, что первые осенние праздники после нашего приезда я провел у Ребе в Нью-Йорке. Мой первый сын, Шломо, появился на свет через год после нашей репатриации — точно на Суккот. Я был у Ребе, и жена родила без меня. Мальчик почему-то оказался молчаливым, настолько молчаливым, что врачи удивлялись: «Это же младенец, он должен плакать!» А жена ответила им: «Мы, хасиды из России, приучены молчать...»

Шутки шутками, но в этом есть большая доля истины. В Союзе мы жили в атмосфере постоянного давления, постоянного ощущения, что за нами следят и ждут, чтобы мы подставили себя, в атмосфере страха и боязни. Страх пронизывал все наше существо и до сих пор живет в нас. Вот даже сейчас — я рассказываю все это, но об очень многом умалчиваю. Почему? Из-за неизжитого страха. Умом-то я понимаю, что все уже давно позади, я больше сорока лет живу в Израиле, да и советская власть кончилась. Но — боюсь. Это не поддается логическому объяснению, это выше меня, и я ничего не могу с собой поделать.

Я впервые поехал в Россию через тридцать с лишним лет после репатриации. Большая группа хабадников, около семидесяти человек, полетела в Ростов на *бейс нисан*, второе нисана, годовщину смерти Ребе Рашаба. Это было большое путешествие, мы посетили не только Ростов, но и Любавичи, Витебск. Я впервые оказался там — живя в СССР, мы боялись приезжать в эти святые для каждого хасида места.

Из-за нелетной погоды мы застряли в Витебске и решили провести там шабат. Нашли гостиницу в самом центре города. С нами был Йосеф-Ицхак Аѓаронов, глава молодежной организации Хабада в Израиле, — человек опытный. У него была с собой еда, так что проблем с питанием у нас не возникло. Больше всего меня, впервые очутившегося в России после стольких лет жизни в Израиле, поразило отношение людей.

В мое время мы все скрывали, даже цицис от талескотн не выпускали наружу. Я, кстати, так до сих пор и хожу — всегда с цицис, заправленными в брюки. Почему? Ведь в Израиле ничего скрывать не нужно. А по привычке. Но в России сейчас к религиозным евреям относятся совершенно спокойно.

В нашей группе немногие знали русский язык, и меня спросил один из сотрудников гостиницы:

— Вы что, монахи?

— С чего ты это взял? — поинтересовался я.

— Так вы ж все в черные костюмы одеты, и в группе нет ни одной женщины.

— Нет, — говорю, — мы религиозные евреи.

— А, — протянул он, — теперь понятно.

И все. Больше никакой реакции.

Наутро после молитвы мы устроили большой фарбренген — пели, танцевали просто самозабвенно, без всякой опаски и страха. Потом все разошлись по номерам. Мой сын говорит: «Папа, пойди, отдохни тоже». Но я ему отвечаю: «Не могу усидеть в гостинице, я обязан пойти в город. Посмотреть на него, увидеть людей».

Пошел я гулять по центру Витебска. И меня как прорвало.

В Союзе, когда я видел на улице милиционера, то переходил на другую сторону, чтобы он не мог ко мне прицепиться. А тут я сам подошел к первому же милиционеру и говорю: «Я еврей, сегодня у нас суббота, не подскажете ли вы мне, где тут есть синагога?» Он не знал. Я пошел дальше, обратился к еще одному милиционеру, и тот уже мне объяснил, что синагога действительно есть, но находится далеко от центра.

Вижу: идет по улице мужчина явно еврейской наружности. Я его спрашиваю: «Вы еврей?» Он ничуть не смутился, отвечает: «Да, еврей». Я к еще одному подошел, он тоже не скрывался и сказал прямо, что еврей.

На автобусной остановке я заметил пожилого мужчину с ребенком. И говорю ему: «Гут шабес». Он в ответ: «Да, я знаю, что сегодня суббота и нельзя ездить, но мои дети работают, а нужно было внука из детского садика забрать. Вы не думайте, я уважаю нашу традицию, у меня дома даже висит портрет Любавичского Ребе». А еще одна женщина сказала мне так: «Конечно, я знаю, что сегодня шабат, я даже свечки зажигаю в пятницу вечером...»

Почему я начал приставать к людям на улице — я ведь человек скромный, тихий, вовсе не наглый? Наверное, потому, что хотелось как-то компенсировать то молчание, которое было моим уделом в СССР, когда я боялся заговаривать

с незнакомыми евреями. Приходилось все время скрывать, что я религиозный, что соблюдаю заповеди. Кто его знает, этого случайного собеседника — вдруг донесет, потом неприятностей не оберешься.

Да, я открыто говорил с евреями в нынешней России, но этот неизжитый страх все равно присутствует в моей душе. Возможно, поэтому я до сих пор так и не написал никаких воспоминаний — не получается. Страх, который всегда с тобой, сковывает и мысли, и пальцы с авторучкой.

Когда мы находились в Союзе, страх был ужасный, я сейчас и сам не понимаю, как мы могли ежедневно жить с ним и не сошли с ума. Чтобы было понятно, в какой атмосфере нам приходилось существовать, расскажу несколько историй.

В Черновцах нашей соседкой была сестра Элизера Нанеса¹¹, который много лет отсидел в лагерях за Тору. Она сперва боялась нам признаться, что тоже любавичская. Но потом увидела, что и мы религиозные, все соблюдаем, и начала с нами делиться. В том числе рассказала, что ее брат все еще в лагере, — это было в середине пятидесятых годов. Мы начали помогать ей с посылками Элизеру в зону. А когда он вышел, то мой брат

11 Нанес Элизер родился в 1897 г. в Херсоне. С 1913-го учился в ешиве «Том-хей тмимим» в Любавичах, с 1918-го продолжил обучение в ешиве в Кременчуге. Арестован накануне Йом Кипура (5 октября) 1935 г. В 1947 г. был выпущен на свободу и вновь арестован и приговорен к 10 годам ИТЛ. В общей сложности провел в лагерях свыше двадцати лет. В 1963 г. покинул СССР. Скончался в Иерусалиме в возрасте 103 лет.

уже находился в Польше и сообщил Ребе об освобождении. Ребе прислал специальное письмо для Элизера, в котором была приписка: «Я уверен, что вы найдете способ передать ему это письмо». И действительно, брат спустя короткое время сумел его переправить нам.

Но как отдать письмо Нанесу? Он, понятно, КГБ ничего никогда не расскажет. Но вдруг кому-то проговорится, что, мол, такой-то передал мне письмо от Ребе? Слух пойдет дальше и докатится до КГБ. Опасно, страшно. Думали мы, думали и вот что придумали: на свадьбе моей сестры, где присутствовал и реб Элизер, я сунул письмо в карман его пиджака, висевшего на стуле.

Вот такая у нас была жизнь — боялись передать хасиду, только что вышедшему из тюрьмы, письмо от Ребе! Нанес так и не понял, как к нему попало письмо, и вплоть до самого приезда в Израиль не знал, что это сделал я. Только здесь я решился ему об этом рассказать.

В 1963 году в Ташкенте побывал первый посланник от Ребе. Неофициально, конечно, под видом туриста. Тогда в СССР приехала американская спортивная команда и он вместе с ней — как болельщик. Имени не помню, фамилия его была Кац. Ребе дал ему инструкции, чтобы он в частные дома ни к кому не ходил, а только в синагогу. Он и пришел в синагогу, а мы к нему боялись подойти. Так он уселся на стул и начал петь. Мы этих песен еще не слышали — «У-фарацто», «Гошио эс-амехо» и другие. Так эти песни дошли до нас.

Ребята к нему пригляделись — вроде бы любавичский, борода, в руках — маамар Ребе. Но все равно подойти боялись: а вдруг это агент КГБ, вдруг ловушка? Все, что было связано с Ребе, с Хабаром, было больным местом для властей, и они постоянно хотели нас подловить. Поэтому мы соблюдали не просто меры предосторожности, а дули, что называется, на воду. Но вот сидит в синагоге человек, поет на иврите. А может, действительно, *шалиах* от Ребе?

И ребята решились: подошли к нему, стали обнимать, по плечам хлопать. И по бороде гладить — о, какая у тебя борода красивая! А сами украдкой за эту бороду подергали — не приклеенная ли? Уж очень странно было видеть такого молодого парня с бородой.

Мой брат Мелех, живший тогда в Ташкенте, рассказывал, что ему тоже очень хотелось на этого посланника посмотреть, но в синагогу он прийти боялся. Чтобы как-то все же его увидеть, Мелех садился в трамвай, который проходил возле гостиницы «Ташкент», где остановился Кац. И ездил туда-сюда на трамвае — даже если случайно не столкнется с ним, то хотя бы издалека посмотрит.

Но чтобы никто его ни в чем не заподозрил, он в трамвае садился на противоположную гостинице сторону и смотрел на нее через вагон. Казалось бы, в чем его могли обвинить, — едет себе человек в трамвае по центру города, смотрит в окно. Но страх был такой, что даже возле окна, выходящего прямо на гостиницу, он опасался сидеть!

Мелех мне уже в Израиле рассказал, как после приезда он отправился на какое-то любовичское мероприятие, проходившее в одном из больших залов Тель-Авива. В СССР на любом общественном мероприятии надо было снять шапку. Если ты в ней оставался, это выглядело странным и сразу же вызывало подозрение. Поэтому мы, хабадники, всегда старались сесть где-нибудь в углу, в последнем ряду, чтобы нас никто не увидел. И все равно, если ловили на себе подозрительные или удивленные взгляды, то головной убор приходилось снимать.

И вот, в Тель-Авиве приехал он в этот зал и сразу же направился к последнему ряду, чтобы там пристроиться. А сам думает: что будет со шляпой? Когда ее надо снять — сейчас или с началом церемонии? Может, удастся отвертеться и остаться в ней? И вдруг он видит: народ ходит в шляпах, в ермолках, ходит и в ус не дует. Это ему показалось таким странным, что он себя ущипнул: где я нахожусь, куда попал? И когда, наконец, понял, что бояться уже нечего и шапку снимать не надо, — страшно обрадовался.

Когда мы сюда приехали, в Израиле был кризис. Работы по моей специальности — ткацкое производство — не было. И я начал пытаться устроиться, где мог, — семья, трое детей, жена беременна четвертым, тем самым, что родился молчаливым. В общем, помогли мне попасть в одну фирму, занимавшуюся шлифовкой алмазов. Размещалась она в Бней-Браке, и ее хозяином был

религиозный еврей. Он меня взял, хотя я ничего не умел, и научил обрабатывать камни.

Было это перед самой Шестидневной войной, и Ребе объявил *Мивца тфилин* («Операцию “Тфилин”») — чтобы каждый еврей ежедневно, как полагается, надевал тфилин. И я себе подумал: Ребе помог нам приехать, значит, я обязан принять участие в этой операции. Но как, где? После молитвы я приезжал из Кфар-Хабада в Бней-Брак часам к девяти, и когда рабочий день кончался, уже темнело. А тфилин можно надевать только в светлое время суток. И я решил действовать прямо на работе.

Собственно, в моей фирме были одни религиозные. Но мы размещались в четырехэтажном здании, по соседству с другими фирмами, где работали и светские евреи. Я подошел к хозяину и сказал: «Любавичский Ребе провозгласил “Операцию „Тфилин“». Твоих сотрудников она не касается — они все верующие. Если ты разрешишь, я поднимусь на второй этаж, посмотрю, может быть, там есть такие, кто тфилин не накладывает». Он сразу же согласился: «Иди, нет проблем». И там действительно оказались такие люди.

Я начал к ним приходить каждый день, они рассказали другим, и ко мне сбегался народ со всех четырех этажей. Дело шло к войне, атмосфера в стране была напряженная, так что желающих наложить тфилин нашлось немало. С каждым днем у меня это занимало все больше и больше времени — дошло до полутора часов.

Народ, похоже, думал, что я специально для этого прихожу. А я никому не мог отказать. Иногда это так затягивалось, что я возвращался на свое рабочее место только к обеду. Но ведь я был обязан сделать норму! Как ни странно, несмотря на то что у меня оставалось всего пять часов от рабочего дня, я успевал выполнить ее.

И я подумал: смотри, какой я способный, — за пять часов управляюсь. А ведь если я буду работать на час больше, то сделаю еще — значит, заработаю больше. И решил сократить время на тфилин. Но тут случилось нечто очень странное — проработал я в первый день больше, а норму не перевыполнил. Ну, думаю, это случайность, камни такие попались. Во второй день получилось то же самое, и в третий. И тогда я понял, что это не я такой умный и способный, это Ребе мне помогал.

Я делал то, что он сказал, и у меня все шло как по маслу. А решил схалтурить, выгадать что-то для себя — и ничего не получилось. И я снова начал приходить к людям и надевать на них тфилин столько времени, сколько требовалось. А норму по-прежнему выполнял. Вот какая сила была у нашего Ребе!

Закончу я свой рассказ историей о том, как Мотл Городецкий, сын реб Симхи, должен был вывезти из Алма-Аты свиток Торы. Янкев-Йосеф Раскин с семьей репатриировался в 1946 году и оставил в Алма-Ате очень ценный свиток Торы. Когда уезжала в Израиль семья Вышедских, Раскин попросил их взять этот свиток с собой.

Мотл прилетел в Алма-Ату в холь га-моэд Суккот 1966 года. У него был с собой маленький хабадский сидур — молитвенник, таких почти ни у кого не было тогда в СССР. Мотл, естественно, хотел попасть в сукку, но в алма-атинской синагоге ее не построили. В этом городе жил тогда брат Фоли Немотина — Йоси, он в свое время вместе с Янкевом-Йосефом ухаживал за отцом Ребе, который скончался в Алма-Ате.

Йоси тоже не построил сукку — боялся. А Мотл без сукки не хотел ничего есть, как это принято в Хабаде. И тогда Йоси отвез его к одному старику, хасиду еще Ребе Рашаба. Этот старик не поддерживал связь с другими хасидами, да и вообще с религиозными, в синагогу не ходил, поэтому за ним не следили. Но он все, что мог, соблюдал и построил у себя во дворе сукку.

Мотл поел в сукке и вытащил сидур, чтобы прочитать послеобеденную молитву. Старик увидел сидур, схватил его, пролистал. Видит — на нем написано: «Любавич, Хабад». Он как закричит через двор: «Дочка, иди сюда, смотри: Любавич еще живет, Любавич еще живет!!!»

Он-то думал, что уже все: Ребе выслали, хасидов поубивали и Хабад исчез. Но Хабад выжил, сохранился. Хабад живет и сегодня является главным хасидским движением — несмотря на фашистов, коммунистов и всех врагов еврейского народа! И так будет всегда, до прихода Машиаха, которого мы ждем со дня на день, как нам пообещал наш святой Ребе.

ХАСИД РЕБЕ

Мелех Левенгарц

Меня зовут Элимелех Левенгарц, родился я в 1933 году в Москве. Когда началась война, моя семья эвакуировалась в Самарканд, и там я начал учиться в хедере. До этого в советскую школу я не ходил, хотя должен был это делать с семи лет. Почему? Да потому, что Ребе Раяц перед самым отъездом за границу в 1927 году несколько раз призвал своих хасидов ни в коем случае не отдавать детей в советские школы. Он даже сказал так: «Если перед хасидом стоит выбор — броситься в огонь или отдать ребенка в большевистскую школу, он должен броситься в огонь».

Мой отец, реб Авром-Шмуэль, был настоящим хасидом, поэтому он приложил все усилия, чтобы его дети не пошли в советскую школу. И сделал это, несмотря на существовавший тогда закон, в соответствии с которым все дети были обязаны посещать школу. В случае если родители сопротивлялись, закон давал возможность властям ли-

шить их родительских прав и забрать детей в интернат. Более того, родителям грозило тюремное заключение. Но папа мой был любавичским хасидом до мозга костей и не считался ни с чем, когда речь шла о выполнении указа Ребе. И раз Ребе сказал не отдавать, он и не отдал.

Мои самые сильные впечатления от Самарканда связаны с голодом. Нас у родителей было шестеро сыновей, младшему еще и года не исполнилось. Родители сперва на работу устроиться никак не могли, а это означало, что продовольственную карточку они не получали. Купить же что-то на базаре тоже не было возможности — денег родители не имели. Помогали, конечно, наши, любавичские. Но они тоже были очень ограничены в средствах. Вставали мы утром, а в доме хоть шаром покати. Ни крошки хлеба, ни молока, ни картошки — ничего. Родители и старший брат уходили с самого утра, чтобы где-нибудь что-нибудь заработать и вечером принести хоть какую-то еду. Но у них не всегда получалось, и возвращались они с пустыми руками. Так мы и шли спать голодными.

Молоко у матери от такого голода пропало, а младший наш братик все время плакал и просил есть. Мама наливала в стакан холодной воды, обвязывала марлей черствую горбушку хлеба, которую где-то выпрашивала, замачивала эту марлю в воде и давала ему сосать. А я и другие дети дергали мать за платье и просили: «Дай хотя бы один раз и нам горбушечку пососать». Но мать не давала и все причитала: «Это нужно Мотеле, он ведь

совсем маленький, а вы потерпите еще немножко». И мы терпели. А Мотеле, наш братик, не вынес этой пытки голодом и умер.

Однажды родители вернулись вечером, а я лежу в кровати и корчусь от боли в животе. Мать глянула на меня и заплакала — я уже опух от голода. На следующее утро она повела меня к врачу. Та меня долго не осматривала, поставила диагноз с первого же взгляда. И сказала: «Я дам вам направление в военный госпиталь. Хотя я и не имею права это делать, но мне жаль ребенка».

Эта женщина спасла меня от голодной смерти. В госпитале я впервые за многие месяцы увидел картофельное пюре и до сих пор помню не только, как выглядела тарелка, в которой мне это пюре принесли, но даже запах того божественного блюда. Помню также, как мне хотелось схватить тарелку и сразу все съесть, а мать, к моему счастью, не дала и кормила меня с ложечки целый день, давая по чуть-чуть.

Постепенно наша жизнь как-то устроилась — отец поставил дома ткацкий станок и мои старшие братья, в том числе Йона, который был еще ребенком, начали на нем работать. Для того чтобы хватило на пропитание всей нашей большой семье, им приходилось работать без остановки — двадцать четыре часа без перерыва. Братья разбили сутки на смены, и станок стучал не умолкая. Еды, конечно, все равно не хватало, но с голоду мы уже не пухли.

Сперва мы начали учиться в синагоге, и я шел на эти занятия с огромной радостью. Почему? Да

потому, что там, после урока по *алеф-бейс* — ивритскому алфавиту, каждому ученику давали по пять изюминок и маленький кусочек хлеба. В хедере нам тоже давали немного еды, но материальное положение моей семьи уже стало гораздо лучше, и я не ждал с вожделением эти пять изюминок.

Но и когда стало легче, все равно мы не ели досыта. Хлеб мать делила между нами поровну, и я даже не мог представить себе, что буханка хлеба может вот так просто лежать на столе и каждый отрезает от нее столько, сколько ему хочется. И только спустя год или два, когда мы уже окончательно встали на ноги, мать как-то принесла домой целый мешок с буханками хлеба. Вывалила их на стол и сказала: «Ну, дети, а теперь ешьте сколько хотите». А сама взяла метелку, распахнула окна и как закричит: «Голод — вон из нашего дома! Голод — убирайся прочь!»

Как только мы начали заниматься в хедере, то первое, чему нас научили, были правила безопасности. В чем они заключались? Если кто-то незнакомый постучит в дверь или в окно — немедленно убежать через заднюю дверь во двор и сделать вид, что мы играем.

Нам, десяти-двенадцати мальчикам, преподавали Хумаш и немного Талмуд. Обучение велось на *лошн койдеш*, святом языке, и на идише. Иврит, на котором мы говорим сейчас в Израиле, — это сефардское произношение. А *лошн койдеш* — ашкеназское, мы на нем молимся, учимся, но не используем его в быту, для обычных, повседневных

разговоров. Так вот, читали нам Хумаш на лошн койдеш, а потом переводили на идиш.

После войны мы вернулись в Москву, а потом, когда появилась возможность выехать в Польшу с помощью подпольной организации реб Мендла Футерфаса, мы всей семьей отправились во Львов. Но опоздали: выезд уже прикрыли. Реб Мендла и других руководителей этой организации арестовали, осудили и отправили в лагеря. Все любавичские хасиды, не успевшие уехать, разбежались кто куда. Во Львове оставаться было опасно — в НКВД знали, что не все хабадники уехали, и искали нас буквально днем с огнем. Так мои родители оказались в Черновцах.

Сперва мать с отцом отправились туда на разведку. Ехали они ночью в поезде, в общем вагоне, и отец никак не мог уснуть, так волновался. «Что же будет, что будет! — говорил он все время матери на идише. — Как мы найдем квартиру — без связей, без знакомств? Как вообще устроимся, нам ведь даже негде голову следующей ночью преклонить!» Но мать его успокаивала: «Ничего, Авром, ничего, Бог нам поможет».

И действительно, помог. Когда поезд пришел в Черновцы и они стали выходить из вагона, к ним на идише обратилась женщина, ехавшая на второй полке. «Я все слышала, вы сегодня ночуете у меня. Место у меня есть — муж в командировке и вернется только через неделю. Так что спать вам есть где, авось за это время какое-то жилье себе и подыщете». И подыскали. Каким-то обра-

зом им удалось раздобыть комнату в коммунальной квартире, где мы все и поселились.

В школу я не ходил и в Черновцах. В нашей коммуналке жила учительница, и родители предупредили меня: если она спросит, где я занимался, то надо ответить — в самаркандской школе номер 156, закончил четыре класса. Я вроде бы все понял, но на самом-то деле я даже не знал толком, что это такое — школа, класс. Поэтому, когда соседка все-таки спросила меня, где я учился и сколько классов закончил, я все перепутал и ответил: «Я закончил четыре школы». Она терпеливо переспросила: «А сколько ты классов закончил?» Я как-то выкрутился, сославшись на то, что вообще плохо знаю русский язык — в доме разговаривают на идише, а в Самарканде все говорили по-узбекски. Она и отстала.

Но чтобы не вызвать лишних расспросов — почему дети не в школе, — родители отправляли нас на год каждый раз в новый город — к родственникам или другим любавичским хасидам. Дело было сразу после войны, со всеми ее передрягами, с поломанными людскими судьбами. И на детей власти внимания особо не обращали. Да и в Черновцы власть эта советская, по существу, только пришла¹. Поэтому она была еще не так крепка и всеохватна, как в Москве. Можно было най-

¹ В 1940 г. Черновцы вместе с Северной Буковиной были заняты Красной Армией и вошли в состав Украинской ССР. В июле 1941-го были оккупированы румынскими войсками и на годы войны вернулись в состав Румынии. В марте 1944-го отвоеваны советскими войсками. — *Прим. ред.*

ти лазейки, и мои родители их отыскивали с большим успехом. Так мы и отсиделись, увильнули от занятий в большевистской школе.

Когда мне минуло шестнадцать, я все же пошел в вечернюю школу. Это была не совсем обычная школа — ее организовали для тех, кто из-за войны не мог учиться, и отношение там к ученикам было особым. Во-первых, туда ходили не только такие пацаны, как я, а взрослые, женатые люди под тридцать. Все работали, поэтому к прогулам занятий там относились спокойно, и я мог без всяких проблем не приходить по субботам и праздникам. Начал я учиться сразу в четвертом классе — это был самый младший класс вечерней школы.

А как учиться, если я даже писать не умею? Помогла моя сестра Белла. Она ходила в обычную школу — девочкам все же наши хабадники делали послабление. Я уж не помню почему, но, думаю, в том числе еще и из-за того, что на девочек не распространялось жесткое школьное правило: ни в коем случае не находиться на уроке в головном уборе. Мы ведь там, в Союзе, не отступали даже от малейшей детали соблюдения заповедей. Должен религиозный мужчина ходить с покрытой головой? Должен. И все тут. А незамужняя девочка, понятно, может сидеть и простоволосой.

На мое счастье, как раз в тот год, когда я пошел в вечернюю школу, Белла занималась в четвертом классе обычной. Она помогала мне готовить уроки, и я списывал у нее все, что мог. Из-за этого как-то раз случился конфуз. Я еще толком по-

русски читать не умел и, когда заполнял свои данные на титульном листе тетради, то «сдул» все, как было у нее, — кроме имени, конечно. И написал: «ученица четвертого класса Михаил Левенгарц».

Сдал я эту тетрадь на проверку домашнего задания, и на следующий день вызывает меня учительница к доске: «Миша, ты знаешь разницу между мужчиной и женщиной?» А в классе нашем сидели уже взрослые мужики. Увидели они, как я смутился, поняли это по-своему и ну давай хохотать. А учительница подняла мою тетрадь и показала всем ее обложку, на которой я так старательно и аккуратно вывел: «ученица Михаил Левенгарц».

А вот еще один — совсем не смешной — случай. Задали нам как-то написать сочинение на украинском языке, дело ведь было на Украине. А как мне писать, если я и русский толком не знаю? В общем, накалякал я что-то. Через пару дней учительница всем вернула тетради с сочинением, а мою — нет. И сказала, чтобы я остался после уроков, ей надо со мной поговорить. Я решил, что она мне устроит головомойку из-за незнания украинского. Но не тут-то было.

Когда мы остались в классе одни, она раскрыла тетрадь и чуть ли не шепотом мне говорит: «Посмотри вот сюда». И показывает на мое сочинение. Я глянул, и мне сразу не по себе стало: в сочинении я написал слово «Сталин» с маленькой буквы. Она увидела, что я побледнел: «Ты понимаешь, Миша, чем это пахнет? За такое можно и в тюрь-

му угодить». А мне ответить нечего, не стану же я объяснять, что, напрягаясь из-за этого украинского, не заметил, как совершил такую страшную по тем временам ошибку. Но, на мое счастье, учительница оказалась порядочным человеком.

«Я не хочу тебе зла, Миша, — сказала она, — не хочу ломать тебе жизнь. Возьми эту тетрадь и порви ее прямо здесь и сейчас на мелкие кусочки». Так я и сделал.

Вспоминаю еще один забавный, как это мне сейчас кажется, эпизод, связанный с учебой в вечерней школе. Урок географии у нас был один раз в неделю и всегда в пятницу вечером. Естественно, за весь учебный год я его так ни разу и не посетил. Но вот настало время экзаменов, и, как назло, экзамен по географии назначили тоже на субботу. Мы дома посоветовались и решили: надо идти, чтобы не вызвать подозрений — это же все-таки экзамен, а не обычный урок. И самое главное, нет никакой опасности, что придется нарушить субботу, — экзамен по географии устный, а не письменный.

И я пошел. Вытащил билет и собрался усесться за парту, как вдруг учительница мне протягивает листок бумаги: «Это для подготовки ответа».

«Вот те раз, — думаю, — значит, все-таки надо писать?» Но я тут же нашелся: «Мне готовиться не надо, я уже готов». Она удивилась, но листок положила на стол и показывает мне на место возле доски: «Давай, отвечай». Для нее в таком моем поведении ничего странного не было, поскольку

по математике я был первым учеником в классе, и она не раз хвалила меня и за знания, и за сообразительность.

А что отвечать, если я в географии абсолютный профан? Но, на мое счастье, я вытащил билет с вопросом о Соединенных Штатах Америки. Стал возле доски, на которой висела большая карта мира, и учительница говорит: «Покажи, где находятся Соединенные Штаты». Это было просто: на карте ведь все написано, а США страна большая — сразу видна. Я показал. И теперь надо, собственно, отвечать по билету. Но отвечать-то мне нечего!

Ну, в самом деле, что мне было известно про Америку? Что там, в Нью-Йорке, живет наш Ребе. Но ведь этого я сказать на экзамене в советской школе не могу! И тут я вспомнил, как несколько дней назад мои родители о чем-то говорили между собой, и отец сказал, что картошку, которой нам так не хватает, привезли из Америки, а до этого в Европе она не росла.

Деваться мне было некуда, и я храбро начал: «Америка — это не просто очень большая и богатая страна, ей мы обязаны одним из самых главных наших продуктов питания. Именно из Америки в свое время к нам попала картошка, которую раньше в Европе не выращивали». Говорю я бодро, быстро, уверенно, а сам лихорадочно соображаю, как продолжить. Больше мне говорить-то и нечего.

И тут свершилось маленькое чудо: инспектор района, присутствовавший на экзамене, меня прервал. Времена были тяжелые — самый раз-

гар борьбы с «загнивающим Западом и американскими империалистами». Инспектор, услышав начало моего ответа, видимо, решил, что я сейчас начну расписывать богатства Америки. А такой «идеологически невыдержанный» ответ его совсем не устраивал. Поскольку я пошел отвечать без подготовки, да еще и начал очень уверенно, он, по-видимому, подумал, что я все знаю и начну сейчас молоть без остановки. И, чтобы не допустить политической оплошности, решил меня на всякий случай остановить, да еще и наказать.

«Достаточно, — сказал инспектор, — мне все понятно. Идите. Ваша оценка — три». Может, кто другой и расстроился бы от столь низкого балла, а я просто как на крыльях вылетел из экзаменационной комнаты!

Так я ни шатко ни валко доучился до восьмого класса, хотя времени в школе проводил немного — то суббота, то праздники. Но вот где я действительно прилагал большие усилия и тратил очень много времени — это был подпольный хедер. Собственно, назвать его таким громким именем было сложно — в нем, кроме меня, занимался только еще один мальчик.

Хедер размещался в квартире одного из любавичских хасидов, преподавал нам реб Хаим-Залман Козлинер по прозвищу Хазак². В этой квар-

2 Козлинер (Хазак) Хаим-Залман — раввин, в 1940 г. был арестован и приговорен к заключению в лагерь. В 1956 г. освобожден. Жил в Черновцах, где стал одним из руководителей нелегальной хасидской общины. В 1966 г. выехал в Израиль.

тире мы проводили весь день и учили Гемору, хасидизм, маамарим Ребе. Тут уже не было профанации и отлынивания. Учились как полагается: вникали во все мелочи, старались дойти, как говорится, до самой сути.

Вот так и получилось, что даже в условиях советской власти мой отец выполнил указание Ребе — я так и не попал в идеологические жернова большевистской пропаганды, которые запросто могли перемолоть мой молодой ум. Спасибо Ребе и моему отцу!

Чтобы показать, как отец во всех, даже самых мелких, деталях старался соблюдать заповеди, расскажу о нашей коммунальной кухне. Напротив комнаты, где мы жили всей семьей, дверь в дверь, была комната одного коммуниста. Он хоть и был преданным членом партии, но не пользовался благами, которые могло бы дать ему положение, поскольку был человеком честным. Денег у него не было, питался он не по ресторанам или столовым, а дома. И готовил еду на общей плите, стоявшей в кухне.

А это представляло для нас большую проблему. Ведь когда сосед — а он не был евреем — зажигал плиту или ставил на уже горевшую общую плиту свою кастрюлю, наша пища, тоже стоявшая там, становилась некошерной. Но кухня-то одна, и плита одна. А семья большая и детей кормить надо! Отец нашел выход из положения — купил соседу керосиновую плитку (или примус — я уже точно не помню). Стоило это немалых, по нашим

понятиям, денег, но деваться было некуда. А чтобы еще больше заинтересовать соседа, отец ему пообещал: если тот будет готовить себе еду только на этом примусе, мы возьмем на себя покупку дров для печки и будем обогревать кухню и коридор всю зиму. И сосед согласился.

Был еще один момент, из-за которого сосед пошел на поступок, столь сильно противоречащий его идеологии. Как я уже сказал, был он честным и потому бедным. И со своей женой Марусей жил в основном не на его зарплату, а на то, что зарабатывала она: Маруся покупала на базаре материю, шила из нее женские платья и продавала. Понятно, она нигде не была зарегистрирована, никаких налогов не платила. Если бы ее поймали за этим занятием, то и ей, и в особенности ее мужу-коммунисту грозили большие неприятности. Но наш сосед, хоть и был атеистом, быстро понял, что мои родители — люди порядочные, и попросил их об одной услуге.

В тот день, когда Маруся шла на базар продавать платья, она весь материал и всю продукцию — готовую и полуфабрикат — переносила к нам. Если бы Марусю схватили на рынке, то у нее было бы «железное» алиби — пошла продавать свое собственное платье, которое ей не подходит, или для того, чтобы купить продукты. Это не запрещалось. А если бы ей не поверили и пришли домой с обыском, ничего бы не обнаружили. Таким образом, благодаря нам Маруся имела возможность безбоязненно заниматься незаконным швейным производством на дому. По-

нятно, что они с мужем были готовы оказать нам любую услугу, тем более что в данном случае речь шла о пустяке — не готовить на общей плите.

Но однажды сосед напился и пристал к отцу: «Объясни, почему мне нельзя поставить свой горшок на плиту, когда у вас что-то варится? Хочешь, я принесу тебе справку от врача, что я здоров и у меня нет никаких инфекционных заболеваний, нет чахотки? Хочешь, принесу справку из венерологического диспансера, что у меня и у Маруси нет, не приведи Господь, никаких болячек?»

Папа ему объяснил, что речь вовсе не идет о каких-то подозрениях. Просто по еврейскому закону нам нельзя мешать свою еду с их едой. И в этом нет ничего обидного — мы ведь не говорим, что его еда плохая, мы просто хотим есть свою. Сосед все понял и принял. В общем, жили мы с ним и с Марусей, что называется, душа в душу. До такой степени, что спокойно устраивали в нашей квартире фарбрэнгены, зная, что они не донесут.

А шумели на этих фарбрэнгенах порой довольно сильно. Особенно в конце, когда мы все желали (с этого начинали и этим завершали каждый фарбрэнген), «чтобы Бог нам помог и мы встретились с Ребе». Ну, если в начале фарбрэнгена все это говорили спокойно, то в конце, понятно, страсти кипели, и это пожелание уже кричали во весь голос.

И еще, конечно, говорили на фарбрэнгенах о том, что нельзя отступать, нельзя сдаваться. На-

до сохранять *идишкайт* — еврейскую культуру, воспитывать детей хасидами.

Отец мой говорил так: «Мы как солдаты, попавшие на войну. Солдата несколько лет готовят к сражению: учат метко стрелять, перемещаться на местности, окапываться. И когда начинается война, разве солдат имеет право отказаться и увильнуть от выполнения своего долга? Такое и в голову ему прийти не может. Наказание за подобное преступление — расстрел! Вот так и мы: отцы наши были хасидами, учились в Любавичах, воспитывались на *маамарим* наших Ребе. И наши Ребе не только призывали своих хасидов не сдаваться, не отступать даже в мелочах от заповедей, но и на собственном примере, рискуя жизнью, показывали, как следует себя вести. И что же мы — после всего этого дезертируем? Изменим своему долгу, своему призванию, перестанем быть евреями? Не бывать тому никогда!» Мы, дети, все это слушали и впитывали в себя как губки.

В Черновцах тогда собралась маленькая, но очень сплоченная группа любавичских хасидов, которые не успели выехать через Польшу. Одним из них был реб Шолом Виленкин, его отец, реб Шнеур-Залман, учил Ребе, когда тот был ребенком, еврейскому алфавиту. И вот реб Шолом буквально на каждом *фарбренгене* повторял: «Идн, мы обязаны организовать хедер и учить там детей. Считайте, что мы на вокзале. Если пассажир опоздал на поезд, он ждет следующего. Мы тоже опоздали на поезд, но не имеем права зря терять

время на вокзале. Ведь и во время ожидания пассажиру надо что-то есть и пить. Мы обязаны дать нашим детям духовную пищу!»

Мы ведь все жили надеждой, что вот-вот — завтра, послезавтра — появится возможность и мы уедем. Но просто жить в ожидании было нельзя. Да и невозможно! А как открыть хедер — если поймают, сразу срок! Причем не маленький, за такое давали до двадцати пяти лет строгого режима. Но Виленкин все же настоял, хедер, о котором я рассказывал чуть выше, открылся и просуществовал несколько лет.

Но не только с хедером были проблемы. А как быть, например, с праздником Суккот? Одна из его главных заповедей — *арба миним*³. Где взять эти растения? В синагогу один комплект арба миним еще как-то попадал, но туда дети и молодежь ходить боялись и трижды в день молились дома. Но, чтобы дать возможность как можно большему числу евреев выполнить заповедь, наши хабадники договаривались в синагоге и после первых двух дней праздника переправляли эти арба миним по всему городу. А потом, самолетами, — и в другие города. Ведь эту заповедь можно выполнить в любой из дней праздника, в том числе и в холь га-моэд. В нашем распоряжении была це-

3 В праздник Суккот каждый еврей обязан совершить особое благословение на четыре вида растений: этрог (цитрон), лулав (пальмовая ветвь), гадаас (ветвь мира) и араву (ветвь речной ивы). Эти растения символизируют четыре типа евреев; объединяя их вместе и благословляя, человек тем самым благословляет весь еврейский народ.

лая неделя, и эти арба миним, бывало, пролетали несколько тысяч километров по всему Союзу.

Проблемы возникали и с питанием. Точнее, никаких проблем не было. Нам и в голову не могло прийти съесть что-то трефное. До двадцати лет я понятия не имел, что колбаса может быть кошерной. Она для меня относилась к разряду запрещенной пищи — есть сало, есть колбаса. Как нельзя есть свинину, так нельзя есть и колбасу. И только потом я узнал, что существует колбаса, сделанная из кошерного мяса. Для меня все эти пирожки, которые продавали на улицах, разнообразные блюда, изготовлявшиеся в ресторанах и столовых, как бы не существовали. Я твердо знал, что нам, хасидам, есть можно только дома или же у наших, любавичских.

Я ведь с самого детства вел жизнь религиозного еврея — ел только кошерное, по праздникам и субботам не работал, молился три раза в день, учился в хедере, а не в школе. И все это — при советской власти, в самые страшные годы разгула сталинского террора. Оглядываясь сейчас на свою прошлую жизнь в Союзе, я не могу понять, как мы на все это решились и как нам все удавалось. Невероятно, но факт! Объяснить это можно разве что поддержкой Свыше. Мы выполняли Его волю, а Он помогал нам и защищал нас.

Несмотря на то что еды вообще было мало, а кошерной — и того меньше, мы никогда не соблазнялись тем, чтобы съесть что-то запретное. Никогда! Тем более что буквально каждую неделю

у нас были фарбрэнгены, дававшие нам мощную духовную «подпитку», укреплявшие в вере, в нашей убежденности в правоте дела, которому мы служили, и правильности пути, по которому шли.

Да, денег не было, еды не было. Но на фарбрэнген всегда доставали и деньги, чтобы купить пару бутылок водки и какую-то еду. Понятно, на фарбрэнгене еда — далеко не самое главное. Если точнее сказать — вовсе даже вещь второстепенная. Но и без нее нельзя! И каждую субботу у нас собирались любавичские хасиды — пили, закусывали чем Бог послал, пели песни, поддерживали друг друга, смеялись и плакали. И все вместе жили надеждой на скорое избавление.

В будние дни устраивали фарбрэнгены очень редко, только по важным поводам. Как-то пришел к Вышедским⁴ реб Мендл Футерфас и сказал их отцу: «Сегодня делаем фарбрэнген, позовите народ». Ну, народу-то у нас было немного — семей двадцать-двадцать пять. Мы старались всегда держаться вместе и жили неподалеку друг от друга. Мальчики быстро всех обежали, мы собрались.

И тут реб Мендл рассказал, по какому поводу фарбрэнген. После выхода из тюрьмы он все время анализировал то, что с ним там происходило, и пытался понять, за что он получал те наказания, которые на него обрушились. Ведь ничего просто так в этом мире не бывает! И реб Мендл в конце концов понял, за какие конкретные грехи перед

4 О семье Вышедских идет речь на с. 31–81.

Всевышним ему были посланы соответствующие наказания. Кроме одного — чекисты обвиняли его в том, что после отъезда Ребе Раяца за границу он остался как бы вместо Ребе.

Это реб Мендла все время мучило: как так получилось, как кому-то в голову могло прийти, что он осмелится быть вместо Ребе, даже просто поставить себя рядом с ним?! Ребе — один, и нет другого. Но почему же чекисты обвиняли его в том, чего у него и в мыслях никогда не было? Кому-то, может быть, подобные переживания покажутся странными. Но надо было знать чистоту и святость реб Мендла, его преданность хасидизму и Ребе, чтобы понять, какие мучения доставляли ему такие мысли.

И вот наконец он сообразил, откуда это появилось, вспомнил, как однажды, после отъезда Ребе, у него состоялся разговор с одним большим хасидом — реб Нисаном Неменовым. И реб Нисан, может быть, неудачно выразился, но у него получилось так, что, мол, вот сейчас, после того как Ребе уехал, я попытаюсь быть его заместителем здесь. Не про реб Мендла сказал — про себя. Но реб Мендл понял: потому, что он не возразил тогда, а промолчал, он и получил наказание. И устроил по этому поводу фарбренген. Вот какой это был человек, реб Мендл, и вот какой пример он подавал нам, молодым ребятам.

Родители жили в Черновцах долго, а мы все время были в разъездах — кто во Фрунзе, кто в Сухуми, кто в Ташкенте. Так мы вызывали меньше подозрений и вопросов — почему не ходим

в школу, почему не работаем в субботу, почему не служим в армии.

С армией — особая история. Наша мама была очень умной и энергичной женщиной. Она сумела найти связи и подкупила доктора, который дал справку, что я по болезни не подлежу призыву. Но это был только первый этап, затем пришлось провести несколько месяцев в больнице, на обследованиях и проверках. Во время такого обследования, кроме опасности того, что меня выведут на чистую воду, существовала еще одна — лекарства.

Я ведь «косил» под психически неполноценного, а если длительное время принимать лекарства, которыми меня пичкали в больнице, то любой, даже самый здоровый человек быстро превратился бы в больного. Отказаться от приема лекарств нельзя, выбрасывать их все время тоже невозможно — заметят. Что делать? Мать сумела найти подход к главврачу больницы, и он давал мне безобидные медикаменты, которые не отражались на здоровье. Поэтому я спокойно принимал их у всех на виду.

В Черновцах жил тогда любавичский хасид Гершл Рабинович. Был он деловым человеком, имел обширные связи среди партийной и государственной верхушки города. В свое время он жил в Алма-Ате и ухаживал за отцом Ребе. Когда отец Ребе скончался, то мать Ребе, ребецн Хана, в знак благодарности подарила Гершлу Рабиновичу тфилин и трость своего мужа, с которой он ходил последние годы жизни. Эта палочка стала за-

щитой Гершла. На все свои самые опасные операции — а был этот человек, как я уже сказал, деловым, что уже само по себе в те годы было крайне опасно, — он всегда ходил с этой палочкой. И хотите верьте, хотите нет — все ему сходило с рук.

Выпутывался он порой из самых сложных ситуаций. В Черновцах Гершл построил микву — совершенно невероятное для тех лет достижение. В одном из пригородов Черновцов находилась могила цадика Исроэля Ружинера — великого хасидского ребе. Памятник на могиле был разрушен, кладбище почти сровняли с землей, по нему бродили коровы, щипали траву и справляли свои надобности. Гершл Рабинович сумел восстановить памятник и даже нанял старика, который следил за могилой: ремонтировал, если надо, выпалывал бурьян, красил ограду.

Не думаю, что следует много распространяться о том, как это было сложно и опасно, — получить разрешение на строительство миквы и восстановление могилы какого-то еврейского «мракобеса». Но Гершл брал с собой палочку отца Ребе, смело шел по разным инстанциям — и получал все необходимые разрешения. Не меньше проблем возникало и на следующем этапе — непосредственно строительства. Со стройматериалами в Союзе всегда была проблема, а в послевоенные годы — в особенности. Но опять же с помощью этой палочки он умудрился их раздобыть.

И когда пришло время моего призыва в армию, мать пошла к Гершлу и попросила, чтобы

он использовал волшебную силу этой трости. «Это мой пятый сын, и я не могу уже ничего придумать, как его освободить от армии», — сказала она. Гершл подумал-подумал и дал ей несколько советов. А потом подвел меня к двери и поставил возле косяка, с той стороны, где была прибита мезуза⁵. А сам стал по другую сторону — так, что я очутился между мезузой и этой тростью, которую он держал в руке. Он дотронулся до меня тростью и сказал: «Ангел-избавитель да сохранит тебя от любого зла и будет идти впереди тебя и позади тебя!»

Произнес он это благословение во весь голос и очень торжественно. Я до сих пор отчетливо, будто не прошло с тех пор почти шестидесяти лет, помню этот момент. А потом Гершл добавил: «Иди и ничего не бойся — Всевышний поможет тебе!» И действительно, все проверки в больнице прошли замечательно и меня комиссовали.

Как только я получил освобождение, то буквально на следующий день уехал на другой конец страны — во Фрунзе — и относительно спокойно прожил там пять лет. И тут грянула новая беда. К тому времени я перебрался в Ташкент, и в тамошнем военкомате решили пересмотреть дела всех, кто получил освобождение от призыва. Я не знал, что делать, куда податься, что предпринять.

5 Мезуза — небольшой пергамент, на котором специальным переписчиком (*софером*) написаны отрывки из Торы, в которых упоминается заповедь о мезузе. Этот пергамент — свернутый в трубочку и помещенный в футлярчик — прикрепляют на дверной косяк.

В Черновцах вроде был знакомый врач, который мне уже помог. Но, с другой стороны, почему это я как раз в тот момент, когда мое дело пересматривают, вернусь в Черновцы и опять к этому врачу пойду? Подозрительно. Я ломал голову и ничего не мог придумать. И тут я вспомнил про благословение, которое дал мне когда-то Гершл Рабинович: «Ангел-избавитель да сохранит тебя от любого зла!» И решил: если у меня есть такое благословение, не надо бояться! Хотя был я совершенно здоров и практически не имел шансов благополучно миновать аттестационную комиссию, я смело отправился в военкомат на повторную проверку.

У меня уже имелся опыт, и поэтому я пришел так, чтобы оказаться самым последним в очереди. Работала комиссия долго; когда меня вызвали в кабинет, был уже поздний вечер. В кабинете находились пять или шесть врачей. Каждый меня проверил — зрение, слух, руки-ноги... И я видел, как они писали в моей карточке: здоров, здоров, здоров.

Последней оказалась врач-психиатр. Это была миловидная женщина средних лет, брюнетка, но я бы не сказал, что у нее были еврейские черты лица. Она меня тоже проверила, но почему-то не спешила делать запись в карточке, а начала меня очень внимательно разглядывать. Длилось это несколько минут, и под ее пронзительным взглядом я почувствовал себя очень неуютно.

«Ну все, конец, — подумал я, — сейчас она напишет: здоров. И что тогда? Куда бежать, что делать?» Ее коллеги тоже заметили эту задержку

и стали торопить. Время было позднее, а я — последний призывник.

«Что ты так долго думаешь? — сказал ей один врач. — Если в чем-то сомневаешься, направь его на обследование в больницу — и вся недолга!»

И вдруг она отвечает: «Зачем я буду парня мучить — разве вы не видите, что он больной?» И сделала соответствующую запись в карточке, да такую, что Советская армия могла обо мне позабыть надолго. Никаких объективных причин для такого диагноза у нее не было — я, слава Богу, ничем не хворал и уж, конечно же, не страдал психическим расстройством. Объяснить это я могу только одним — сработала трость-выручалочка отца Ребе, благословение Гершла Рабиновича вновь спасло меня!

Из-за армии мы, пятеро братьев, были вынуждены скитаться по всей стране. Если бы мы находились в одном месте, то сразу бы возникли вопросы: как это так, пятеро молодых ребят, и все, как один, больны настолько, что негодны к строевой?! Но и поодиночке приходилось постоянно остерегаться и предпринимать массу предосторожностей.

Пока на новом месте к человеку присматривались, проходило полгода-год, а то и больше. Мы жили в городе до тех пор, пока на нас не начинали из-за этих вот причин поглядывать с подозрением. И как только понимали, что вот-вот начнут приставать с вопросами, уезжали. Так вот мы и странствовали из города в город, из одной любавичской семьи в другую.

Во Фрунзе я попал в 1954 году. Почему именно во Фрунзе? Это особая история. Году в 1952–1953-м в Черновцах евреи наладили подпольный выпуск лент, которыми пользовались девочки и женщины, чтобы вплетать в косы. Самые обычные ленточки, но — Советский Союз, дефицит! Один еврей догадался, как из материала, который шел на производство постельных покрывал, изготавливать такие ленточки. Зарабатывали на этом просто колоссальные деньги: из ткани, которой хватало на производство одного покрывала стоимостью, скажем, сто рублей, можно было надеть ленточек стоимостью в десять тысяч рублей. Вы спросите, как до этого технологи на заводе не додумались? А вот так — советская власть, никому ведь ничего не надо.

А одному умному еврею эта идея в голову пришла, он все просчитал, проверил и организовал. Подпольно, конечно. Все ведь было государственное — и материалы, и оборудование. Даже если бы захотели работать официально, ничего бы не вышло — не разрешили бы.

Ну, наладили подпольное производство, а Черновцы — город небольшой, сколько таких ленточек можно продать? Надо было искать новые рынки сбыта.

Какие-то евреи — не любавичские — поехали во Фрунзе и открыли цех по изготовлению ленточек. Рынок там был неограниченный — местные девушки заплетают не одну, а сразу несколько косичек. Значит, и ленточек нужно намного больше. В этот цех срочно понадобились люди. И не про-

сто специалисты, способные выполнять всю работу, но и такие, на кого можно было положиться. Так я очутился во Фрунзе.

Произошло это в канун Песаха. Поселили меня в сарайчике, который размещался во дворе дома хозяина артели, где я работал. У него праздновали Песах и, конечно, с радостью пригласили бы и меня. Но там я есть не мог. Это была такая семья, которая в течение всего года ела трешное и только на Песах покупала кошерное мясо и мацу.

Податься мне было некуда, я ведь никого еще в городе не знал. Но, на мое счастье, одна наша хабадница из Черновцов, Шарона Куперман, дала мне письмо к тамошнему раввину. Что было написано в письме, я не знал, поскольку оно было запечатанным.

Отправился я в синагогу поздно вечером, чтобы меня увидели как можно меньше людей. А там как раз закончили выпечку мацы. Нашел раввина и отдал ему письмо. Он прочитал, подозвал к себе какого-то еврея: «Посмотри, как женщина пишет!» Тот прочитал, кивнул и бросил письмо в печку. Что там Шарона написала про меня, я так и не узнал. Наверное, что-то хорошее, потому что раввин принял меня как родного.

И тут же начал обсуждать с другими евреями, куда бы меня пристроить на Песах, в какую семью. Но я же был так воспитан, что на Песах ел только дома или у наших, любавичских, которым можно было верить, что они все, как это у нас принято, соблюдают.

Поэтому я и говорю раввину, что никуда не пойду, только к нему. Маца и пасхальное вино у меня есть — мама дала с собой, так что в еде я не нуждаюсь. Он согласился, но с неохотой. Я только потом понял почему. У него дети были коммунисты и зятья — коммунисты, которые к религии имели достаточно далекое отношение, скажем так.

И вот пришел я к нему в дом на пасхальный се-дер. Вижу большой, красиво накрытый стол. Вокруг него сидит много людей. Но вид их не оставляет сомнений в том, кто они. А один и вовсе без кипы. Я молодой был, горячий. Ну, думаю, — попал! Как же я в таком доме, где мужчины сидят за пасхальным столом с непокрытой головой, буду седер проводить? Как я могу здесь что-то съесть, ведь таким людям нельзя верить, что они соблюдают все тонкости кашрута. Мы тогда не знали принципа Ребе «у-фарацто» — что следует приближать к еврейству даже тех евреев, которые ушли от него очень далеко. В тех условиях у меня и в мыслях не было кого-то приближать к вере, я стремился сберечься самому и выжить.

Мы дома жили очень бедно, но на Песах мать прилагала просто колоссальные усилия, чтобы соблюсти все правила. Стол у нас был один, прокошеровать его на Песах было невозможно. Так мать клала на столешницу кусок фанеры и на него уже ставила пасхальную посуду. Один кусок фанеры, потоньше, был для холодной посуды, другой, потолще, — для горячей.

И когда я увидел этих людей за столом, у меня стало темно в глазах. Раввин-то сразу понял, что я буду себя в его доме чувствовать очень неудобно, и потому не очень хотел меня приглашать. Я настаивал, он согласился, и в результате я оказался в крайне неприятной ситуации.

Но пока я шел к нему через всю комнату — а раввин, как и полагалось, сидел во главе стола, — мне в голову пришла спасительная мысль. И когда я подошел к нему, то поздоровался, поздравил с праздником и сказал, что уже нашел себе место, где проведу седер. Там не хватает только хрена — не может ли он мне дать кусочек? Будто я только за этим и пришел. Я думаю, что раввин все сразу понял, но вида, естественно, не подал. Получил я этот хрен и вернулся к себе на квартиру.

Я попросил у хозяев кусок бумаги — в моей комнате не было ни стола, ни даже стула, чтобы разложить мацу. Они удивились: «Почему ты у раввина не остался?» Я не хотел, конечно, сказать что-то плохое про раввина и его семью и поэтому ответил, что стесняюсь раввина и хочу провести седер сам. Но они-то знали, что еды у меня никакой нет, только маца. От них я скрыть ничего не мог!

И тогда бабушка хозяина артели мне сказала: «*Ингале*⁶, ты же умрешь с голоду! Вот, у меня есть яйца, я сварила их, клянусь мамой, в новой кастрюле и на новой горелке. Это самое что ни на есть кошерное — возьми несколько яиц, ты

6 Ингале (*идиш*) — мальчик.

можешь их спокойно есть». Но я отказался: «Я ем только то, что моя мать готовит».

В общем, накрыл я свой чемодан бумагой, разложил на нем мацу, поставил бутылку вина, хрен и начал сам себе читать «Пасхальную агаду»⁷. А как закончил, устроил «пир» — мацу с хреном.

На следующее утро эта бабушка пошла в синагогу и рассказала раввину, что мальчик, который живет у них, просто умрет с голоду, потому что ничего не ест. Раввин попросил ее передать, чтобы я пришел в синагогу до Минхи, когда еще никого не будет, — он хочет со мной поговорить. И когда я появился, раввин подвел меня к одному еврею: «Второй седер ты будешь у него, в этом доме можешь есть без всякой опаски».

И действительно, в этом доме все очень походило на наш: на столе тоже лежал лист фанеры, горелки аж сверкали, их явно только что выдраили до блеска. И посуда была не закопченная, а чистая, значит, пасхальная, которой только неделю в году пользуются. А бабушка там сидела с сидуром в руках, что мне тоже сразу понравилось.

Этот еврей, звали его Нафтоли Дубинский, оказался брацлавским хасидом. Ну, разговорились мы, и он меня спрашивает: какой ты хасид? А я боюсь признаться, что любавичский, ведь именно нас советская власть ненавидела больше

⁷ «Пасхальная агада» (*záгада шель Песах*) — сборник благословений, молитв, песен и толкований на тему Исхода евреев из Египта. Чтение «Агады» сопровождает пасхальный седер.

всего. И мне дома наказали, чтобы я нигде и никому не говорил, что я — любавичский. Поэтому и своему гостеприимному хозяину я тоже на всякий случай решил в этом не признаваться и сказал, что мой отец из коцких хасидов.

Спустя какое-то время, когда я сошелся с этим евреем поближе и решился открыться ему, кто я есть на самом деле, то, к моему удивлению, мое признание вовсе не стало для него неожиданностью. Он мне рассказал, что еще в тот пасхальный вечер сразу понял, кто я: «У меня на столе лежали два молитвенника. Ты сперва взял *нусах Ашкеназ*⁸. Крутил его в руках и так и этак, а потом взял второй — *нусах Сфарад*, близкий к тому, по которому молятся хабадники. И сразу же начал по нему молиться. Тут-то мне все стало с тобой понятно, несмотря на твою сказочку про отца — коцкого хасида».

8 Исторически сложилось несколько различных нусахов, то есть молитвенных канонов. Следует отметить, что все расхождения между нусахами касаются деталей текстов, а общий порядок и основные моменты молитвы во всех нусахах одинаковы. «Нусах Ашкеназ» принят среди евреев — выходцев из Германии, Литвы, Белоруссии и из нехасидских общин Польши, Украины и России. Сегодня этот нусах распространен в основном в ашкеназских нехасидских общинах США и других англоязычных странах, а также в большинстве ашкеназских ешив в Израиле. «Нусах Сфарад» — нусах, принятый сегодня большинством хасидских общин. Важно отметить, что это нусах ашкеназских, а не сефардских евреев (сами сефардские евреи называют его *нусах хасидим*). Название этого нусаха связано с тем, что он разработан на основе идей Аризаля (рабби Ицхака Лурии, главы каббалистов города Цфата в XVI веке), а Аризалъ молился по сефардскому нусаху. «Нусах Сфарад» является сегодня распространенным нусахом в синагогах ашкеназских евреев в Израиле, а также в ашкеназских хасидских общинах США и других стран. «Нусах Ари» — нусах, составленный на основе идей Аризаля основателем хасидского движения Хабад рабби Шнеуром-Залманом из Ляд. Принят только у хасидов Хабада. Этот нусах является вариантом «Нусаха Сфарад».

Разговор этот произошел у нас месяца через три-четыре после пасхальной ночи. А вообще, после той ночи он уже меня от себя не отпустил, и я прожил в его доме несколько лет. Как потом я узнал, на том, чтобы оставить меня у них, особо настаивала его жена Геня: «Если мы его не пригласим, парень с голоду умрет; это наша обязанность».

А ведь ее муж Нафтоли всего за полгода до этого вернулся из лагеря, где отсидел шесть лет за еврейство. И несмотря на это, она настояла, чтобы меня, хоть и религиозного, но совершенно незнакомого парня, привели к ним в дом! Она рисковала очень сильно, но исполнила заповедь гостеприимства — *ѓахносас-орхим*. Эта женщина до сих пор живет в Иерусалиме, хотя с той пасхальной ночи прошло уже ни много ни мало пятьдесят три года!

Во Фрунзе я работал ткачом — так получилось, что вся наша семья занималась текстилем. В те годы это была очень тяжелая специальность, использовали старое оборудование, на котором приходилось работать обеими руками и обеими ногами. А зарплаты платили низкие. Поэтому на такую работу много желающих не находилось, и была очень большая нужда в кадрах. А когда есть нужда, уже не обращают особого внимания на «выкрутасы» имеющих работников.

Я думаю, что все мои начальники подозревали, кто я такой. Я ведь всегда ходил с покрытой головой, не участвовал в междусобойчиках, которые чуть ли не каждый день в обеденный пере-

рыв «организовывали» в цеху. А если и участвовал, то ничего не ел. И конечно, уж никак нельзя было не заметить, что по субботам я не появлялся. Пусть под разными предлогами, но факт оставался фактом: на производстве меня в субботу никогда не было. То есть начальство все знало. И закрывало глаза — где они еще могли найти молодого парня, согласного на такие условия и на такую зарплату? В общем, мы сохраняли некий статус-кво в наших отношениях — они смотрели сквозь пальцы на мои религиозные дела, а я, в свою очередь, прилежно работал, никогда не просил повышения зарплаты и не жаловался на условия. Короче, это устраивало и их, и меня.

Потом я перебрался из Фрунзе в Ташкент, и почти сразу женился. Моя невеста была из «смешанной» семьи — любавичских и махновских хасидов. Появилась семья; чтобы ее содержать, надо было зарабатывать больше. И я освоил новую специальность — фотометаллографию. Выпускали мы металлические таблички, которые наклеивали на оборудование. На этих табличках были указаны показатели оборудования — сколько ватт, сколько лошадиных сил, название завода.

Нас в артели было восемь хабадников, по субботам мы все приходили в цех, открывали двери, крутились, чтобы нас было видно, но, конечно, ничего не делали. На тот случай, если появится кто-то из районного начальства или инспектор и поинтересуется, почему мы не работаем, у нас была приготовлена отговорка: трудились с само-

го утра в поте лица, а сейчас готовимся отметить день рождения одного из членов артели. Для этого на столе всегда стояли тарелки с какой-нибудь едой и бутылка водки.

Проверяющие приходили не часто, но приходили. Мы тут же наливали гостю стакан водки, подносили закуску. Это всегда действовало безотказно — проверяющий сразу размякал, желал мнимому имениннику здоровья и успехов. Выпивал с нами еще и спокойно уходил. То, что мы пили на рабочем месте, никого не удивляло — так было принято в той стране. Главное, что план в конце месяца мы выполняли, поставки не срывали и скандалов у нас на работе не случалось.

Но, конечно, постоянно сваливать на день рождения мы не могли, поэтому время от времени меняли легенду. Довольно часто мы проделывали следующий «фокус»: выворачивали в пятницу пробку и, когда проверяющий приходил, говорили — стоим, потому что перебои с электричеством. Ну и, как это тоже было там принято, бригадир потихоньку совал проверяющему в карман заранее приготовленный конвертик с деньгами. Вместе с водкой это производило просто потрясающий эффект.

Первое время мы по субботам вообще не приходили в цех. Но однажды случился казус. Одним из наших заказчиков был завод «Ташсельмаш» — огромное предприятие, на котором работали двадцать тысяч человек. И так вышло, что суббота выпала на последний день месяца. К нам

в цех приехали с завода, чтобы взять партию табличек, которые они хотели в тот же день наклеить на свою продукцию. Ждать они не могли ни минуты — последний день месяца, план горит синим пламенем! Без этих табличек ОТК⁹ продукцию не принимал. Но цех был закрыт, и они, поцеловав замок, убрались восвояси несолоно хлебавши.

Скандал разразился грандиозный! Хотя все таблички у нас были готовы и мы их сдали на следующий же день рано утром, по нашей вине чуть было не сорвали выполнение плана. Чтобы двадцать тысяч человек не остались без зарплаты, заводу пришлось работать в воскресенье. Мы как-то сумели оправдаться: мол, отмечали что-то у кого-то дома, а таблички были готовы и ждали заказчика, мы ведь не могли знать, что они приедут именно в субботу. Но с тех пор решили приходить по субботам и находиться на рабочем месте.

А чтобы подстраховаться, в пятницу всегда направляли «разведчика» в нашу головную контору. Он должен был вызнать, придут ли к нам проверяющие в субботу, не ожидается ли срочный заказ и т.д. А чтобы тот «прокол», который случился с «Ташсельмашем», не повторился, мы специально держали одного нееврея — он мог бы отпустить товар и в субботу.

Как-то раз прихожу я в пятницу в контору, и как увидел меня наш начальник, аж криком

9 Отдел технического контроля. — Прим. ред.

кричит: «Я уже за тобой думал посылать, у меня к вам срочное дело!»

Наш цех располагался на территории стадиона. Само футбольное поле было в стороне, но мы относились к «хозяйству» директора. Он частенько давал нам разные поручения, и хотя все они вовсе не относились к нашим обязанностям, мы не спорили. Лучше было потратить время и силы, но не вызывать его гнев. Он ведь мог начать к нам придирааться, совать всюду свой нос и тогда быстро бы выяснил, какие люди работают в артели и, главное, как работают.

В тот раз начальник нашей конторы мне объяснил, что директор стадиона обратился к нему с особой просьбой. «Завтра приезжает футбольная команда из Москвы, так что вы с утра почистите поле. Уберите листву, снег, если выпадет. Короче, сделайте так, чтобы команда смогла провести тренировку», — сказал мне начальник и даже не стал меня слушать, а сразу же выставил за дверь, сославшись на срочный телефонный звонок.

Побежал я к своим товарищам с этой плохой вестью, и сели мы совещаться — что же делать. Отказаться нельзя — если поле окажется непригодным для тренировки, директору так влетит, что он на нас потом долго будет злобу вымещать. Но и субботу нарушать нельзя! Кто-то предложил: давайте вообще не придем. Но Мотл Козлинер возразил: «Это уже будет смахивать на забастовку». А в государстве рабочих забастовки были чуть ли не главным преступлением. Думали мы,

думали, но так ничего и не придумали. И решили: завтра придем на стадион, но убирать не станем. И Бог поможет!

Вышел я из дому рано, в полной темноте. На стадион надо было явиться к восьми, а мне до него — час ходьбы. Иду и ничего вокруг себя не вижу, одна мысль в голове: что будет, что будет? Ночью еще, как назло, снег выпал, все запорошил. Пришел я на стадион, а директор уже стоит. И на меня даже не смотрит, а все поглядывает на поле, которое за ночь хорошо снегом завалило. Какая уж там футбольная тренировка — на нем впопыхам лыжные гонки устраивать!

И тут я решился. Подошел к директору и говорю: «Ты ведь знаешь, мы тебе ни в чем никогда не отказывали. Все твои просьбы всегда выполняли. Но сегодня не получится». Он ничего не ответил, видимо, по моему решительному тону понял, что спорить бесполезно. Только зубами заскрипел и ушел.

В цехе уже все наши хабадники собрались. Настроение, понятно, вовсе не субботнее — скорей всего, придется с этой работой распрощаться. А где ж найти новую, чтобы можно было без опаски молиться, заповеди соблюдать? Жалко было терять такое насиженное место, где все уже наладили, организовали. Но делать нечего — суббота есть суббота.

А кончилось все благополучно. Нашел директор других людей, почистили они снег, тренировка прошла замечательно. Директор получил благодарность за отличную и своевременную подготов-

ку поля и был до того доволен, что махнул на нас рукой. Так ничего нам и не сделали. Прошла эта гроза стороной, минула, будто и не было ее вовсе.

Я многократно убеждался: если крепко стоишь на своем, субботу и заповеди не нарушаешь — то Бог помогает! Несколько раз из-за субботы передо мной ставили, что называется, вопрос ребром: или ты работаешь по субботам, или мы тебя увольняем. Я всегда отказывался, и всегда — всегда! — мое начальство шло на попятную и не выгоняло меня.

Так я и прожил в СССР, пока не уехал в 1966 году в Израиль. Меня не арестовывали, не преследовали, и хотя я жил в постоянном страхе, но никогда заповеди не нарушал. Я могу с гордостью сказать: даже в Советском Союзе, в самые жуткие годы антирелигиозного засилья, мы были верными хасидами, соблюдали заповеди, учили Тору и никогда не шли на компромиссы. К счастью, мне не пришлось проверить свою веру в испытании тюрьмой, как многим товарищам моего отца. Но, думаю, даже если бы я оказался в лагере, то воспитание, которое получил в семье, помогло бы мне выстоять, не сдаться и даже не пойти на компромиссы. Ребе Раяц был прав: если хасид бросается в огонь, но не отдает своих детей молоху чуждой идеологии — большевистской или какой другой, — то дети вырастают настоящими евреями, настоящими хасидами Ребе. Это и есть главный вывод из истории моей жизни.

ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО

Дов-Бер Прусс

Меня зовут Дов-Бер Прусс, я родился в 1934 году в Ленинграде, в религиозной семье Шмуэля-Лейба и Штерны-Соры Прусс. Родители были любовичскими хасидами и в этом же духе воспитывали своих детей — меня и моего младшего брата Зушу¹. Отец зарабатывал на жизнь в швейной артели, а жили мы в квартире моего деда. Это была очень большая квартира, с несколькими комнатами размером в тридцать и даже сорок квадратных метров. В одной из таких комнат, напоминавшей, скорее, зал для бальных танцев, и жили мы с родителями. А в других — бабушка с дедушкой и тети.

В этих больших комнатах проходили фарбрены. Наша квартира находилась неподалеку от главной синагоги Ленинграда, поэтому у нас вечно толпился народ. А когда наступал праздник Суккот, то мать и тетки готовили полные кастрю-

¹ См. с. 9: «Счастличик» (Зуша Гросс).

ли еды для тех, кто сидел в сукке, и таскали туда эти кастрюли — благо это было совсем рядом.

Самое сильное воспоминание моего детства — арест отца в сороковом году. Пришли, как это тогда было принято, к нам домой ночью, арестовали отца и начали проводить обыск. Помню чекистов, одетых в длинные кожаные плащи, в серые военизированные френчи, наподобие того, что носил Сталин. Не знаю, что они искали, на каком основании делали обыск. Проводили его только в нашей комнате, а протокол почему-то писали в комнате у бабушки. Писали долго, и мне с братом надоело сидеть спокойно.

Мы начали играть: взяли игрушечные винтовки и стали маршировать по всей квартире, распевая песни: «Если завтра война, если завтра в поход», «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин» и другие, которые все пели в те годы. Научили нас этим песням тетки. Они были не так религиозны, как моя мать, и в большей мере жили жизнью «советского народа». Маршировали мы, естественно, и по комнате бабушки. Чекисты на нас недовольно поглядывали, но ничего не сказали.

Как выяснилось потом, это пение сыграло определенную роль в освобождении отца. Когда чекисты, проводившие обыск, показали в НКВД составленный ими протокол, то сказали: «Нас инструктировали, что мы идем в семью религиозных мракобесов, а их дети вовсе на мракобесов не похожи, обычные советские мальчишки, поющие нормальные песни. Разве это религиозная семья?»

Помогло и то, что швейная артель, которой заведовал отец, работала также и на НКВД — шила форму или что-то там еще. После ареста отца мать бросилась по всем инстанциям. В том числе пришла и к непосредственному начальнику отца. Тот оказался порядочным человеком, не испугался, позвонил кому-то в НКВД и походатайствовал. Продержав отца всего лишь три дня в тюрьме предварительного заключения, его отпустили, так и не предъявив никакого обвинения. Можно сказать, что он легко отделался, хотя в тот момент перепуг у нас в семье был, конечно, немаленький.

После начала войны мы оказались в Ташкенте. Но тут случилась трагедия — наша мама скоропостижно скончалась. А вскоре отца посадили на девять лет. Хотя официально это был срок за экономические преступления, всем было ясно — взяли его потому, что он был не просто религиозным евреем, а любавичским.

Мы с братом остались одни: мать — в могиле, отец — в тюрьме. Родственники где-то далеко, всех разбросала война. Приехала, правда, одна из теток и помогла нам на первых порах. Но спасли нас любавичские хасиды: передавали из семьи в семью, кормили, одевали, отогревали семейным теплом.

Долго такая ситуация продолжаться не могла, и хабадники отправили меня в Самарканд, в ешиву. Я в ней учился, в ней же и жил. Собственно, это не была ешива в нынешнем понимании этого слова. Отдельного здания не существовало, да и не могло существовать. Несмотря на то что в Узбеки-

стане порядки были не такие жесткие, как в России, — то есть власти смотрели более либерально на еврейскую религиозную жизнь, контроль все равно был, и достаточно плотный. Но в нем можно было найти прорехи, и наши хасиды пользовались этим вовсю, умудряясь в условиях советской власти содержать подпольные хедеры и подпольную ешиву, в которой учились тридцать — сорок ребят. Тем самым они стремились по мере возможности выполнить указание Ребе Раяца о том, чтобы давать детям религиозное образование.

Большинство учащихся ешивы жили дома и приходили лишь на занятия. Но у нескольких мальчиков вроде меня либо вообще не было родителей, либо по каким-то причинам их не было в Самарканде. Я, Менди Агаронов, отец Йосефа-Ицхака Агаронова, нынешнего руководителя молодежной организации Хабада в Израиле, и Меир Грузман — он сейчас глава ешивы в Кфар-Хабаде — жили в синагоге. Мы учились в ней целый день, а ночью готовили себе импровизированные кровати — устанавливали на кирпичях доски и застилали их каким-то тряпьем. Укрывались собственными же пальтишками. Мы ложились спать поздно вечером, а вставали рано утром и первым делом убирали доски, чтобы никто не увидел. В синагоге ведь спать запрещалось.

Ели мы тоже в синагоге. Несмотря на то что Узбекистан — благословенный, богатый край, голод был тогда страшный. Люди умирали прямо на улицах, у меня до сих пор стоят перед глаза-

ми эти страшные сцены — трупы, валяющиеся на мостовой.

Нам в ешиве с утра давали ломоть хлеба, днем — двенадцать рублей. На них мы покупали пятьдесят граммов изюма и кусок хлеба. А вечером мы «ели дни». Этот термин, вряд ли кому-то понятный сегодня, означает, что ешиботников распределяли между хабадскими семьями, которые добровольно обязывались их кормить. А в те годы это было совсем непросто. Каждый вечер мы приходили в другую семью, нам давали суп, тарелку каши. Сытыми мы, конечно, не были, но и не умирали от голода.

Но через какое-то время возникла новая проблема. Одежда наша поистрепалась, порвалась, ботинки разлезлись. И реб Нисан Неменов, который вместе с реб Йоной Каганом руководил ешивой, где-то умудрились достать деньги, купили материю, кожу и заказали нам всем нижнее белье, штаны, рубашки, телогрейки и ботинки. Так что, кроме духовной пищи, мы получали и материальное довольствие.

И хотя в те голодные годы оно было чрезвычайно важным, самое главное, что я приобрел, — это духовная закалка на всю оставшуюся жизнь. Можно сказать, что до сих пор я питаюсь духовной пищей, усвоенной в самаркандской ешиве. Причем это касается не только знаний по хасидизму, Торе, но и правил поведения, моральных норм. Расскажу об одном случае, который я запомнил на всю жизнь.

Хотя в синагоге мы устроились неплохо (по нашим тогдашним понятиям), все-таки проживание в ней молодых ребят было довольно опасным делом,

поскольку рано или поздно привлекло бы внимание властей. Поэтому нас расселили по семьям. Я жил у реб Михаэля Тейтельбойма. У него не было детей, и жена постоянно проходила курсы лечения. Как-то раз ее вызвали в больницу перед Рош а-Шона; она так долго ждала этого лечения, что отказаться было уже невозможно. И она отправилась в Ташкент.

А какие трапезы без хозяйки дома, тем более в праздник Рош а-Шона, длящийся два дня подряд? Реб Михаэль напросился к кому-то в гости и меня устроил к одному хасиду — Исроэлю Левину (Липовичеру). Тогда вся любавичская община была как одна семья, поэтому никаких проблем не возникло. Вернулись мы вечером из синагоги, уселись за праздничную трапезу. Хоть и жили все небогато и времена стояли трудные, но на первую трапезу Рош а-Шона хозяева расстарались. Ведь не зря эти два дня называются не «начало года», а «глава года». Как голова определяет, что делает все тело, так и эти два дня задают тон тому, каким будет весь наступивший год. Короче говоря, на столе были не только халы и салаты, а даже рыба.

И тут слышим стук в дверь. Открыли — на пороге стоит незнакомый еврей. Выглядел он так, что краше в гроб кладут. Тогда много было отощавших людей, но этот отличался какой-то особой изможденностью. Увидел хозяин дома такого гостя и даже спрашивать его ни о чем не стал, тут же усадил за стол. Налил стакан сладкого чая, положил хлеба, рыбы, салатов. И только когда тот поел, попросил его сказать праздничный кидуш и сделать не-

*тилас ядоим*². Поведение хозяина стало для меня уроком на всю жизнь: сперва накорми голодного, а уж потом говори с ним о духовности, о вере.

Подобная история произошла и с моим отцом. В 1949 году он освободился из лагеря и приехал в Ташкент точно на праздник Суккот. По существовавшим тогда правилам он первым делом должен был явиться в милицию для прописки. Но отец сначала пришел в синагогу, на молитву. Там он встретил своего знакомого, который, понятное дело, — после стольких лет! — принялся отца расспрашивать, что да как. Отец рассказал, что он прямо с поезда, даже не поел, поскольку негде, а после молитвы сразу уезжает в район Карасу, чтобы прописаться.

Реб Шмуэль Гальперин (тоже наш, любавичский) услышал этот рассказ, прервал молитву, сложил талит и сказал отцу: «Сейчас ты пойдешь со мной и поешь». Они зашли к нему в сукку, отец поел, и реб Шмуэль поел вместе с ним, ведь отец один бы не стал есть. Когда отец ушел, реб Шмуэль вернулся в синагогу и стал домаливаться.

А он был известен тем, что старался соблюдать заповеди во всех, даже малейших, подробностях. И вот получается, что он в праздничный день взял да и ушел из синагоги с середины молитвы. Естественно, нашлись «добрые люди» — без таких ни одна синагога не обходится, — которые поинтересовались у него: как это он вдруг прервал молит-

² Нетилас ядоим (нетилат ядаим) — ритуальное омовение рук, совершаемое перед трапезой с хлебом.

ву? А реб Шмуэль спокойно ответил: «В такой ситуации накормить человека — это и есть молитва».

Вот так я научился тому, что называется еврейской взаимовыручкой. Научился тому, как надо любить ближнего не на словах, а на деле. А в те голодные годы высшим проявлением такой любви был кусок хлеба, которым с ним делились. Меня, по существу сироту — никто ведь не знал, когда вернется отец, да и вернется ли вообще, — не бросили на произвол судьбы, не отдали в детский дом, а годами учили, кормили, опекали даже не то что не родственники — незнакомые мне люди, которые видели меня в первый раз в жизни.

Но вернусь к ешиве. Она располагалась в *махалля* — квартале бухарских евреев Самарканда, и, чтобы не вызывать подозрений, занятия проходили в разных местах. В одном месте младшие учили Хумаш и Гемору, в другом те, кто постарше, — учение хасидизма. Я провел в этой ешиве все военные годы, и, несмотря на опасения, никаких особых проблем с властями так ни разу и не возникло — и не только из-за того, что, как я уже упоминал, в национальной республике порядки были менее жесткими. Но еще и потому, что официально ешиву держали польские евреи. А поскольку они были иностранцами, на них смотрели сквозь пальцы. И позволяли им то, что советским гражданам категорически запрещалось.

Вот так в Самарканде практически официально функционировала ешива. Наши любавичские были не лыком шиты и использовали ее как кры-

шу. Я думаю, что подавляющее большинство учеников той самаркандской ешивы были вовсе не польские беженцы, как это считалось официально, а наши: хабадники и дети бухарских евреев.

Но когда война закончилась, польские евреи сразу же начали уезжать. Кто куда — в Польшу, Палестину. Нас это вроде бы не касалось. Но уже через несколько месяцев они почти все разъехались, и тогда сразу стало понятно, что в ешиве не может быть такого большого числа учеников. И произошло то, чего мы и опасались все годы, — власти заинтересовались ешивой.

К одному любавичскому хасиду по прозвищу Жук (он был смуглым) пришли люди из органов и начали расспрашивать о реб Нисане Неменове — кто он да что он. Жук, понятно, почти ничего не рассказал, кроме самых общих сведений, которые они и так без него знали. А когда эмгэбэшники убрались, он тут же прибежал к Неменову и все рассказал. Реб Нисан медлить не стал — в подобной ситуации промедление было воистину смерти подобно — и в тот же вечер тайком уехал из Самарканда. В ешиву стало ходить опасно, и занятия в ней отменили.

Меня переправили в Ташкент, где я прожил еще два года. Вновь меня передавали из семьи в семью, и вновь ни у кого не возникало никаких вопросов. А ведь это была не просто обуза — еще один рот вдобавок к собственным детям, — а смертельная опасность. Но хабадники помогали всем евреям, не считаясь ни с чем.

Когда отец вернулся из лагеря, он очень быстро открыл артель и начал зарабатывать. Я помогал ему чем мог. Как-то раз, когда я был в цехе, приехали эмгэбэшники и стали расспрашивать про отца. Они прошли в комнату конторы, размещавшуюся на втором этаже, и спокойно так сидели, говорили. А я будто невзначай подошел к окну и украдкой посмотрел вниз. Сердце у меня так и обмерло: машина, на которой они приехали, стояла возле дома. Это был страшный знак. В те годы, если подобная машина не уезжала, это означало только одно — кого-то пришли арестовывать.

Но отца, на счастье, не было, он поехал в главную контору. Поскольку меня эмвэдэшникам никто не представлял и они не знали, что я — сын того самого Прусса, я выскользнул за дверь, поймал какую-то машину и помчался в контору. Отец тут же скрылся у знакомых, живших на другом конце города. Он задействовал все свои связи, выправил другой паспорт и тайком уехал в Ригу. Я и брат переехали к нему через полгода.

В Риге мы оказались за три недели до Песаха. Вино кошерное мы привезли с собой из Ташкента, оставалось только достать мацу. С этой целью отец направил меня в еврейскую общину маленького городка Резекне, в которой тогда пекли мацу.

Городок этот располагался на другом конце Латвии, и добираться до него надо было всю ночь на поезде «Рига–Москва». Обратный поезд тоже проходил Резекне ночью. Я останавливаюсь на этой, казалось бы, незначительной подробности,

поскольку она сыграла в моей жизни очень большую роль.

Я приехал, нашел место, где делали мацу. Это был не цех при синагоге или пекарня, переоборудованная для производства мацы, а просто частный дом с большой печью. Раввин городка получил от властей разрешение испечь в ней мацу для своей общины. Латвия совсем недавно оказалась в составе СССР³, и поэтому власти были относительно либеральны к местному еврейскому населению и к его религиозным обычаям. Но разрешение это касалось только местных жителей.

Я все это быстро разузнал и решил, что ничего страшного не произойдет, если я потихоньку испеку, вместе с другими, мацу и для себя. Подумаешь, решил я, одним евреем больше, одним меньше. Кто заметит? Тем более что собирался я печь не тонны мацы, а всего несколько десятков килограммов.

Но, понятное дело, я хотел печь мацу первым и тем самым избежать опасений, что на инструментах или на поддонах печи может оказаться хомец⁴. Ведь у нас, любавичских, пасхальные правила очень жесткие. А уж в вопросе мацы тем более. Смесь воды с мукой через семнадцать минут превращается в хомец — и точка. Поэтому я и хотел быть первым — печь и все орудия производства чистые, нет опасения, что на них налипнет мука,

3 Латвия попала в сферу влияния СССР в 1939 г., согласно пакту Молотова–Риббентропа, в 1940 г. стала советской республикой, однако в 1941–1944 гг. находилась под германской оккупацией. — *Прим. ред.*

4 Хомец (хамец) — квасное, запрещенное к употреблению в Песах.

впитавшая воду, то есть хомец. А уж за тем, чтобы их тщательно очищали от крошек и комков во время самого процесса, я брался следить сам.

Кроме того, я потребовал, чтобы в ходе изготовления муки в чан засыпал один человек, а заливал в него воду другой. То есть чтобы тот, кто засыпает муку, не имел дела с водой и тем самым вероятность того, что у него на руках или на одежде могут скопиться комки муки с водой, была бы сведена к минимуму.

Хозяин печи сказал мне: «Пожалуйста, если заплатишь, я готов поставить двух человек — только плати». Деньги отец мне дал, а я с детства был научен: когда речь идет об исполнении заповедей, ничего жалеть нельзя. Тем более — денег. И уж, конечно, когда они есть. Ведь деньги — это всего лишь инструмент для исполнения заповедей, а не наоборот. Я, конечно, заплатил, хотя и видел, что на хозяина печи это произвело сильное впечатление.

Дело было в воскресенье, и, поскольку на вечер кто-то уже эту печь арендовал, я остался еще на сутки. После каждой смены печь чистили, и я хотел испечь свою партию мацы первым после этой чистки. Днем я зря времени не терял — купил на базаре теленка и договорился с тамошним шойхетом. Он зарезал теленка и разделал его, так что я раздобыл и мясо на Песах.

Наступил вечер, я быстро испек мацу — рабочие были опытные, дело спорилось. Да и сколько времени нужно на выпечку двадцати килограммов мацы?

Я заранее все приготовил: мясо сложил в чемодан, мацу — в ящик из-под папирос. Их тогда поставляли в магазины в больших фанерных ящиках, то есть хомеца там быть не могло. Днем я купил такой ящик, выстелил его изнутри бумагой. Вся моя маца аккуратно поместилась в этот ящик.

Я погрузил его вместе с чемоданом на санки, запряженные лошастью, которую тоже нанял еще днем, и поехал на вокзал. Поезд «Москва–Рига» проходил через Резекне примерно в полночь, и у меня еще оставалась пара часов до его прибытия. Можно было бы дожидаться поезда в отапливаемом здании железнодорожного вокзала, но я почему-то был неспокоен.

Что-то меня тревожило, как-то было не по себе, хотя никаких признаков для беспокойства я вроде бы не видел. Никто за мной не следил, городок был тихий, сонный, находился я в нем чуть больше суток и внимания не привлек. А через час-полтора тихо и спокойно уеду. Но на душе почему-то кошки скребли. Поэтому мне очень не хотелось крутиться на вокзале. Он там был маленький, каждый пассажир как на ладони.

И я решил, что на вокзал не сунусь, буду дожидаться поезда в санках. Хотя у меня был теплый тулуп, мороз все равно пробирал до костей. Но я подумал, что уж лучше немного померзнуть, чем искать себе неприятности в теплом вокзале. Чтобы в нем вообще не показываться, я попросил хозяина санок пойти в кассу и купить мне билет.

Так я и просидел в санках до самого прихода поезда. Но даже когда он остановился на платформе, я не сел в него, а дождался самой последней минуты. Хозяин санок затащил мои чемодан с ящиком в купе, а я заскочил в вагон только перед тем, как поезд тронулся. Замелькали за окном домики Резекне, я устроился на своем месте и подумал, что, наверное, перегнул палку, мог бы и не предпринимать такие меры предосторожности и не мерзнуть на улице. Все прошло тихо, без сучка и задоринки.

Когда я приехал в Ригу, отец у меня спросил: «Как было?» Я ответил: «Никаких проблем, спокойно приехал, спокойно испек мацу, купил мясо и вернулся».

Через тридцать лет, когда я уже давным-давно жил в Израиле, на Юд-тес кислев приехал в Кфар-Хабад раввин из Тель-Авива. Это был известный и уважаемый в среде любавичских хасидов человек, хотя и не хабадник. Его хотели посадить на трибуну почетных гостей, установленную в центре синагоги. Он отказался и сел внизу, за один из общих столов. Мы с отцом случайно оказались рядом с ним. Ну, как это водится на фарбрэнгене, выпили по рюмочке, разговорились. И он, между прочим, упомянул, что был раввином в Резекне.

«О, как интересно! — воскликнул я. — Мне этот город знаком. Я там лет тридцать назад как-то раз пек мацу». Раввин аж подскочил: «Так это был ты?» — и рассказал, что после моего отъезда к нему в синагогу появились эмгэбэшники: «Тут

парень один любавичский крутился — где он?» Раввин объяснил, что да, действительно, показался какой-то парень, но кто он, что он, откуда приехал и зачем — никому не известно. В синагоге он был всего несколько минут и тут же ушел.

Это была правда, хотя, понятно, не вся. Но подробности про мацу эмгэбэшникам было знать не обязательно. Раввин поэтому говорил спокойно и очень уверенно: ведь он действительно не врал. Эмгэбэшники вряд ли ему поверили, и один из них даже воскликнул в сердцах: «Мы же его все время пасли! И как он сумел ускользнуть в последнюю минуту, когда его должны были взять с поличным!» Раввин повторил, что ничего не знает. Но эмгэбэшники на этом не успокоились и мучили его, вызывая на допросы еще несколько месяцев, допытываясь про меня.

— Но как они узнали, что я любавичский? — спросил я у раввина. — У меня же на лбу не было написано. Это в нынешнем Израиле у всех своя «форма одежды» — посмотришь, как и какую парень шляпу носит, и сразу ясно, кто он — любавичский или гурский хасид. Но когда я приезжал в Резекне, был одет, как все. И даже по тому, что я не снимал головной убор, тоже нельзя было определить, что я религиозный, — было холодно, в шапках все ходили.

— Ну, это уж совсем просто, — ответил мне раввин, — какой же молодой парень в те годы мог потребовать, чтобы один человек заливал воду в чан, а второй сыпал муку? Только любавичский и мог.

Когда мы с отцом слышали этот рассказ, то у нас так задрожали руки, что водка из рюмок, которые мы держали, чтобы сделать лехаим за встречу, расплескалась. Только в тот момент мы поняли, какой беды я чудом, просто чудом избежал. От какой опасности ускользнул, даже не поняв, что она надомной нависла. Если бы меня тогда схватили на нелегальной выпечке мацы для евреев другого города, как это планировали эмгэбэшники, да еще и на доставке мяса, то светил мне срок, и немаленький!

Причем упекли бы меня за решетку не за «еврейские дела», не за подготовку к Песаху, а просто за спекуляцию мясом. У меня ведь в чемодане было килограммов сорок этого мяса, что в те голодные годы было большим достоянием. Я, понятно, никогда бы не рассказал, что везу его для нашей подпольной любавичской общины. Я бы, с Божьей помощью, никого бы не выдал, все взял на себя и оказался бы в зоне на многие годы.

У меня никогда не возникало вопросов: если надо что-то сделать для людей, для общины, кому-то помочь — значит, надо. Меня же спасали в годы войны, не считаясь ни с чем, и тем самым преподали урок на всю оставшуюся жизнь. Да и вся жизнь моего отца тоже была посвящена помощи евреям. Наш дом в Риге был центром небольшой хабадской общины, у нас проводили фарбрэнгены, отец мой держал подпольную кассу цдаки⁵ и с ее помощью помогал людям. Приведу всего лишь несколь-

⁵ Благотворительности.

ко случаев из той многогранной и многоплановой общинной деятельности, которую десятилетиями вел мой отец и его ближайшие друзья в Риге.

Как-то к нам приехала из Черновцов дочь реб Мойше и рассказала, что там затеяли строительство миквы, но денег катастрофически не хватает. Она привезла с собой письмо, в котором была описана вся ситуация. Отец тихо и быстро собрал деньги. Миква в Черновцах была построена и многие годы служила евреям. Для тех, кто живет еврейской жизнью, особенно жизнью хасида, миква — чрезвычайно важный, я бы даже сказал, первостепенный элемент общинной жизни. Существует даже правило: если в общине нет миквы, то она имеет право продать свиток Торы, чтобы раздобыть деньги на ее строительство. Кстати, и в Риге отец с друзьями тоже сумели построить микву.

Для этого нужно было собрать много денег. Но проблема состояла не только в том, чтобы собрать, но и в том, как их легально передать в синагогу. Надо было отдать их так, чтобы комар носа не подточил. И когда отец узнал, что в один из вечеров в синагоге будут собирать среди прихожан деньги для миквы, он со своим другом Шломо Фейгиным будто бы случайно именно в этот вечер пришел в синагогу. Сели они в зале, помолились Маарив, и когда габай⁶ начал ходить с кружкой, в которую бросали пожертвования, то не мог их обойти, они ведь специально сели в переднем ряду. Отец со своим

6 Староста синагоги.

приятелем дали сразу большую сумму, и денег оказалось достаточно, чтобы строительство началось.

Было известно, что рабочие воруют, и чтобы у них была заинтересованность, то есть чтобы они могли положить что-то и в свой карман, отец и его товарищи дали в четыре раза больше денег, чем нужно. Расчет был такой: пусть украдут, лишь бы построили быстро и хорошо.

Но когда микву уже выстроили, возникла новая серьезная проблема. Габай хотел дать ключ от нее одному из «двадцатки»⁷. А в нее входили в основном люди, подобранные Комитетом по делам религий. Это были евреи, и даже религиозные, но те, кто на первое место ставил собственное благополучие и уж ни в коем случае не собирался ни по какому поводу ссориться с властями. Если бы ключ от миквы — по существу, контроль над ней — находился у такого человека, это свело бы на нет все наши усилия по ее строительству.

Ведь миква была нужна нашим хабадникам, чтобы в нее ходили не только женщины, но и мужчины. По нашим любавичским обычаям перед всеми праздниками и в субботу перед утренней молитвой нужно пойти в микву. Да и просто порой — перед уроком по хасидизму. Миква — вещь очень важная и очень сильная, помогающая очиститься от духовной скверны. Но как это объяснишь члену «двадцатки», все мысли которого — «как бы чего не вышло»? Для него чем меньше на-

7 Совет еврейской общины в СССР.

роду будет в эту микву ходить, тем лучше. А нам — как раз наоборот.

И тогда отец пришел снова и снова пожертвовал синагоге немалую сумму. Он ведь с друзьями в синагогу не ходил, это было опасно, могло сразу же привлечь внимание, и они оказались бы на мушке у органов. Поэтому отца никто особо не знал в синагоге. И вот снова подходит к нему габай с кружкой. Увидел отца, радостно закивал ему в надежде, что он опять не поскупится. Но на этот раз отец не положил деньги молча, как раньше, а спросил: «На что идут средства, которые вы здесь собираете?»

Куда эти деньги девались, как их распределяли, никому на самом деле известно не было — это все решала даже не «двадцатка», а несколько особо избранных. Ну, габай, понятно, сразу же нашелся: «На микву». Это ведь была самая большая и официальная тогда статья расходов в синагоге. Отец сделал вид, что ничего не понимает, и перепросил: «А что это такое?»

Габай смекнул, что имеет дело с богатым, но неграмотным евреем, которому надо будет битый час растолковывать, что такое миква и для чего она нужна, и потому ответил кратко: «Это — религиозная вещь».

«Ну, если религиозная, то заведовать ею тоже будет, наверное, самый религиозный?» — с видом простака спросил отец, вытащил несколько крупных купюр, но не положил их в кружку, а оглянулся по сторонам, будто бы ища подходящего кандидата.

А неподалеку от него уселся, как это было заранее между ними договорено, один из немногих по-настоящему религиозных прихожан синагоги — Мордехай-Арон Фридман. И отец ткнул, будто случайно, пальцем в него: «Вот, наверное, этот, с большой бородой. Пусть он ею и ведает».

Посмотрел отец на габая и только тогда положил деньги в кружку. И тут произошло чудо: габай при нем дал ключи от миквы этому Мордехаю Фридману.

Почему чудо? Да потому, что даже за большую сумму нельзя было такого добиться, ведь хотя для руководства синагоги деньги и играли важную роль, но самым главным были хорошие отношения с властями. А рассчитывать на такие отношения при активной работе миквы было бессмысленно.

Приведу еще несколько примеров помощи, которую оказывали евреям отец и наша рижская любавичская группа. Почти сразу после того, как он обустроился в Риге, отец начал разыскивать своих друзей, сидевших за веру в лагерях. Он нашел двух братьев Йосефа и Мулю Мочкиных⁸ и начал отправлять им посылки. Такие посылки очень сильно поддерживали заключенных — и не только находившимися в них продуктами. Сам

8 Мочкин Иосиф Перцович родился в 1920 г., в 1946-м находился на нелегальном положении во Львове, где финансировал и участвовал в организации нелегального выезда нескольких сот семей любавичских хасидов из СССР. В 1950 г. арестован, приговорен к 10 (?) годам ИТЛ. Отправлен в лагерь, откуда в 1961 г. освобожден, в 1966-м выехал в Канаду, с 1967-го — в США; Мочкин Шмуэль Перцович родился в 1918 г., дальнейшая его биография близка к биографии брата.

тот факт, что незнакомые люди помнят о них, заботятся, означал, что их пребывание в лагере не просто потеря времени. Это также означало, что они, находясь в заключении, но стремясь соблюсти максимально возможное число заповедей, выполняют функцию, важную для других евреев.

Но от нашей семьи, да и от других хабадников в Риге посылки отправлять было нельзя. Это сразу было бы замечено, эмгэбэшники, и так державшие всех нас на прицеле, могли воспользоваться таким поводом для санкций. Да и самих заключенных мы бы подвели — ведь не только они понимали, что означают эти посылки, но и вертухаи. А именно солидарности между людьми советская власть больше всего и опасалась. Поэтому посылки надо было пересылать тихо, незаметно, без лишнего шума и надрыва, будто бы от родственников. Тогда, что называется, и овцы были бы целы и волки сыты.

С этой целью мы нашли еврейку, которая не имела ни к нам, ни вообще к религиозным кругам никакого отношения, но на которую можно было положиться. И договорились, что она эти посылки будет регулярно отправлять. Но вот заковыка: по существовавшим тогда правилам заключенные были обязаны знать, кто им шлет посылки. Их могли во время выдачи посылки спросить — кто отправитель, кем вам приходится. Значит, надо было ребят предупредить, рассказать об отправителе. Но как? Ведь все письма перлюстрировались, и их не просто просматривали, а внимательно читали.

Был у нас в Риге один парень — и религиозный, полностью наш, любавичский, но в то же время и очень деловой — тот самый Шломо Фейгин, что вместе с отцом устроил представление в синагоге. Он и составил письмо от имени этой женщины. Я уже, конечно, сейчас, через полвека, не помню все подробности, но текст там был примерно такой: «Дорогой племянник, я только сейчас узнала, что ты попал в беду и сидишь в лагере. Помнишь, когда ты был ребенком, ты приезжал к нам в Симферополь, вместе с твоей мамой, моей дорогой сестричкой, на лето? Мы вместе ездили на море, и я тебе покупала игрушки — лошадку, резиновый мячик. У меня просто сердце разрывается от того, что сейчас тебе так плохо. После войны, ты знаешь, судьба забросила меня в Латвию, заработки у меня небольшие, но я буду помогать тебе, чем только смогу».

Мы надеялись, что после такого письма Йоси Мочкин все сообразит. И не ошиблись. Он действительно оказался смекалистым, и через две недели от него пришло письмо: «Дорогая тетя, как я рад, что ты меня нашла, я, конечно, прекрасно помню ту замечательную лошадку и твой гостеприимный дом в Симферополе. Я даже помню, как пах резиной тот мячик, который ты мне купила».

После такого письма нам стало ясно, что можно начать отправку посылок. Поначалу мы с братом ездили к этой женщине, отвозили ей посылки, которые она уже дальше тащила в свое почтовое отделение. Для заключенных денег не жалели — делали специально для них кошерную

колбасу, что было очень дорого — самим себе мы этого не позволяли, покупали фрукты.

Сначала у нас возникли трудности с пересылкой фруктов. Хотя брали мы самые зеленые, крепкие яблоки, они все равно приходили полностью сгнившими — ведь посылка порой проводила в дороге несколько месяцев. Мы специально пошли к ботанику, специалисту по яблокам, и он нам разъяснил: гниение происходит из-за того, что нет доступа воздуха. Надо аккуратно просверлить со всех четырех сторон фанерных ящиков, в которых мы отправляем продукты, небольшие дырочки, чтобы через них поступал воздух. Мы так и сделали и с нетерпением ждали ответа — как там наша посылка. Наконец получили письмо: половина яблок все же сгнила. Мы страшно расстроились, но уже в следующем письме Йоси написал, что даже половина для него огромная подмога, поскольку он живет совершенно без витаминов.

Как только мы решили проблему с пересылкой фруктов, появилась новая, не менее серьезная. Власти издали постановление, в соответствии с которым из Риги нельзя было высылать продуктовые посылки. И не только в зону — вообще никуда.

Рига ведь была столицей союзной республики и снабжалась намного лучше, чем все другие города и уж тем более деревеньки. Власти стремились изменить ситуацию, при которой со всех концов республики в Ригу приезжали люди и дочиста подметали дефицитные продукты. Понятно, что официально запретить въезд в Ригу они не

могли, как и отменить свободную продажу продовольствия. Карточная система уже была отменена, а это выглядело бы как возвращение к ней и расценивалось бы как признание властей в нехватке продуктов. Этого, конечно, они допустить не могли. Но, с другой стороны, они хотели хоть как-то остановить массовую закупку товаров жителями провинции в столице. Поэтому отправка продуктовых посылок была разрешена только из области.

И мы с братом каждый месяц ездили за сорок километров, чтобы от мнимой тети отправить такую посылку. А потом брату это надоело, и он сказал: «Почему бы не облегчить себе жизнь?»

Сказано — сделано. Я «сдружился» с начальником почты и договорился, что буду отсылать посылки через его отделение. Начальник почты был пьянчужка и не стал долго выяснять, что да зачем. «Продуктовая посылка? Нет вопросов — давай на полстопки и отсылай». «Полстопки» на его языке означало «бутылка водки».

Но когда я к нему пришел, он увидел, куда идет эта посылка. Покрутил носом, почесал в затылке, и я уже решил, что все, откажет. Но хотя я и был еврейским мальчиком, воспитанным в подпольных хедерах любавичскими меламедами, к тому времени уже неплохо понимал душу латвийского алкоголика. Тот ведь корчил рожи только для того, чтобы набить цену.

И начал ему объяснять — опять же на его языке: «У меня кирюха потопал в зону, надо ему бациллу подогнать».

Простоял начальник почты пару минут возле посылки, осмотрел ее со всех сторон, а потом и говорит: «Поскольку она на зону идет, то будет стоять не полстопки, а стопку».

Конечно, я тут же согласился. Я дал бы ему и пять бутылок, лишь бы не таскаться за тридцать земель с тяжелыми посылками.

Подвел меня начальник к сотруднице своего отделения и приказывает: «Прими посылку». А сам не ушел, стоит, наблюдает. Видимо, невтерпех ему — хочет дожидаться, когда я закончу, и получить на свои две бутылки. Я оформил все бумаги (от имени «тети»), поставил ящик на весы. Посылка, которую разрешалось отправить в зону, должна была весить не более восьми килограммов. А моя потянула на восемь девятьсот.

Девушка говорит начальнику: «Завесило больше, чем разрешается». А он ей кричит: «Я тебе говорю — это восемь. Ты что, сама не видишь?» Она так и написала: «восемь». Я с легким сердцем рассчитался с начальником и выскочил из этого почтового отделения как на крыльях. Еще бы — всего за две бутылки водки мне не только не пришлось тащиться в провинцию и терять целый день, но, самое главное, я отправил почти на килограмм продуктов больше! А для заключенного, страдающего от авитаминоза, цинги, важен был каждый грамм.

Через это почтовое отделение я отправлял посылки несколько раз. А потом, уж не знаю почему, но постановление отменили. Ну, я, естественно,

перестал в этом почтовом отделении появляться, и моя «дружба» с его начальником прекратилась.

Несколько месяцев спустя я столкнулся на улице с этим выпивохой. И он, как меня увидел, то очень странно себя повел: сперва оглянулся по сторонам, а потом сделал мне незаметно знак рукой — мол, иди за мной.

Зашли мы в какую-то подворотню, он выглянул на улицу, еще раз осмотрелся и рассказал мне, что к нему на работу приходили из КГБ. И сразу, без обиняков, спросили: «Сколько тебе заплатили за отправку посылок в зону? И кто заплатил?»

Он, конечно, перепугался и честно рассказал, что денег никаких не брал — только бутылку водки. «А это ж святое дело!» — повторил он мне с таким видом, будто водка взяткой не считается. Похоже, он искренне так и считал.

Мне повезло — хоть мы с ним и были «дружбанами», я свою фамилию ему не назвал, да он, собственно, и не расспрашивал. Поэтому он не мог сообщить ее гэбэшникам. У меня нет сомнений — если бы он ее знал, то заложил бы меня с потрохами и без всяких угрызений совести. Вот так я второй раз чудом ускользнул из лап органов.

Помогали мы не только мученикам, сидевшим за нашу веру. Жила в Риге одна бедная семья, которая нуждалась — ну просто отчаянно. Но они все были очень гордые и независимые и деньги ни под каким видом ни у кого бы не взяли. Но помочь-то этой семье надо. И вот на одном из фарбрэнгенов отец усадил возле себя ближайших

друзей и они стали думать, как сделать, чтобы и этих людей, не дай Бог, не унижить, но и помощь, столь им необходимую, оказать. И придумали.

Отец передал по нашим, любавичским, каналам за границу просьбу, чтобы дедушке этой семьи, который жил отдельно, начали присылать вещевые посылки. Каждая такая посылка давала возможность после продажи вещей, находившихся в ней, существовать той бедной семье чуть ли не полгода. Взять такую посылку они могли спокойно — ведь о ней они никого не просили и никому фактически не были за нее должны. Ну, отправили какие-то евреи помощь, спасибо им большое, и все тут.

И никакой опасности это тоже не представляло, поскольку посылки приходили на имя дедушки — человека уже очень пожилого, которому не грозили разборки по месту работы. Но чтобы не возникло никаких проблем, отец подстраховался и все же поставил этого дедушку в известность, что посылки предназначены не для него лично, а для его детей и внуков. Дед все понял и исправно отдавал им посылки — мол, я уже старенький, мне не надо. Система эта бесперебойно работала несколько лет, к вящей радости отца и его друзей.

Был еще еврей, который зарабатывал мало да к тому же еще помогал больной матери. Как он ни крутился, денег на кошерную еду у него катастрофически не хватало, а ничего другого он не ел. У него не было средств не на какие-нибудь там излишества типа костюма или велосипеда, а про-

сто на еду. И хотя годы стояли уже не самые голодные, он недоедал и худел прямо на глазах.

Чтобы его поддержать, отец тоже придумал выход: договорился с резником, тот кормил парня один раз в день хорошим мясным обедом и за это брал с него сто рублей в месяц. А еще шестьсот отец ему втайне доплачивал.

Об этой деятельности отца никто никогда ничего не знал. Все хранилось в тайне. И не только потому, что это было опасно. В конце концов, что могли сделать отцу за то, что он подкормил голодающего юношу? Но такое поведение соответствовало настоящему еврейскому подходу *матан бе-сете*⁹, то есть «дающий втайне».

Это сейчас люди хвастаются, сколько и кому они дали, как помогли. А у нас в рижской любавичской общине никто ничего не афишировал. Если возникала необходимость, отец сам обходил членов общины и говорил: ты должен дать столько-то. И все давали, причем без вопросов и выяснений, для кого, для чего. Доверие было абсолютным — если отец сказал, значит, надо.

И еще одна история. Как-то приехали в Ригу сотрудники израильского посольства и привезли любавичские сидуры — «Те́гилас Ѓа-Шем»⁹. Отдали их в синагогу, ну и, ясное дело, «двадцатка» распределила их между своими. Один такой сидур достался габаю. Он был ему не очень-то и нужен, но по тем временам такой новый сидур представ-

⁹ Молитвенник «Хвала Всевышнему».

лял собой большую редкость — ни за какие деньги не купишь. Я тогда работал в «Утильсырье», этот габай там тоже работал. А как раз в одной из наших семей мальчику должно было исполниться тринадцать лет. Ну и какой же подарок на бармицу может быть лучше новенького сидура?

Мы-то все молились по старым, изданным еще до революции или, в лучшем случае, в тридцатых годах молитвенникам. И все они были уже зачитанными от многолетнего использования, с порванными, пожелтевшими страницами. Да и к тому же, как правило, это были не хабадские сидуры. А тут — новенький, прямо из типографии, да еще и наш, любавичский! В общем, решили меня направить к этому габаю, чтобы я с ним поговорил и как-то этот сидур из него выцарапал.

Я пошел в приемный пункт «Утильсырья», где он работал, принес бутылку водки. Сидим, разговариваем о том о сем. Пьем рюмочку за рюмочкой, и язык у моего собеседника развязывается все больше и больше. А я очень аккуратно, исподволь подвожу разговор к теме молитвенника. Подвел, и габай, как я и ожидал, не преминул им передо мной похвастаться. И не просто похвастался, а вытащил сидур из ящика стола и продемонстрировал мне — на, мол, полюбуйся, что у меня есть! Как он достал этот сидур, еще краской пахнувший, у меня аж слюнки потекли.

К такому развитию событий я был готов, потому что сам же его заранее разработал. И говорю, будто мне эта мысль на месте в голову пришла:

«Я за такую книжку готов выложить столько-то». Сумму я уже сейчас, через полвека, не помню. Но это были достаточно большие деньги. Настолько большие, что у габая сразу же глаза загорелись.

А чтобы еще больше его раззадорить, я вытащил из кошелька пачку купюр, положил перед ним на стол. «Вот, — говорю, — я слов на ветер не бросаю. Если ударим по рукам, то сразу же на месте все денежки и получишь». И габай не устоял.

Для него, конечно, сидур тоже был важен. Но не как молитвенник, которым он пользуется три раза в день. Хоть он и был габаем в синагоге, я сильно сомневаюсь, что он молился регулярно. Ну, понятно, в синагоге по субботам и праздникам он принимал участие в общей молитве. Но чтобы молиться самому, без миньяна и когда его никто не видит? Это уж было для него чересчур. Поэтому сидур был важен для него не сам по себе, а только как вещь, которой можно похвастаться. Да и то далеко не перед каждым, а только перед религиозным евреем, который в этом что-то понимает. А тут ему на стол выложили кругленькую сумму. Он и не устоял. Так хабадский сидур попал в хабадские руки.

Сегодня, когда любой сидур на любой вкус можно спокойно приобрести в любой точке России или, в крайнем случае, заказать по почте или по интернету, эти наши усилия могут показаться непонятными. Но мы относились к сидуру как к святыне, которую нужно использовать по назначению — для молитвы, для внесения Божественного света в наш мир. А вовсе не для того, чтобы им хвастаться.

Мы очень сильно ощущали тогда наше предназначение — вносить в этот материальный мир духовность, святость. И понимали, какая на нас лежала ответственность. Ведь если, скажем, мы не провели фарбринген, то никто во всей Латвии, да что там Латвии — всей Прибалтике и большей части огромной многомиллионной страны — такой фарбринген не проведет.

И так с любой заповедью. Есть в Мишне такая поговорка: «Если не я, то кто? И если не сейчас, то когда?» Нам прекрасно было известно, что в том месте и в то время, где и когда мы жили, этими «кто» для выполнения заповедей были именно мы. И выполнять заповеди мы были обязаны не когда-нибудь, а здесь и сейчас.

А из истории с сидуром я еще один принцип понял: для выполнения заповедей, для того, чтобы внести хоть лучик света в наш мир тьмы, то есть для выполнения той миссии, которую возложил на евреев Всевышний, нельзя ничего жалеть — ни времени, ни усилий. А уж денег и подавно.

Мой отец вместе с братом уехали в Польшу в конце 1959 года. Брат фиктивно женился на польской гражданке и, когда уезжал, имел право взять с собой родителей. Понятно, что никто из нас в эту Польшу, превратившуюся в годы Второй мировой войны в братскую могилу миллионов евреев, не рвался. Нашей истинной целью был Израиль, точнее — Кфар-Хабат. Но об этом мы, естественно, особо не распространялись. И думали,

что все шито-крыто, КГБ ничего не знает. Какими же мы были наивными людьми!

Да, мы знали, что за нами присматривают, что КГБ интересуется религиозными евреями и в особенности хабадниками, которых органы ненавидели лютой ненавистью. Ведь мы были единственными, кто так и не сломался, не принял большевистскую антирелигиозную идеологию и не поклонялся их вождям и идолам. Любавичские хасиды через все страдания пронесли любовь к Торе, заповедям, преданность нашим святым Ребе. Что и делало нас заклятыми врагами советской власти.

Так вот, лишь спустя много лет выяснилось, что фиктивность браков евреев с польскими гражданами вовсе не ускользнула от недреманного ока КГБ. В его недрах было заведено целое дело, и там разбирали, каким образом хабадники используют эти браки для выезда не в братскую социалистическую Польшу, а в Израиль. И выяснив, что и как, быстро положили этому конец. Но отцу с братом удалось проскочить до этого, и они благополучно через Польшу добрались до Израйля. Я выждал пять лет и подал документы на воссоединение семьи. И в шестьдесят пятом году получил разрешение.

Наша община решила, что я передам Ребе подарок от ее имени. Купили серебряный бехер — кубок — и блюдце под него, выгравировали на них по-еврейски: «Ребе от хабадников Риги» и все фамилии. Я им говорю: как же я это вывезу? Что я отвечу, если меня на таможне спросят об этих фамилиях? Это же не бокальчик для вина полу-

чится, а готовый донос. И выйдет, что именно я сдам всех в органы: вот он, список, и не на бумаге, а на серебре выгравированный. Готовый список, никого искать не надо и ничего доказывать.

Но один наш хасид, реб Исроэл Певзнер, начал меня уговаривать. Сел он со мной, и мы устроили наш маленький фарбринген — сказали диврей Тойре, выпили водки, и он мне говорит: «Вези этот бежер с блюдцем и ничего не бойся. И тебя не арестуют, и ты никого не заложишь. Это — на мне, я отвечаю, что все будет хорошо».

Я очень серьезно отнесся к этим его словам, потому что за несколько лет до этого у нас в Риге произошла подобная история. Тогда получила разрешение на выезд и уезжала одна женщина, которую наши хабадники попросили взять с собой и потом передать Ребе «Танью», принадлежавшую его отцу. Но эта книга была издания прошлого века, а вывоз такой букинистической литературы из СССР был запрещен. Женщина тогда тоже боялась и отказывалась, пока с ней не встретился тот же Певзнер и сказал ей: «Не бойся, я это беру на себя. Все будет хорошо». И какое-то затмение, что ли, нашло тогда на таможенников — она эту книгу провезла без каких-либо проблем, никто на нее и внимания не обратил.

Ну, раз такая просьба, да еще и обещание от такого человека, то и я решился. И составил план: попробую сдать бокал с блюдечком в багаж, засунув между вещей. А если не проскочит, то возьму в ручную кладь. Пришел на таможенню и положил

этот бокал вместе со всеми своими подарками на свадьбу. А там были еще серебряные вещи — сахарница, солонка, уж не помню точно. И на нескольких тоже были надписи — от тети Фиры, от дяди Залмана. Я и подумал: так будет еще бокальчик от родственников.

Я даже подготовился дать ответ таможенникам, что это за список имен на бокале выгравирован. Мол, серебряный бокал с блюдцем — вещь дорогая, а родственники у меня — люди бедные. Вот они и сбросились все на один общий подарок. А чтобы я всех не забыл, указали свои имена.

Но до этого дело даже не дошло. Получилось все точно так, как и пообещал мне Певзнер. Таможенник взял сверток с серебряными вещами, повертел его в руках и спросил: «Что это?» Я на голубом глазу отвечаю: «Свадебные подарки». Он и смотреть не стал, даже не развернув сверток, бросил его в чемодан. Но чтобы у меня не возникло никаких сомнений в том, что произошло чудо, — когда тот же самый таможенник добрался до совершенно безобидных серебряных вилок и ложечек, то перебрал все до одной и каждую внимательно рассмотрел. А с этими подарками свадебными, среди которых был запрятан бокал Ребе, на него словно одурь накатила. Вот таким образом подарок рижской любавичской общины и попал к нашему Ребе.

Я привел все эти примеры, чтобы проиллюстрировать принцип, в реальности существования которого мы неоднократно убеждались в СССР. Когда мы соблюдали заповеди, учили Тору, помога-

ли евреям или стремились поддержать связь с Ребе, Всевышний нам помогал. И хотя говорят про *эстер поним*, то есть сокрытие Божественного присутствия в материальном мире, мы неоднократно и на личном опыте убеждались в прямом Его вмешательстве в этот мир, в Его непосредственной помощи нам. Не все нам дано понять, были страшные жертвы. Но были и многочисленные чудеса.

После учебы в самаркандской ешиве я уже не занимался регулярно, а полностью посвятил себя помощи евреям. Конечно, не хочу, чтобы возникло впечатление, будто это делал только я. Все делали. Вопросы оказания помощи ближним были основной темой разговоров на фарбрэнгенах нашей любавичской группы. Фарбрэнген — это наше тайное оружие! Конечно, были среди нас люди, знавшие Гемору, хсидус. И, понятное дело, на каждом фарбрэнгене они говорили диврей Тойре.

Но мой отец вместе со своим ближайшим окружением всегда обсуждали на фарбрэнгенах, как и кому помочь. Конечно, не при всех. Фарбрэнген шел своим чередом, а отец с друзьями потихоньку выходили в другую комнату и совещались. Или же говорили так, что их не было слышно. Или так, чтобы их никто не мог понять. Именно на фарбрэнгенах у них появлялись идеи, как выйти из запутанной ситуации, как сделать так, чтобы и человеку помочь, и не обидеть его ненароком. Да и вреда не причинить. Все ведь было под колпаком у КГБ, за всеми постоянно следили. Поэтому тот, кто получал помощь от любавичских ха-

сидов, так ненавидимых советской властью, в результате мог оказаться в большой беде.

В общем, это была весьма деликатная деятельность: порой надо было пройти по лезвию бритвы. Оступишься — не просто поранишься до крови, погибнуть можешь. И не только ты, но и твоя семья, твое окружение. Отец с друзьями ходили по этому лезвию многие годы. И так умудрялись все делать, что никогда никого не подставили, ни на кого беду не навлекли, а реальную помощь людям таки оказывали. И никогда им даже в голову не приходило, что можно отойти в сторону, прекратить эту помощь и спокойно жить в свое удовольствие. Если рядом еврею плохо, если еврею трудно, а ты в состоянии помочь, разве могли они сидеть сложа руки?

Я вспоминаю свою жизнь в Риге с неизбывной ностальгией. Не потому, что грущу по ушедшей молодости. И уж, конечно, скучаю я вовсе не по советской власти — в этом меня заподозрить было бы смешно. Но тогда, в Риге, мы были один за всех и все за одного. Скучаю я по тому братству, которое у нас было в Союзе, когда, приехав в любую любавичскую семью, в какой бы точке той огромной страны она ни жила, ты чувствовал себя как в своей собственной. И относились там к тебе если не как к родному сыну, то уж точно как к ближайшему родственнику. Я тоскую по той воистину «беспричинной любви», которую мы испытывали друг к другу, по взаимовыручке, по чувству локтя, по единству. Я тоскую по неповторимому чувству гордости за себя, за наш народ, за нашего Ребе.

А Я УПРЯМЫЙ

Нисон Йосфин

Меня зовут Нисон Йосфин, и я должен сразу же сказать, что это первый раз, когда я кому-то что-то рассказываю не на фарбренгене, а зная, что мои слова появятся в печати. Хотя я живу в Израиле с 1971 года, многие мои дела все еще слишком взрывоопасны. И если рассказывать о них открыто, последствия могут оказаться непредсказуемыми, более того, повлекут крупные неприятности для людей, все еще живущих на территории бывшего СССР. Поэтому я никогда никому ничего не говорил и никогда ничего не записывал. Вот и сейчас я согласился рассказать лишь малую долю того, что пережил и что знаю. И поэтому если я буду перескакивать с места на место, из одного времени в другое — не обессудьте. Делаю я это во все не из-за того, что память моя ослабла, а наоборот — как раз потому, что я слишком хорошо все помню, в том числе, какие у КГБ длинные руки.

Родился я в 1922 году в городе Невеле в обычной религиозной семье. Мы не называли себя ха-

бадниками — это здесь, в Израиле, все так говорят. Все эти аббревиатуры, сокращения напоминают мне ОТК, КГБ, ГПУ. Мы тогда не знали, что такое Хабад, а были просто хасидами, любавичскими хасидами. Отец мой из семьи Йосфин, мать — из Земцовских. Дед по матери был одним из основателей художественной академии в Витебске. Не буду распространяться о том, что делал мой отец во имя защиты нашей веры, а делал он очень много, можете поверить мне на слово. Но, чтобы понять, откуда во мне взялось упрямство, помогавшее выжить и соблюдать заповеди в большевистской России, расскажу немного о друзьях отца.

Главным из них был реб Рефоэль по прозвищу Годл, «большой». Как-то, еще до революции, случилась у него трагедия: дочь Мира влюбилась в гоя и, чтобы выйти за него замуж, решила креститься. Она сбежала из дома и спряталась в каком-то монастыре, расположенном прямо на берегу озера. Когда реб Рефоэль узнал, где именно скрывается его дочь, он ночью запряг тройку лошадей, взял с собой пару хороших парней, одним из которых был мой отец, и помчался на сани (стояла суровая зима) к монастырю. Рефоэль был высоченного роста и обладал огромной силой. Да и мой отец, хотя был невысоким, отличался могучим телосложением. В возрасте девяти лет он все еще гнул руками подковы.

Начали они барабанить в монастырскую дверь, но там поняли, кто они и зачем приехали, и отказались открыть. Тогда отец вышиб дверь несколь-

кими ударами, хотя это была не нынешняя, израильская, хлипкая дверь, а монастырская, сделанная из настоящего дуба.

Ворвались они в монастырь, перевернули все кельи и в одной нашли Мирку. Схватил ее реб Рефоэль, закутал в шубу, бросил в сани, и понеслись они назад, в Невель. В монастыре быстро опомнились и снарядили погоню. Даже позвали казаков из расквартированной неподалеку воинской части.

Несутся они по замерзшему озеру, погоня все ближе и ближе, вот-вот догонит. Мирка кричит: «Тате, тате, тебе ничто не поможет, делай со мной что хочешь, я все равно вернусь в монастырь!» А казаки уже буквально им на пятки наступают. И тут они увидели прорубь, в которой крестьяне брали воду. Взял Рефоэль свою Мирку и говорит: «Ты в купель хотела — получи». И бросил ее в прорубь. Казаки такое увидели — и врассыпную. Я уж не знаю, как потом Мирку вытащили из проруби, но урок получился хороший. Вот такие у моего отца были друзья, вот в таком доме я вырос.

Ну, понятно, после ночного нападения на монастырь и увоза несостоявшейся выкрестки и реб Рефоэлю, и отцу пришлось срочно скрыться из города. К счастью для отца, его в лицо никто не запомнил. Дело происходило ночью, электричества в монастыре не было. Доказательств вины отца ни у кого не оказалось, и, когда страсти немного улеглись, он вернулся в Невель.

Уже после революции отец построил возле нашего дома личную микву. Дом у нас был большой,

двухэтажный — отец удачно торговал и сколотил состояние. Стоял дом над самым обрывом, и внизу, у реки, отец своими руками выстроил каменную микву с проточной водой. Конечно, пользовался ею не только он, а все евреи города. Поскольку вода была в микве холодная, в доме постоянно кипел огромный самовар, и каждый после миквы мог напиться горячего чаю с сахаром. По тем временам это было очень большое дело — настоящий чай с настоящим сахаром.

Семья отца была зажиточной, мой дед занимал важную должность — управляющий большого поместья. Когда пришла революция, к отцу заявили «товарищи» и сказали: «Илья Шмеркович, вы же умный человек — отдайте свои капиталы на дело освобождения рабочего класса, и идите с нами». А он был упрямым и говорит: «Я бы пошел, но у вас нет честного слова, как я могу вам верить?» Тот, кто ему это предложил, хлопнул отца по плечу: «Ну, вы подумайте еще раз, хорошенько подумайте».

А что тут было думать, когда отец прятал у себя дома градоначальника и вместе с ним еще нескольких больших местных чинов. Если бы не отец — большевики их на месте, как это тогда водилось, расстреляли бы без суда и следствия. Градоначальник и другие чины были не евреями — чистыми русаками. Но, как вспоминал отец, они были порядочные люди, делавшие много добра всем жителям Невеля. Поэтому отец их не просто спрятал, но и снабдил одеждой, деньгами, дал

им лошадей и помог выскользнуть из города. За это отца и арестовали в первый раз. А когда выпустили, Ребе ему велел немедленно продать дом со всем имуществом и покинуть Невель.

Отец владел в Витебске несколькими домами, и мы перебрались туда. Как сейчас помню: в одном доме был даже настоящий фонтан. Не буду подробно останавливаться на том, что происходило в Витебске с нашей семьей, скажу лишь, что и отцу, и матери, и даже моему старшему брату, тогда еще несовершеннолетнему, пришлось немало времени провести в каталажке. В конце концов очутились мы в Ленинграде, где на оставшиеся деньги отец купил флигель во дворе и зажил открытым домом. Все любавичские (и не любавичские) евреи, не имевшие прописки, знали: у нас они всегда могут остановиться, жить столько, сколько надо, и рассчитывать не только на бесплатный кров, но и на питание. Кошерное, естественно.

Деньги у отца и тогда водились, хотя, конечно, намного меньшие, чем в предыдущие годы. Он держал механические цеха — официально, с разрешения властей. Принимал в них только наших, любавичских, ведь в этих цехах не работали по субботам и еврейским праздникам. А работы было много: отец получал заказы на нарезку болтов от Балтийского судостроительного завода и выполнял их с высоким качеством. Так что хватало и на достойную жизнь для семьи, и на то, чтобы гостей принимать.

Занимался я в обычной школе, но ко мне регулярно приходил меламед и учил меня ивриту, Торе, хасидизму. Гемору мне преподавал Шусторович — большой знаток, потом был еще один меламед — Пайкин. Эти занятия были мне в радость, к тому же отец постоянно интересовался моими успехами и устраивал небольшие, но неожиданные экзамены.

А в школе я испытывал сплошные муки — каждую субботу приходилось выдерживать настоящий бой, чтобы или вообще не прийти, или так вывернуться, чтобы не писать. Была еще одна проблема: ведь в субботу нельзя ничего носить на улице. А как же быть с ранцем? И я умудрялся оставлять в школе свой ранец со всеми книгами. Но все равно старался по субботам в школу не являться — мол, заболел, спину схватило, горло обложило, руку, ногу кипятком ошпарил... Короче, сказки тысячи и одной ночи, точнее, субботы. Учителя приходили к нам домой, скандалили. Но это еще как-то можно было снести.

Самое страшное началось в 1936 году. Закрыли почти все синагоги, а мимо оставшейся мы боялись даже пройти. В 1936 году единственная сукка в Ленинграде была в нашем доме. Отец перехитрил всех: когда складывали во дворе дрова на зиму, он уложил штабеля буквой П, да так, что открытая часть примыкала к окну. А внутри штабелей оставили небольшое пустое пространство. Когда наступил Суккот, штабеля сверху прикрыли ветками. Получилась прекрасная сукка, в которую

мы заходили из окна первого этажа флигеля. Наши любавичские хасиды целый день ничего не ели и не пили (у любавичских принято есть и пить — даже воду! — только в сукке), приходили к нам после работы и потихонечку прокрадывались в сукку.

Был у нас в доме управдом по имени Володя — русский, атеист, но замечательный человек. Он знал, что у нас постоянно жили люди, не имевшие прописки, и много раз предупреждал: сегодня могут прийти с облавой, берегитесь. И дворник у нас был просто чудесный. Чудесный! Несмотря на то что состоял в компартии. В тот Суккот они нам давали знать, если кто-то посторонний приходил в дом. И мы, конечно, тут же гасили в сукке свет и возвращались в квартиру.

Однажды в десять часов вечера к нам пришли с обыском пять так называемых человек в серых френчах (людьми я энкавэдэшников называть до сих пор затрудняюсь). Поводом послужило то, что незадолго до этого мой брат получил вызов на выезд в Эрец-Исроэл. И не от кого-нибудь, а от самого рава Кука — главного раввина Палестины¹. Пришли и говорят брату: «В Палестину собрался? А пойдешь с нами, и совсем в другое место. Собирай манатки, а мы пока произведем у вас обыск».

А отца забрали через несколько месяцев как «нежелательного элемента». Вообще, вся моя се-

1 Аврагам-Ицхак Кук (1865, Даугавпилс — 1935, Иерусалим) — раввин, кабалист, мыслитель и общественный деятель, автор доктрины религиозного сионизма, в 1921–1935 гг. — главный ашкеназский раввин Земли Израиля.

мья сидела при советской власти, и меня эта участь не минула. Меня прихватили, когда мне еще и двадцати не исполнилось.

Мой брат учился в институте имени Ульянова, но еще и в подпольной ешиве «Тиферес бахурим». В ту ночь, когда за ним пришли, взяли всех учеников этой ешивы. Всех. Вернулся брат только спустя два года, калеккой. Его так избивали в тюрьме, что у него лопнула барабанная перепонка, и он потом долго отлеживался в больнице.

Брат в свое время провожал на вокзале Ребе Раяца, когда того высылали из СССР. Ребе даже подарил ему на память свою фотографию. Когда к нам пришли с обыском после разгона ешивы, то перерыли все книги, а в одной из них была спрятана между страниц эта фотография. Если бы ее нашли — даже не знаю, что могло бы быть, ведь большевики считали Ребе своим самым злейшим врагом. Но случилось чудо: несмотря на то что во время обыска тщательно перелистывали каждую книгу, эту фотографию они почему-то не заметили. Когда энкавэдэшники ушли, мать сразу же бросилась к груде книг, сваленных ими на пол, и нашла фотографию, спокойно лежавшую на своем месте. Дома ее уже, понятно, не оставили, а порвать рука не поднималась — фотография Ребе! Поэтому ее тайно передали двоюродному брату отца, реб Хони Шмуловичу. Она хранилась у него вплоть до войны, а потом, в блокаду, куда-то делась. Судьба реб Хони в войну сложилась трагически: сын погиб на фронте, а дочь-партизанку немцы повесили.

В начале 1938 года реб Хони пришел к нам и говорит маме: «В городе нет мацы, а скоро Песах. Только у тебя в доме есть такая печь, что снаружи не будет видно, что в ней пекут. Да и флигель полностью твой, поэтому можно не бояться, что соседи донесут. Начинай печь для всех мацу — больше никому. Сделаешь сколько сможешь, и мы ее разделим между евреями. Хотя бы кусочек, но каждому достанется». Мать ему: «Хони, о чем ты? Муж сидит, сын старший сидит. Если заловят за этим делом, то и меня упекут. Что станется с дочкой и сыном? На что ты меня толкаешь, пожалей детей!»

А он ей отвечает: «Я тебе приказываю печь, и в заслугу за то, что ты обеспечишь евреев мацой на Песах, твой муж вернется домой». Поднял он руки к небу и воскликнул: «Кто исполняет Его волю, тому Он помогает. Я уверен, Он не подведет, — пеки!»

А отец сидел по страшному обвинению, в котором он к тому же признался. Ему вменили, как это было принято тогда, шпионаж в пользу Англии, Голландии и Бельгии. Чушь собачья! Бред! Глупости! Он сначала, конечно, смеялся, все отрицал, и тогда его начали пытаться. Он потом рассказывал: избивали нещадно — три-четыре человека сразу. Били руками и ногами, топтали сапогами, швыряли с размаху об стену. Но он терпел, ни в чем не признавался. Лишь когда ему стали загонять иголки под ногти, отец сломался и все подписал.

Он решил: и так расстреляют, и так расстреляют, но я хоть от этих мук избавлюсь. Гитлеров-

цы, наверное, у НКВД учились, как с заключенными работать. Потом отец еще много лет страдал от боли в пальцах — так его эти иголки искалечили. Когда Хони к нам пришел, отец сидел по этому жуткому обвинению, и вызволить его могло только самое настоящее чудо.

И моя мать начала делать мацу. Неделью печет, вторую. По ночам, в страшной тайне. И вдруг в одну такую ночь — стук в дверь. Можете себе представить, что мать испытала в тот момент. Спрятать уже ничего не успеешь — листы мацы в печке, на столе мука — производство шло полным ходом. Прибрать кухню займет не меньше часа. А в двери стучат. Хоть и тихо, но настойчиво. Мать подошла к двери: «Кто там?» И слышит: «Это я, Элиёгу. Открой, меня выпустили!»

Тогда сняли наркома Ежова и поставили Берия. А Берия хотел показать, что он, мол, борется с «нарушениями социалистической законности и недопустимыми методами следствия», принятыми при Ежове. И выпустил несколько тысяч человек. Конечно, потом Берия развернулся вовсю — да так, что Ежову и не снилось. Но в первые дни после его вступления в должность кому-то сильно повезло и они попали под амнистию. Несмотря на обвинения в содружестве с несколькими иностранными разведками, да еще и признание в этом, отец оказался на свободе — ведь энкавэдэшники знали, что все это чистой воды липа.

Чтобы было понятно, какая тогда стояла атмосфера страха, скажу лишь, что в нашем дво-

ре — окна в окна — жил родной брат отца. Правда, он не был таким упрямым, не знаю, в кого пошел, поэтому давно от религии и от всех еврейских дел отказался. Так вот, когда отец вернулся, он — родной брат! — даже не то что не пришел нас навестить, боялся в окно глянуть! Я его не обвиняю, поскольку помню те годы.

Но не все праздновали труса. В ту же ночь к отцу явилась целая делегация из синагоги. Его все очень любили, и слух о его освобождении распространился мгновенно. Как сейчас помню, отец еще в себя не пришел, лежал на кровати, когда они появились. И показали ему письмо, пришедшее из лагеря, от одного из друзей отца, праведника, как он говорил. У меня до сих пор слезы наворачиваются на глаза, когда я вспоминаю, как они ему это письмо читали.

А было в нем написано вот что: «Я знаю, что скоро умру и меня закопают на тюремном кладбище. Моя последняя просьба — чтобы меня перезахоронили на еврейском кладбище в соответствии со всеми нашими обрядами и прочитали над могилой *кадиш*². Я знаю, что это и трудно, и опасно, но обещаю: за того, кто это сделает, я буду просить перед Владыкой мира». Прочитали они это письмо отцу и говорят: «Несколько дней назад мы получили известие, что он уже действительно скончался и лежит на тюремном кладбище». Отец аж подскочил с кровати: «Я это сде-

2 Кадиш — поминальная молитва, которую читают только мужчины.

лаю!» Представляете, он ведь еще одежду свою тюремную снять не успел!

И спустя короткое время отец поехал в этот лагерь. Где он точно располагался, я не помню, где-то на севере, на Кольском полуострове. Добрался он до начальника лагеря, который оказался относительно приличным человеком — случилось и такое. Отец потом еще не раз сидел, он вообще дома мало находился — в основном в лагерях. И ему тоже однажды попался порядочный человек — начальник лагеря полковник Морозов. Он отцу помогал и даже пострадал из-за него. Дело ведь не в погонах, не в национальности, а в том, какая у тебя душа.

Так вот, добрался он до начальника и объяснил: «Я двоюродный брат одного вашего заключенного, который недавно скончался. И мне он все время во сне приходит, просит, чтобы я навестил его могилу и прочел по нему заупокойную молитву. Будьте добры, разрешите, укажите, где эта могила». Тогда ведь как хоронили на этих кладбищах — воткнул в могильный холмик палку с дощечкой, а на ней номер. И только. Даже имя у людей советская власть отнимала. И тут случилось еще одно чудо: начальник лагеря дал команду, вертухаи поискали в своих книгах, нашли фамилию друга отца и номер, под которым его похоронили. А дальше все уже было просто: кладбище ведь находилось за пределами зоны и вход туда был свободный.

В тот же день отец отправился на это кладбище, разыскал могилу и хорошенько запомнил ее

расположение. Он вообще обладал феноменальной зрительной памятью. Ночью он прокрался на кладбище, вырыл тело своего друга, заровнял холмик, положил тело в мешок и был таков. Я уже говорил, что он обладал недюжинной физической силой, поэтому унести в мешке тело изможденного голодом узника для него не составило никакой проблемы.

Где он захоронил его, я не помню, но точно не в Ленинграде. Нашел самое близкое к лагерю еврейское кладбище и провел там все по обряду — с миньяном, кадишем. В зоне, конечно, никто не хватился и ничего не заметил — могила ведь осталась закрытой, а на то, что холмик выглядел не так, как раньше, внимания никто в принципе обратить не мог. Никто на кладбище и не заходил — они занимались живыми — точнее, еще живыми — заключенными, а до мертвых им дела уже не было.

Организовать захоронение на еврейском кладбище было совсем не просто, но отец все сделал так, что комар носа не подточил. Впрочем, он и куда более сложные дела проворачивал. И я верю полной верой, что воздаяние за этот святой поступок получил не только мой отец, но и вся наша семья, в том числе и я лично. Уж как нас только чекисты ни гноили и ни преследовали, где только нам ни пришлось сидеть — я ведь даже и в психушке побывал, — а мы все выжили, до Израиля добрались, дети у меня, слава Богу, замечательные, внуки, правнуки.

Перед войной и меня забрали — не из-за религии, а по чисто экономическим делам. Но благодаря этому я не оказался в блокаде. Осудили меня, но до зоны я так и не доехал — всех, кто вызвался добровольцем, отправили на фронт. Я тоже вызвался и попал в 46-ю дивизию, 228-й полк. Тогда еще не было такого понятия — штрафные батальоны, но полк этот, сформированный из одних заключенных, посылали в самые гиблые места на фронте, откуда никто не возвращался. А я выжил, царапины не получил, хотя участвовал в страшных боях.

Половина полка погибла, остатки отозвали на переформирование, а меня приписали к флоту. Освоил я специальность звукометриста, занимался расшифровкой разведывательной информации. Служил на нескольких эсминцах.

На Северном флоте у моряков была общая судьба: если корабль утонул, то погибали все, выжить в холодной воде было невозможно. А не утонул — все живы. В корабли, на которых я ходил, не попала ни одна бомба, хотя обстреливали нас — не приведи Господь!

В составе морского десанта я не раз высаживался на берег, участвовал в боях. Самый страшный был на Чертовом острове. Когда мы только подходили к нему и увидели, что там творится, стало понятно: живыми оттуда вернутся немногие. А я вернулся — целый и невредимый! Во флоте я прослужил до самого конца войны и демобилизовался в 1946 году.

В 1948-м я работал завскладом. И ко мне обратились наши евреи: «Нисон, это же у вашей семьи традиция — печь евреям мацу. Скоро Песах, а мацы ни у кого нет. Помоги». А как тут поможешь — времена стояли голодные, муки не достать. Какую уж тут мацу печь? Но мне говорят: «Пеки! В тридцать восьмом году твоя мать пекла, теперь твоя очередь».

Ну, муку я достал. Придумал сложную, многоходовую комбинацию: мельница списывала муку на пекарню, пекарня — на булочную, а та, в свою очередь, отчитывалась в продаже хлеба и сдавала деньги государству. Но все это было только на бумаге. А в действительности муку прямо с мельницы забирали мои люди и везли в оборудованный мной подпольный цех, где пекли мацу. Развернулся я на широкую ногу, построил этот цех в Ижорске, на кладбище, так что никто ничего долгое время узнать не мог. Из цеха маца расходилась по нескольким моим подпольным складам, а оттуда уже мы продавали ее евреям. И так я крутился около двух месяцев, пока не докрутился.

Сдал нас шофер. Причем я знал, что он стукач, но взял его и платил ему большие деньги, думал, он на них польстится и будет служить мне прикрытием. И он действительно прикрывал все это время. До тех пор, пока, наверное, не решил, что уже заработал на мне достаточно. И сдал. Он у меня как-то спросил, сколько времени я еще предполагаю работать. И я ответил: ну, еще с месяц. Хотя мацы мы уже успели столько сделать, что хватило

на всех. А он подумал: всего месяц остался, значит, пора стукнуть.

Мой родственник, директор булочной, как только к нему милиция пришла, тут же раскололся и все на меня свалил. Но поскольку я очень умело замаскировался, милиция трое суток искала, где я живу и где нахожусь. А находился я тогда в больнице: моя мать умирала. Прежде чем ко мне милиция пришла, прибежали в больницу и говорят: «Нисон, все пропало, милиция в булочной».

А у меня еще много мацы было в одном месте собрано. И мать мне говорит: «Беги, перепрячь мацу». А как я могу уйти от нее? Но мать приказала: «Спасай мацу, помоги живым. А я продержусь». И я побежал, успел всю мацу вывезти в другое место. Вернулся к матери, она действительно была еще жива. Я приехал, а она уже с трудом разговаривала. Но прошептала: «Успел?» Я кивнул: «Мама, все в порядке». «Данкен Гот»³, — сказала она и откинулась на подушку.

И тут произошло чудо: хотя врачи давали ей всего несколько дней жизни, мать вдруг пошла на поправку, и ее вскоре выписали. Но к тому времени меня уже взяли. Причем с поличным, когда я последнюю машину с мацой перегонял в Сестрорецк.

Влепили мне 59-ю статью — хищение в особо крупных размерах, а по ней можно было получить вплоть до высшей меры. Раскололся не только

3 Данкен Гот (идиш) — Слава Богу.

мой родственник, директор булочной, но и габай центральной синагоги, через которого мы мацу людям продавали. Но я ни в чем не признавался. Друзья мне наняли очень хорошего адвоката, который тогда входил в пятерку самых лучших в городе. Фамилия его была — вот уж не помню точно — кажется, Кожевников. Денег на этого адвоката и на его услуги ушла уйма, а сделать он по большому счету ничего особого не сумел.

Он нашел ход к судье и поговорил с ней по-свойски. А судья была — ничего сказать не могу — приличный человек. И она рассказала адвокату, что в другой ситуации я бы отделался маленьким сроком. Но мое дело взяло под контроль МГБ и дало команду упечь меня по максимуму. Чтобы всем другим неповадно было мацу печь. «Я ему дам десять лет, — сказала судья, — и ничего не могу сделать. Сверху сказали — дать. А если так, у меня нет никакого другого выхода». И дала.

Последнее слово я держал два часа. Из обвиняемого превратился в обвинителя. «Доказано, — говорил я, — что никакой прибыли я не получил. Так что же я и у кого украл? Муку мы брали, это верно. Но население получило продовольствие из этой муки? Получило! Государство получило деньги за испеченный из этой муки товар? Получило. Так где же “хищение в особо крупном размере”? Что я у кого украл? Просто сделал из муки не хлеб, а мацу! Более того, за всю работу, а это была совсем не маленькая головная боль, я себе ничего не взял! В чем же моя вина?»

В общем, я так разошелся, что они уже не знали, как меня остановить. И судья говорит: «Мы сейчас сделаем перерыв. А после него вы продолжите». Они думали, что после перерыва мой пыл спадет и я замолчу. Но я на них: «Какой еще перерыв? Где в уголовном кодексе сказано, что во время последнего слова можно объявлять перерыв? Я требую, чтобы мне дали высказаться до конца!»

Но, конечно, договорить мне не дали — какой там уголовный кодекс, какая конституция! Объявили перерыв. Охранник мне после такого последнего слова шепнул: «Ты пойдешь домой, тебя посадить не посмеют, не за что».

Но он-то не знал, что МГБ дало команду. Адвокат мой подошел и говорит: «Нисон, не расстраивайся, ты все равно свои десять лет получишь. Но я сразу же подам на апелляцию, и ты срок полностью не отсидишь, я тебе его сокращу, и очень сильно». Так оно и было впоследствии.

Но пока мне срок дали и отправили по этапу. Как сейчас помню, поезд уходил с Витебского вокзала. Посадили меня в «столыпин»⁴. Но поскольку я планировал побег, по-видимому, кто-то из сокамерников уже успел стукнуть, и мне предоставили

⁴ Столыпинский вагон, или вагонзак, — вагон для перевозки подследственных или заключенных. Название объясняется тем, что, когда в 1908–1910 гг. премьер-министр П. А. Столыпин в рамках своей аграрной реформы организовал массовое переселение крестьян из европейской части России в Сибирь, пассажирских поездов не хватало и для перевозки крестьян переоборудовали товарные вагоны. В советское время «столыпинские» вагоны стали использоваться для высылки в Сибирь кулаков и для транспортировки заключенных. — *Прим. ред.*

«царские» условия — отдельное купе. А возле него для большей надежности поставили часового.

Стояла страшная жара, в этом «купе» продохнуть было невозможно, а воду мне не дали. У меня в клифте⁵ были деньги зашиты, я вытащил купюру и говорю вертухаю: «Сбегай, купи мне две бутылки холодного пива. Да и себя не забудь». А ему тоже, видно, пивка хотелось. Сам он не мог пост оставить, так кликнул кого-то, и принесли мне пива холодненького. Так что поехал я с комфортом. Начало было обнадеживающим. И дальше у меня тоже все сложилось замечательно — видимо, очень хорошим ходатаем перед Всевышним оказался тот праведник, чье тело отец перезахоронил на еврейском кладбище.

Сперва попал я в пересыльную тюрьму в Москве. Она находилась на Красной Пресне, сейчас ее уже нет. Зашел в камеру, достаю папиросы «Тройка»: «Угощайтесь, ребята». Они закурили и спрашивают: «Ты по какой статье?» Я им сказал, они обрадовались: «Так ты наш!» А в Питере я одно время находился в камере с авторитетом по кличке Сашка-интеллигент. Он получил ее за то, что никогда не матерился. Ну и, конечно, я сразу развиваю успех: «Привет вам, мужики, от Сашки-интеллигента». «А, — говорят, — Сашка жив! Спасибо, присаживайся в наш уголок». Вот так мне повезло, и унижений, которые обычно испытывали в тюрьме евреи, да к тому же еще религиозные, я избежал.

5 Клифта (жарг.) — пиджак.

Более того, то, что я оказался в компании с блатарями, мне потом весь срок помогало. В той же тюрьме у меня случился опасный инцидент. Камера была хоть и небольшая, но набили в нее больше двухсот человек — нары в три-четыре этажа. Я вместе с блатными сидел наверху. А одного мужика заело, что я, еврей, да еще новенький, сразу получил привилегированное место. Слез я через пару дней с нар, беру в руки свой ботинок и чувствую — воняет ужасно. Кто-то мне в этот ботинок наделал. «Чья работа, паскуды?» — спрашиваю. А этот мужик с издевкой: «Нечего из себя цацу строить, надевай как есть, морда жидовская!»

Ну, вижу, выхода у меня нет, надо давать бой. И началась драка. Дружки его на меня кинулись, но тут и блатные подскочили — наших бьют. Образовалась куча-мала, камера ведь была маленькая. Но я до своего врага все же добрался и чуть глаза ему пальцами не вырвал. И с тех пор никто ко мне не подходил, а слава по всему этапу пошла.

Приехал я в лагерь накануне Рош а-Шона. И сразу спрашиваю: кто тут хозяин? Мне отвечают: Костя-жид. О, думаю, зря такую кличку не дадут. Значит, надо этим воспользоваться. Пришел я к нему в барак. А он сидит на подушках, как персидский шах, чай гоняет. Небольшого роста, пухленький, в очках, внешность — ошибиться невозможно, действительно Костя-жид.

Увидел меня, спрашивает: «Откуда?» — «Питерский». — «За что?» — «Девяносто пятая». — «Сколько дали?» — «Червонец». Он похлопал ря-

дом с собой по подушке: «Садись». Я сел. Он спрашивает: «Хавать хочешь?» — «Да, а что есть?» Он удивился: «Все есть». А я объясняю: «Я ведь все не ем. Мясное не ем». Он сразу все понял, улыбнулся и приказывает: «А ну, мандрычник⁶ сюда! И с маслом, живо».

Начал я есть, а он со мной уже на идише разговаривает, что да как. Я осмелел и его тоже спрашиваю: «Откуда, а ид?» Оказалось — из Могилева. И он мне говорит: «Мой папа был ганеф⁷, мой дед был ганеф, мой прадед был ганеф». А я ему в тон отвечаю: «Я тоже могу тебе похвастаться: мой батя сейчас сидит, мой брат на зоне, и я знаком с тюрьмой с шестнадцати лет».

Он это услышал и воскликнул: «О, да ты у нас в законе!» Я отвечаю: «Ну, в законе не в законе, но по субботам не работаю, пусть хоть застрелят!» А он мне: «Да ты вообще работать не будешь!» И дал команду по лагерю, чтобы я не работал. Это было самое настоящее чудо, огромное чудо. Но факт: в этой зоне я не работал, и так оно за мной и закрепилось. Поэтому сколько раз я потом ни сидел, субботу и праздники ни единожды не нарушил!

Но на этом наш разговор не закончился. Я поинтересовался, есть ли в лагере еще евреи. Оказалось, много. И я говорю: «Завтра вечером наступает Рош а-Шона, надо бы собрать миньян,

6 Мандрычник (жарг.) — хлеб.

7 Ганеф (жарг.) — искаженное ганап (ивр.) — вор.

я могу быть *баал тфиле*»⁸. И Костя вдруг растрогался: «Знаешь что, мы же все-таки евреи. Я распоряжусь, чтобы послезавтра у евреев был банный день. А вы вместо бани сможете молиться, начальник бани сделает вид, что ничего не знает и не слышит».

Ну, раз такое дело, начал я по зоне бегать и говорить евреям: «Идн, завтра вечером приходите в баню, есть миньян на Рош а-Шона!» Но недолго я пробегал, меня заложил один еврей из Питера, рыжий такой, фамилию уж не припомню, а лицо его до сих пор перед глазами стоит.

Вызвал меня к себе начальник надзора и этак спокойненько объявил: «За подобную наглость — устроить в лагере синагогу — я открыл на тебя дело. Так что ты теперь у меня на крючке».

Но я ведь упрямый, как отец. И снова пошел к Косте: «Дай хотя бы команду, чтобы на Йом Кипур те, кто постится, могли бы не работать». Он говорит: «Ты что, еще червонец себе намотать хочешь?» А я отвечаю: «Червонцем больше, червонцем меньше, я все равно тут не останусь, дрисну⁹. А если в Йом Кипур евреи благодаря мне постятся тут будут, мне это сверху ох как зачтется».

Посмотрел он на меня, махнул рукой: «Черт с вами, кто хочет — пусть постится. Но чтобы работали, я в твои сумасшедшие игры не играю». А Костино слово было закон: если он сказал, что-

8 Баал тфиле (бааль тфила) — человек, ведущий общественную молитву.

9 Дрисну (жарг.) — сбегу.

бы евреи в этот день постились, так никто нарушить не осмелился. И они таки постились.

Но, к чести наших евреев, делали они это все не от страха перед Костей. Я сам все бараки обошел и евреям, кого смог обнаружить, сказал: такого-то числа Йом Кипур, давай будем поститься. И думаете, они возражали? У подавляющего большинства была одна и та же реакция: «Йом Кипур? Да это же страшный день, когда судьба решается. Конечно, буду поститься, я ведь не знал, на какое число он выпадает».

Только один еврей — он бригадиром был — начал было возмущаться: «Ты что тут религиозной агитацией занимаешься!» Ну, я его успокоил: «Не хочешь — не постись. Но не возникай, если от Кости неприятностей иметь не хочешь». После этой истории меня стали называть лагерным раввином.

Адвокат свое обещание выполнил: скостил-таки мне срок наполовину. Но отсидел я и того меньше. И это тоже совершенно удивительная история.

Как-то раз получаю я письмо от мамы, с ее фотокарточкой. И пишет она: «Нисон, я себя очень плохо чувствую, видимо, пришло мое время. Но перед смертью хочу тебя увидеть». А у меня в зоне был приятель — медвежатник¹⁰ по фамилии Марков. Очень хороший человек, очень! И культурный, интеллигентный, ничего не скажешь: не матерился, не напивался и не буянил. Хотя мог себе позволить многое: был старостой в бараке. После этого

¹⁰ Медвежатник (жарг.) — вор, специалист по кражам со взломом.

письма я несколько дней ходил сам не свой. Он это увидел, подошел ко мне: «Что это ты такой скучный?» Показываю письмо, карточку: «С чего мне веселиться, когда такие вести от матери? Я, наверное, сбегу, чтобы повидать ее перед смертью».

Он начал меня отговаривать: «Ненормальный, из зоны выйти не фокус. А дальше? Куда побежишь — тайга кругом, сразу схватят. А если не схватят, то сколько времени пройдет, пока через всю страну в Питер к матери доберешься?» И добавляет: «Я слышал, что вышел новый закон: кто две трети срока уже отсидел, могут досрочно освободиться по ходатайству начальника лагеря. Пять лет ведь тебе скостили? Скостили. Три года ты уже отсобачил? Отсобачил. А говорят знающие люди, что наш начальник лагеря хоть и имеет фамилию Полонский, вовсе не из поляков, а из ваших. Иди к нему и попытай счастья, авось получится».

Я ему: «Да куда мне соваться, после той истории с Рош а-Шона на мне дополнительный срок висит. Начальник надзора лично сказал, что дело завел. Что зря ходить, все равно ничего не получится».

А он пристал, ну просто с ножом к горлу: «А собственно, что ты теряешь? Не выйдет, так не выйдет. Ты ж приличный человек по сравнению с теми, кто тут находится. И вел себя прилично — не пил, не буянил, режим соблюдал. Иди!»

В общем, уговорил. В тот же день я и записался на прием к начальнику лагеря. Меня, понятно, спросили, по какой причине хочу с ним встретиться. Но я-то прекрасно понимал: если правду

скажу, засмеют и выставят вон. Поэтому и сказал: «По личному. Исключительно по личному». Тут уж никто знать не может, что это такое — личное дело. Может, я признаться в чем-то хочу, от чего отпирался на следствии, а вот теперь решил расколоться. Или стукнуть на кого. А может, я вообще давно уже стучу и сейчас решил что-то особо важное лично начальнику сообщить. Не пустят, а что-нибудь в лагере произойдет — и я потом всю вину на тех, кто не пустил, повешу: мол, я хотел предупредить, а они не дали. Поэтому не осмелились они меня не записать на прием. Но дату не назначили, а сказали: «Жди, за тобой придут».

Ждать долго не пришлось, через несколько часов появился в нашем бараке солдат, выкрикнул мою фамилию и приказал: «Ты вызван в восьмой кабинет, следуй за мной». А восьмой — это вовсе не кабинет начальника лагеря. В то время многих отправляли в шахты, откуда почти никто не возвращался. Я и подумал: «Вот и все, вот и конец. Думал их на мякине провести — мол, по личному делу. А они и решили показать мне личное дело в забое».

Но деваться уже некуда — иду. И сам себя проклиная, что Маркова послушал и в эту авантюру ввязался. Но Марков мне на выходе из барака успел шепнуть: «Не дрейфь, в восьмом добрый мент сидит — кто к нему попадает, в лагерь возвращается».

Восьмой кабинет оказался огромным, с длинным столом, крытым красным сукном. В цен-

тре сидит за столом офицер — маленький, плюгавый. Но физиономия у него — еврейская, пробы негде ставить. И грозно меня спрашивает: «Ты зачем на прием просился, что надо?» «Мне лично, — говорю, — абсолютно ничего не надо. Но вот посмотрите на эту фотокарточку».

Показал ему фото матери, а на обратной стороне надпись на идише. Я и говорю: «Вы, конечно, не понимаете, что тут написано, но я вам, гражданин начальник, сделаю точный перевод. Это пишет наша мама. Наша! Она хочет перед смертью меня увидеть. А говорят, теперь статья такая вышла, что по ходатайству начальника лагеря тем, кто половину срока отбыл без нарушений дисциплины, можно срок этот на условно-досрочное переменить».

Он как заорет: «Что? На свободу просишься? Досрочно? Вон отсюда! Вон!»

Я фотографию в ватник запрятал, поворачиваюсь и говорю: «Это не я прошу. Это наша еврейская мама просит».

А он еще громче и кулаком по столу: «Пошел вон!»

Я развернулся по-флотски, через правое плечо, даже ногами щелкнул — и был таков.

Прошло время, полмесяца или месяц. За шесть дней до Песаха снова приходит в наш барак вертухай: «Следуй за мной!» Привел в кабинет, не помню в какой, но точно не в восьмой. Там сидит капитан госбезопасности и этак вежливенько мне предлагает: «Садитесь, пожалуйста».

«Э, — думаю, — плохое начало! В лагере только с покойниками культурно общаются. Сейчас он мне так же вежливо предложит расписаться, что меня ознакомили с указом о переводе в шахты. И прости-прощай, Ниске! Не видать тебе ни мамы, ни белого света!»

А капитан действительно вынимает из папки лист, на котором что-то напечатано на машинке и внизу большая печать красуется. Ну, все понятно: приказ о переводе. А он мне спокойно объявляет: «Гражданин — теперь уже товарищ — Йосфин! По представлению начальника лагеря и ходатайству лагерной коллегии в Верховный Совет СССР решено освободить вас досрочно. Завтра в восемь часов утра будьте готовы со всеми вещами. Местом вашего жительства определен город, где вы проживали до ареста, — Ленинград».

Ворвался я в свой барак и кричу: «Ребята, свобода!» А они так посмотрели на меня жалостливо: мол, все — уже готов, мозгами бедняга тронулся. А я кричу: «Да нет, нет, меня по условно-досрочному!» — и давай Маркова целовать!

Гуляли мы всю ночь — заварили чифиру, достали все самое вкусное, что у кого было. Под утро Марков снял свои золотые часы: «Держи, чтоб в дороге хорошо ехалось». И прошептал мне адресок: «Как окажешься в Питере, загляни, и денег дадут тебе, и хату организуют». Часы я не взял, а в ответ дал свой адрес: «Когда бы ты ни освободился, знай: в моем доме для тебя всегда найдется и еда, и крыша над головой».

Вышел я в восемь утра, сажусь в машину и вдруг вижу: на крыльцо выходит тот самый, из восьмого кабинета. Посмотрел на меня, махнул рукой и крикнул: «Йосфин, чтобы я тебя здесь больше никогда не видел!»

В начале шестидесятых годов мой отец организовал миньян для тех, кто не мог ходить в синагогу. То ли далеко им было идти, то ли просто боялись. И мы собирались на первом этаже двухэтажного домика, стоявшего на самом берегу Финского залива — метрах в пятидесяти от воды. В будние дни миньян собрать было невозможно, но по субботам приходило довольно много народу. *Шалиах цибур*, кантор, у нас был известный певец, солист Мариинского театра Файвл Зубцов. Ну как он мог открыто появиться в синагоге — его бы из Мариинки вышвырнули на следующий, да что там на следующий — в тот же день! Но к нам Зубцов приходил. Мы получали огромное удовольствие от его голоса, а он, наверное, не только от молитвы, но и от общения и хасидского застолья. Мы ведь всегда после молитвы устраивали кидуш, а потом фарбренген: говорили диврей Тойре, учили маамарим наших Ребе, так что заканчивали не раньше двух часов дня.

Первый раз, когда сделали облаву на этот миньян, где-то уже в середине шестидесятых годов, все закончилось благополучно. Пришел милиционер, постучал в дверь и крикнул: «Я знаю, что у вас тут подпольное религиозное собрание. Пред-

упреждаю: если такое еще раз повторится, будете нести ответственность». И ушел. Ну, понятное дело, какое-то время миньян не собирали, надо было переждать.

А тут скончался мой отец. И у меня проблема возникла: ведь надо кадиш говорить. По будним дням я в синагогу ездил, но в шабес куда поедешь. Вот и начали снова у меня собираться.

На очередной Йом Кипур тоже собрались. И кто-то стукнул. Соседи, русские люди, нам всегда сообщали, если в районе показывался кто-то подозрительный или милиция. Но стукача передетого как распознаешь?

И вот милиция окружила дом со всех сторон, причем сделали это быстро, как военную операцию, так что соседи и пикнуть не успели. Возглавлял «операцию» председатель Сестрорецкого райисполкома — инвалид войны, без обеих ног. Мне повезло, он оказался очень приличным человеком. К тому же у нас в миньяне был его приятель, который вместе с ним когда-то в одном госпитале лежал после ранения, Володей его звали.

Ворвались они в дом еще в самом начале молитвы, когда пели «Га-Мелех». И приказывают: «Немедленно прекратить!» А потом потребовали, чтобы каждый назвал свои имя, фамилию и место жительства. Был там один мой родственник, которому ну просто никак нельзя было попадаться, поскольку он служил военным врачом. Он назвал какие-то вымышленные имя и фамилию. Один из милиционеров как услышал это, аж закричал:

«Что ты врешь, я ж тебя прекрасно знаю, тебя зовут так, мол, и так, и ты военврач!» В общем, всех переписали, а меня просто к стенке приперли — дом-то мой, значит, я хозяин этого незаконного сборища и несу за него ответственность.

И тут этот самый Володя обращается к заврай-исполкому: «Мы ж с тобой воевали вместе, в лазарете валялись вместе. Дай нам хотя бы домолиться, сегодня у нас Судный день!» А тот в ответ: «Если разрешу, меня завтра же вызовут на ковер! Я не могу ничего сделать, лучше разойдитесь потихому. Если все пройдет без эксцессов, отделаесть символическим наказанием».

Но куда там разойтись — Йом Кипур! И когда все начали выходить из дома, я каждому прошептал на идише: «Идите, только недалеко. Погуляйте в лесочке на берегу залива, там и продолжим молитву». Один мне ответил: «Зачем в лесу, я на следующей станции живу, в своем доме, помолимся там». А я говорю: «Нет, зачем же идти на следующую станцию, это далеко. Погуляйте в лесу и возвращайтесь, когда все успокоится. Время у нас есть — целый день, будем молиться в этом же доме, только на втором этаже». Но все же боязно людям было на это же место вернуться. И тогда один из наших предложил: «Я живу на Лисьем Носу, это совсем рядом. Идите туда, только не толпой, а поодиночке, и продолжим. Соседи у меня хорошие, не донесут».

Так оно и было. Начали мы снова молиться, но уже без особого вдохновения. После такого стрес-

са, понятно, настроение — *аз ох ун вей*¹¹, люди разбиты, запуганы. Но, несмотря ни на что, миньян все же собрался. И тут встал Файвл Зубцов и начал петь с такой страстью, с такой мольбой, с такой верой, что его молитва всех подхватила, понесла. И мы поняли, что ради подобной молитвы стоило пережить и утреннюю облаву, и страх, и унижение. Такого вдохновения, такой близости к Всевышнему я в своей жизни больше никогда не испытывал.

А на следующий день продолжились черные советские будни — вызвали меня в милицию, и следователь начал орать: «Что вы себе позволяете!»

Я ему спокойно: «А в чем, собственно, дело? Мы кого-то убили, ограбили? Буянили, дрались? Что вы к нам имеете? Мы ведь даже никому не помешали, находились в частном доме, молитву за его пределами никто не слышал». «Есть синагога, в ней и молитесь, а не там, где вам хочется. А собрания по домам незаконны».

И в этот момент я вспомнил, как сосед мой, русский парень, сказал мне как-то: «Ленин умер, и дело его умерло, — мы как пили, так и пьем. А твой отец Илья Шмеркович умер, а вы как при нем молились, так и молитесь. Батька упрямый был, и ты такой же породы, упрямец, как и он».

И говорю этому менту: «Вы — не последняя инстанция, я дальше пойду, получу разрешение на то, чтобы в моем доме можно было евреям мо-

11 *Аз ох ун вей (идиш)* — букв.: когда [говорится] «ох» и «вей», т. е.: хуже быть не может.

литься». Сказать-то я сказал, но далеко меня не пустили. Хотя комиссию собрали.

Председательствовал тот самый инвалид безногий. И он такую речь произнес: «Конечно, ни о каком разрешении на новую синагогу и речи быть не может. Более того, наблюдалось явное самоуправство со стороны товарища Йосфина, выразившееся в проведении молитвы в частном доме. Но следует все же принять во внимание, что и сам Йосфин — фронтовик, и в молебне участвовали бывшие фронтовики, инвалиды войны. Они действительно никому не мешали, манифестаций не устраивали, агитацию не вели. Поэтому, учитывая боевые заслуги хозяина дома, приговорить его к денежному штрафу». И приговорили. Ну а на деньги мне было наплевать в высшей степени!

После этого у меня еще много чего в жизни случилось, но еще не пришло время рассказывать. В Израиле я оказался в 1971 году. Как только начался выезд и стало известно, что любавичских тоже выпускают, мы сразу же подали документы. И меня отпустили. Что тоже можно расценить как чудо из чудес — до сих пор не понимаю, как это произошло.

Сейчас, на старости лет, я часто думаю: почему у меня все так получилось — возле огня ходил столько раз, а не обжегся? Понятно: *би-зхус овойс* — «в честь заслуг отцов», моих предков, святых людей. И конечно, отца — в том числе и за то, что перезахоронил того еврея, который просил за нас перед Всевышним.

Приведу еще один, крохотный пример, который очень хорошо позволяет понять, кем был мой отец. Как-то раз, когда и я, и он сидели, мы столкнулись в коридоре следственного изолятора. Случайно, конечно. Меня вели на допрос, его вели, и что-то вертухаи перепутали. Столкнулись мы в том коридоре буквально нос к носу. И что же говорит мой отец после многих месяцев разлуки с сыном? Чему он посвящает те считанные секунды, что у нас были? А вот что: «Ниске, завтра канун Йом Кипура!»

И еще, я думаю, потому все снаряды мимо меня пролетели, что я упорным был. Прожив большую часть своей жизни в большевистской России, я ни разу — ни разу! — не работал в шабес и по праздникам. Я был упрямым в исполнении Его воли, и Он меня упрямо от всего охранял. Даже тогда, когда мне казалось, что грехов на мне так много, что я ничего не заслуживаю! Поэтому не надо брать на себя такие решения — кто, чего и сколько заслуживает. А надо просто жить в соответствии с Его заповедями и честно, сколько сил станет, выполнять их.

КНИГА ИОВА: СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ

Това Альтгойз

Меня зовут Това Альтгойз, из семьи Марголиных, я родилась в Бобруйске в 1933 году.

С нашей семьей жила бабушка, которая была очень религиозной. Она соблюдала (насколько это было возможно в тех условиях) кашрут. Мать работала, а хозяйство, в том числе и готовка, лежало на бабушке. В Бобруйске в те годы еще был шойхет, бабушка пользовалась его услугами, пекла перед субботой и праздниками халы. Она держала дома корову, сама доила ее, чтобы был *халав Исраэль*, и делала творог, простоквашу, сыр. Мама очень любила бабушку, поэтому меня, первого своего ребенка, родившегося после ее смерти, назвала в ее честь — Гитой. Товой я стала в Палестине, но об этом расскажу чуть позже.

Муж Гиты, мой дед Менахем-Мендл Каплан, был настоящим хабадником. В Бобруйске его все знали и уважали. И потому, что он был очень честным и прямым, и потому, что всегда и всем был

готов помочь. Каждый год он ездил к Ребе Рашабу на *йехидус*¹. Сперва в Любавичи, потом в Ростов.

Однажды, уже после кончины Ребе Рашаба, дедушка поехал в Ростов к новому Ребе — Раяцу. Не знаю точно, что уж там приключилось, как все произошло, но какие-то бандиты сбросили его с поезда. Дед очень сильно разбился, его подобрал возле полотна железной дороги проезжавший мимо русский крестьянин и выходил, спас от верной смерти. Когда дедушка немного пришел в себя, он продолжил путь и добрался до Ростова. Но так и не сумел оправиться от ран, полученных в результате падения с поезда.

Он чувствовал себя все хуже и хуже и попросил тамошних хабадников, чтобы его похоронили возле могилы Ребе Рашаба. Мы знаем, что эту просьбу выполнили, но где в точности находится его могила, так и осталось неизвестным. Несколько лет назад, когда мои знакомые хабадники поехали в Ростов, я попросила поискать могилу дедушки. Но они ничего не обнаружили. Хотя могила Ребе Рашаба сохранилась, возле нее в годы советской власти проложили дорогу, которая, по всей видимости, прошла по могиле деда.

Алтер Ребе как-то сказал, что человек не имеет права думать о смерти и просить смерти, а должен думать только о жизни. Мой же дед заботился

¹ Йехидус — личная аудиенция, которую Ребе дает своему хасиду. Во время этой встречи с глазу на глаз хасид делится своими проблемами и просит у Ребе совета, как их разрешить.

не о том, как будет жить дальше, а где его похоронят. И смерть пришла.

Времена были смутные, почта не работала, о телефоне вообще и мысли ни у кого не было. Не то что сейчас: у каждого мобильный телефон, и в любую секунду ты можешь позвонить и узнать, что и как. А тогда — уезжал человек, и что с ним происходит, никому не было известно. Либо он сам возвращался и рассказывал, либо потом рассказывали о нем другие.

У нас дома долгое время никто не знал, что случилось с дедом. Но однажды ночью он явился во сне ко всем своим детям, сообщил, что умер, и попросил читать по нему кадиш. Дети боялись рассказать о таком сне бабушке, но когда все же решились, оказалось, что дедушка во сне явился и к ней. И они начали читать кадиш.

Спустя несколько месяцев в наш дом ночью постучался один человек. Он очень не хотел, чтобы кто-то из посторонних его увидел, поэтому поговорил с моей бабушкой в неосвещенных сенях, не заходя в комнату, и тихо выскользнул за дверь в полуночную тьму. Такая предосторожность не была случайной. Человек этот занимал важный пост в бобруйском ЧК и пришел предупредить моего дядю Элиёгу, что его намерены арестовать на следующее утро.

Дядя был сионистом, что покойному дедушке очень не нравилось. Собственно, дедушке не нравилось вовсе не то, что его сын собирается уехать в Палестину строить еврейское государство. Это

он как раз приветствовал. Не нравилось ему, что тот отошел от религии, ведь тогда сионисты были неверующими. Но дедушка был мудрым человеком и сказал: «Хоть я сожалею, что Элиёгу пошел по этому пути, но это мой сын, и я его люблю таким, какой он есть».

Так вот, тот чекист предупредил бабушку, что начинаются большие гонения на сионистов. Уже составлены списки, и самое лучшее, что может сделать Элиёгу, — это немедленно уехать. И не просто из Бобруйска, а вообще из СССР. Бабушка в первый момент не поверила, да и расставаться с сыном было очень жаль. Ему ведь тогда еще и двадцати не исполнилось. Но чекист сказал: «Придя к вам, я рискую головой. Если об этом пронохают, я окажусь в тюрьме раньше вашего сына. Но я считаю своим долгом помочь ему, потому что ваш покойный муж когда-то спас мне жизнь».

Оказалось, что этот чекист еще в годы Гражданской войны был коммунистом. Когда в Бобруйск в очередной раз пришли поляки, кто-то написал на него донос в контрразведку. Его арестовали и хотели повесить. Он, понятно, все отрицал, да так правдиво, что польский офицер сказал ему: «Если ты приведешь мне надежного свидетеля, который подтвердит, что ты не большевик, я тебя отпущу». И тогда он назвал имя моего деда: «Есть в Бобруйске Менахем-Мендл Каплан, он всем известен своей честностью и прямоотой. Послушайте, что он вам ответит». Позвали деда: «Нам сообщили, что этот парень большевик, а он клянется,

что нет. Где тут правда, а где ложь?» И дед сказал: «Когда еврей говорит, я ему верю».

Он, конечно, знал, что этот парень большевик, — Бобруйск городок маленький, всем про всех все было известно. Естественно, сразу же возникает вопрос: как дед мог так рисковать? Он ведь ставил на кон не просто репутацию честного человека, а свою жизнь. Если бы поляки поняли, что дед выгораживает коммуниста, его вздернули бы на одном дереве с ним. Но как же можно в такой ситуации не помочь еврею?

Сказано в Торе: «Тот, кто спас хотя бы одну душу, как будто спас целый мир». Чтобы выручить другого еврея, дед — прямой и честный человек — не просто соврал, а рискнул своей жизнью. И, как выяснилось потом, спас тем самым не только этого еврея-коммуниста, но и собственного сына Элиёгу, а через многие годы — и меня, свою внучку.

Когда этот чекист пришел предупредить моего дядю, он действительно рисковал многим. Ведь он помогал сионисту — врагу советской власти, да еще и выдал ему тайну, о которой знали считанные люди. Наверное, этот еврей рассуждал в тот момент точно так же, как и дед: «Спасший одну душу как будто спас целый мир».

Той же ночью дядя скрылся из Бобруйска, благополучно добрался до Одессы и уплыл на первом же пароходе в Палестину. Ни бабушка, ни моя мать больше никогда его не видели.

Старший сын дедушки Хаим Каплан учился в Любавичах. Он скончался от тифа очень моло-

дым, вскоре после того, как дедушки не стало. После Хаима остались две дочки, с которыми произошла интересная история. Хаим был женат на дочери главного раввина Минска. Его тесть умер через несколько лет после Хаима и перед кончиной взял клятву со своих двух внучек, что они выйдут замуж только за евреев. Он видел, куда все катится, к чему может привести советское воспитание, и поэтому взял с них такое обещание.

Этим внукам пришлось хлебнуть много горя и до войны, и в годы войны. В сорок пятом году они приехали в Москву к моей тете, сестре матери, Дрейзл Раскин, которая была замужем за Янкевом-Йосефом Раскиным. Они были очень крепкими хабадниками, после репатриации Янкев-Йосеф много лет работал шойхетом и моэлем² в Ришон-ле-Ционе. Когда дочки Хаима гостили у них в Москве, тетя, естественно, спросила, почему они все еще не замужем.

Девочкам было уже хорошо за двадцать, они к тому времени окончили институт, стали инженерами и, к сожалению, совершенно светскими людьми. Как и предвидел их покойный дед, советское воспитание сделало-таки свое черное дело. Они были такие убежденные коммунистки, что тетя, которая тогда готовилась к отъезду в Эрец-Исроэл, даже побоялась им рассказать о своих планах. Но на вопрос тети они ответили прямо: мы дали слово дедушке, что выйдем замуж только

2 Человек, проводящий обряд обрезания.

за евреев, а нам до сих пор подходящие еврейские парни не попались. Вскоре мы все уехали в Эрец-Исраэль, и связь с этими девушками потерялась. Мы их нашли только через много лет, и тогда выяснилось, что они сдержали свою клятву и вышли замуж за евреев.

Но вернусь к моей матери. Незадолго до кончины бабушки моя мама — звали ее Нехама — вышла замуж за своего двоюродного брата Зушу Марголина. Он происходил из семьи *миснагедов*³, и перед свадьбой мою бабушку все спрашивали: «Как же так, Нехама — дочь такого большого хабадника и выходит замуж за *миснагеда*?» Бабушка ответила: «Это большая мицва — взять зятя миснагеда и сделать его хабадником».

Бабушка сама происходила из семьи миснагедов, и когда дед Менахем-Мендл объявил, что женится на ней, все тоже удивлялись такому браку. И дед сказал ту самую фразу, которую через много лет повторила бабушка: «Это большая мицва — превратить миснагеда в хабадника».

Что касается бабушки, то она таки превратилась в очень крепкую хабадницу. А вот каким хабадником стал отец, ничего сказать не могу — просто не помню. Но тфилин он надевал, в доме у нас был кашрут, субботу с праздниками соблюдали, насколько это было возможно в тех усло-

3 Миснагед (митнагед) — «противящийся», «возражающий», представитель направления в иудаизме, выступавшего против распространения хасидизма.

виях. Отец ведь работал директором небольшого смолокуренного завода. Находился он где-то в лесу под Бобруйском, но, по-видимому, недалеко — отец добирался до него на велосипеде.

Как я уже говорила, пока была жива бабушка, она была ответственной в семье за готовку и соблюдение кашрута. Но и когда она скончалась, в доме ничто не изменилось. Мама не работала, воспитывала меня и мою старшую сестру Минну и продолжала соблюдать все, как было при жизни бабушки.

На Песах мама вычищала весь дом, и мы ели только мацу. Ее не покупали, а делали сами. Не у нас и не в синагоге — помню, как мы шли куда-то, где была большая печь, и там пекли мацу.

В Бобруйске все еще работал шойхет. Мама выращивала у нас во дворе гусей и перед Песахом отправлялась к шойхету, чтобы приготовить мясо на праздник. Не только для нас, но и для сестры Дрейзл. В Ленинграде тогда было трудно с кошерным мясом, и мама взяла на себя заботу о том, чтобы обеспечить и семью сестры. Мама умела как-то так приготовить этих гусей, что они сохранялись долгое время без холодильника. Настолько долгое, что они прибывали в Ленинград в обычной почтовой посылке ничуть не испортившимися. Когда мама делала это доброе дело, то и не подозревала, что благодаря ему она спасет от голодной смерти двух своих дочерей.

В сорок первом году, за несколько месяцев до войны, мама, как всегда перед Песахом, пошла

на почту, чтобы отправить гусей тете. С собой она взяла Минну, которая помогала нести кошелку с посылкой. Мама приготовила ее дома, запаковала и написала на ней адрес. Но на почте сказали, что от посылки идет слишком сильный запах и в таком виде ее не могут принять. Сотрудница почтового отделения посоветовала купить несколько метров плотной бумаги и хорошенько завернуть в нее гусей, тогда запах станет слабее.

Мама оставила Минну сторожить посылку и отправилась по магазинам в поисках бумаги. Не возвращалась она довольно долго — в СССР даже простая оберточная бумага была дефицитом. Пока мама ее нашла, пока вернулась, сестра от нечего делать и так и этак рассматривала посылку. И столько раз прочитала написанный на ней адрес, что запомнила его наизусть.

Минна до сих пор — спустя почти семьдесят лет — помнит этот ленинградский адрес нашей тети, спасший нам жизнь. Но в тот весенний день, когда ярко сияло солнце и распускаявшиеся почки наполняли улицы Бобруйска медовым запахом, когда приближался радостный праздник Песах, разве могло нечто подобное прийти в голову маленькой девочке, дожидавшейся матери возле почтового отделения?

Немцы оказались возле Бобруйска буквально через несколько дней после начала войны⁴. У нас

⁴ Бобруйск был оккупирован немецкими войсками 28 июня 1941 г., а освобожден на следующий день три года спустя.

дома на стене висело радио — большая черная круглая «тарелка» из плотного картона. Как сейчас помню: мама, я и Минна стоим возле этой тарелки и слушаем. И кто-то, захлебываясь от волнения, кричит из нее: «Товарищи жители Бобруйска, немецкие бомбардировщики приближаются к городу. Бегите, спасайтесь куда можете».

После такого предупреждения родители не медлили ни минуты — схватили нас, какие-то вещи, и мы убежали. К нам присоединилась семья брата отца — жена с детьми, ее мать, сестра — тоже с детьми. Я специально останавливаюсь на этой подробности, чтобы потом стало ясно, что нам пришлось пережить.

А бабушка — папина мама — осталась. Ее младший сын Нехемья был к тому времени уже мобилизован и находился где-то в городе. И она не хотела уйти, не попрощавшись с ним. У бабушки много лет не было детей, а потом родились два сына — мой отец и Нехемья, которого она очень любила.

Так вот, если бы родители согласились тоже подождать Нехемью и хоть немного промешкали, мы так навеки и остались бы в Бобруйске. Все евреи, не успевшие в тот день убежать, погибли в гетто. И вместе с ними моя бабушка.

В следующий раз я побывала в Бобруйске шестьдесят лет спустя. Я гуляла по его улицам, пыталась что-то вспомнить. Но так ничего не вспомнила и не узнала. Не нашла даже место, где стоял наш дом.

Мама в момент бегства была на девятом месяце беременности и двигалась с трудом. Поэтому, хотя

ей помогал отец — его еще не успели призвать, — далеко убежать мы не смогли. Но самое главное — мы все же успели оказаться на другой стороне реки Березины, разделяющей Бобруйск на две части. Когда мы перешли по мосту на другой берег, то столкнулись с Нехемьей, одетым в военную форму. Он обнял нас и заплакал. Наверное, чувствовал, что видит в последний раз. Но командир даже не дал ему толком проститься с нами — он очень спешил, опасаясь, что скоро подойдут немцы. А мост надо было взорвать. Нам велели не задерживаться и быстро идти дальше. Дядя поцеловал нас всех и бросился к мосту, где уже вовсю шли работы по минированию. Потом мы узнали, что он погиб через несколько часов после этой встречи.

Когда мы переходили мост, Бобруйск уже пылал от немецких зажигательных бомб. Не знаю, что произошло выше по течению, может быть, разбомбили какое-то судно или уже шел бой, но на мосту я увидела, что река изменила свой цвет. Она стала красной от крови. Мои внуки, когда я им про это рассказываю, спрашивают: «Бабушка, ты ведь была еще маленькой девочкой, как ты помнишь, что река покраснела от крови?» Что я могу им ответить — есть вещи, которые забыть невозможно.

Как-то я описывала им свою жизнь в детдоме. Внучка спросила: «Бабушка, что ты думала тогда? Ты планировала, как будешь дальше жить, что будешь делать?» Я ответила: «В тот момент я думала только о том, как бы достать еще одну корочку хлеба». Эта девочка, выросшая в Кфар-Хабаде,

где если и говорят о еде, то только о том, с помощью какой диеты быстрее похудеть, вряд ли могла меня понять.

Дай Бог, чтобы моим внукам никогда не пришлось бы пережить то, что выпало на мою долю, и чтобы они так никогда и не смогли бы до конца понять мои переживания и ощущения!

Тогда, на мосту, я думала только о том, чтобы весь этот ужас остался позади. Но мои глаза все видели, и в мозгу навечно засела картина: позади — пылающий город, впереди — черные фонтаны разрывов бомб, а внизу, под ногами, — жуткая, незнакомая багровая река.

К концу дня мы оказались в каком-то городке, и от всего пережитого у мамы начались схватки. Отец хотел остаться с нами, но его мобилизовали. Он просил, умолял, чтобы ему позволили дождаться родов, позволили помочь жене в первые дни, хотя бы устроить ее с детьми на поезд. Но куда там — его и слушать никто не стал. Немцы наступают, Родине нужны солдаты — марш в строй!

Мы остались одни, четыре женщины и пятеро детей, все мужчины уже были в армии. Через день мать родила мальчика — нашего единственного братика. Назвали его в честь бабушки — Шмарьёу. Немцы приближались, промедление было воистину смерти подобно. Как мать после родов сумела найти в себе силы и идти с новорожденным младенцем на руках, я не понимаю. Но шла — все же лучше, чем оказаться под властью немцев.

Мы шли без остановки несколько дней, ночевали в лесу, в канавах. Потом сумели сесть на какой-то поезд. Ехали долго, каждые несколько часов поезд останавливался и кто-то кричал: «Налет, налет!» Мы выскакивали из вагона и бежали куда глаза глядят. Главное — подальше от железной дороги. А сверху пикировали немецкие самолеты и поливали нас пулями — женщин и детей, больше ведь в поезде никого не было.

Эта картина тоже до сих пор стоит у меня перед глазами — поле, вокруг толпа бегущих женщин и детей. Я бегу рядом с мамой, у нее на руках Шмарьёгу. Все кричат, да так страшно! И вдруг — рвущий уши рев моторов, самолеты проносятся прямо над нашими головами и стреляют, стреляют без остановки. А потом делают круг, возвращаются и снова стреляют. Когда они улетали, оставшиеся в живых бежали назад к поезду, и он сразу же трогался с места.

В конце концов мы добрались до Сталинградской области. Нас направили в какой-то совхоз, где мы и прожили до следующего лета. Поселились в избе, доброхотная хозяйка отдала нам печь — большую русскую печь, и мы все вместе спали на ней. Мама пошла работать в поле, поэтому, хотя еды было мало, мы не голодали. Проблем с кашрутом не возникало — ели мы только хлеб и мерзлую картошку, которую мама приносила с поля. И еще она где-то доставала макуху из шелухи подсолнухов. Ею кормили коров, но мы были очень рады, когда нам доставался кусочек такой макухи.

Летом сорок второго года немцы снова оказались рядом. Мы уже знали тогда, что они делали с евреями, и надо было срочно эвакуироваться. Наша хозяйка — из бывших кулаков — стала отговаривать: «Куда вы бежите, немцы интеллигентная нация, любят простой народ». Но мама сказала нам: «Если не немцы нас убьют, так эти немецкие подпевалы».

И мы убежали — на последнем поезде, вывозившем какое-то оборудование. Это был даже не вагон, а открытая платформа, на которую загрузили ящики со станками. Мы примостились между ними, стояла летняя жара, и холод не донимал нас даже по ночам.

Так мы добрались до Ташкента. Вышли с вокзала и оказались в городском парке. Там сидело много людей, очень много — все эвакуированные. Мать пошла в эвакуопункт, и нас направили в колхоз. В эвакуопункте ей сказали, что там нам будет хорошо, во всяком случае, всегда найдется какая-то еда. У нас уже имелся опыт жизни в Сталинградской области, и мать подумала: «Если там мы с голоду не пухли, то уж здесь, в Ташкенте, и подавно выживем». Тогда даже такая поговорка была: «Ташкент — город хлебный». Но все оказалось совсем не так, как рассчитывала мама, а намного, намного ужасней.

Колхоз представлял собой маленькую, нищую деревушку. Нашим трем семьям выделили одну — правда, большую — комнату в бараке. Каждая из семей разместилась в своем углу. Была в ба-

раке еще маленькая кухонька, но мы ею почти не пользовались за ненадобностью. Нам выдавали паек — четыреста граммов хлеба на человека, но этого катастрофически не хватало.

Мать начала работать на фабрике по переработке хлопка, моя сестра, которой тогда еще и тринадцати лет не исполнилось, пошла вместе с ней. Я, десятилетняя, оставалась дома с братиком. Он все время просил есть, но мне было нечего ему дать — все, что ему оставляли на целый день, он до крошки подметал еще утром.

Вечером появлялись мама и сестра, приносили паек, мы съедали по кусочку хлеба, пили воду и шли спать. Каждый от своей порции отрезал кусочек — маленькому на следующий день. Это только кажется, что четыреста граммов хлеба — много. Если больше ничего нет, то этого крайне недостаточно. А хлеб в те годы делали уж не знаю из чего, и он был очень тяжелый, намного тяжелей, чем сейчас.

От такой жизни все вокруг болели и умирали. Заболела и мама. И очень тяжело. У нее оказалась редкая болезнь — пеллагра. Впрочем, редкая только тогда, когда вдоволь еды и витаминов. А когда на каждую крошку черного хлеба смотришь как на сокровище... У мамы потрескалась кожа по всему телу, она страшно исхудала, не могла двигаться. Врачи сказали, что это следствие постоянного голода и нехватки какого-то витамина. Если бы мы могли достать тот витамин и спасти мамочку! Но где же его можно было най-

ти в те страшные годы? Да еще нам, не имевшим ни гроша за душой и прозябавшим в дыре, где не было ни врачей, ни аптеки?

Мать забрали в больницу, и на следующий день сестра поехала ее проведать. Как только Минна вошла в палату, мать сразу же попросила: «Забери меня домой. Мне здесь все равно никаких лекарств не дают, никаких процедур не делают, а одной находиться тут очень тяжело».

Минна принесла ей дорогой по тем временам подарок — свежее куриное яйцо, уж не помню, где она его раздобыла. Но мать отказалась: «Съешь ты, мне ничего не хочется». Ну, понятно, Минна стала настаивать, уговаривать. И тут мимо койки прошла медсестра. Услышала их разговор и сказала: «Ешь, девочка, ешь, маме все равно уже ничего не надо, она умирает!» Минна начала плакать, а мать ее утешала: «Не слушай ты эту гойку, она хочет, чтобы мы все отправились на тот свет!»

Минна хотела остаться с мамой, но ей не позволили. Она попрощалась, сказала маме, что переночует где-то неподалеку, рано утром придет в больницу и заберет ее домой. Оставила ей это яичко и все деньги, что у нее были.

А когда вернулась рано утром, мамы в палате уже не было, кровать стояла пустая. Минна кинулась к врачам, и ей сказали, что мама ночью умерла и ее уже похоронили в общей могиле. Тогда в больнице каждый день умирали десятки людей, и их тут же хоронили, чтобы не возникла эпидемия.

Мы остались втроем — Минна, я и маленький Шмарьёгу. Минна продолжала работать, но, понятно, ее пайка не хватало на всех. Я сейчас просто не понимаю, как мы вообще выжили, как протянули эти несколько месяцев. Конечно, нам помогали родственники — тетя Хана, жена дяди, и ее сестра. Но чем они могли помочь — сами голодали. Мать тети Ханы умерла от истощения за несколько месяцев до мамы.

И тогда тетя предложила: «Давайте отдадим Шмарьёгу в детдом, вы, девочки, не сумеете его выходить». Мы поехали в близлежащий детдом, но таких малышей — а Шмарьёгу было всего два годика — туда не брали.

Прошло три месяца, мы голодали и холодали. Спали втроем — на охапке соломы. У нас ведь и кровати-то нормальной не было — накрывали солому простыней или одеялом и ложились. Шмарьёгу в центре, я и Минна по бокам, чтобы ему было теплей. Ночи в Узбекистане холодные: климат там резко континентальный — летом жара, а зимой морозы доходят до двадцати градусов.

Шмарьёгу спал плохо. Все время просыпался, просил пить, кушать. Но как-то одну ночь он спал спокойно, ни разу нас не побеспокоил. Утром Минна встала и говорит: «Гита, что случилось с нашим Шмарьёгу? Он ни разу за ночь нас ни о чем не попросил и до сих пор спит как убитый».

Я подошла к кровати, а братик наш — мертвый. Умер во сне, от голода. У него, бедного, наверное, сил уже не было плакать.

У нас даже лопаты не было — вместе с тетей вырыли руками яму и похоронили в ней Шмарьёгу. Мы очень боялись, что шакалы доберутся до него, и навалили на могилу много земли, песка и все камни, которые смогли найти поблизости. Конечно, ни о каком кадише даже речи не шло — в этой деревне не было ни одного еврея. Мы помолились — каждая как могла — за нашего братика и попросили Всевышнего, чтобы его душа попала сразу в рай. Ведь ад она уже прошла здесь, на земле.

И тетя Хана сказала нам: «Девочки, вы должны себя спасти. Так дальше продолжаться не может, вы обе погибнете. Идите в детдом, вас хоть как-то будут кормить». Так мы и сделали. И там таки три раза в день нам давали похлебку с ломтиком хлеба. Немного, но нас это действительно спасло от голодной смерти.

В детдоме были только русские и украинские дети, поскольку он эвакуировался из Киева. Мы выделялись среди всех, в основном из-за акцента. Я очень сильно картавила, поскольку у нас в семье говорили на идише. И хотя отношение к нам было нормальным, мы все равно чувствовали себя другими. Не могу сказать, что чужими, но другими — это уж точно.

Однажды директор детдома собрала нас всех и говорит: «Дети, Красная Армия гонит врага на запад. Большая часть Украины уже освобождена. У вас, наверное, остались какие-то родственники. Подумайте, попытайтесь вспомнить их адреса. Мы постараемся их разыскать».

И тут Минна вспомнила адрес тети, который выучила наизусть, когда сидела возле почты с посылкой и ждала, пока мама вернется из города с бумагой. Из детдома направили запрос в Ленинград, оттуда ответили, что семья тети эвакуировалась по Дороге жизни, куда — неизвестно. Но и это уже была огромная радость.

Во-первых — и главное! — мы узнали, что семья тети не погибла в блокаду. И во-вторых, появилась зацепка — нам стало известно, когда и как семью тети вывезли из Ленинграда. Мы продолжили поиски и обратились в центральное розыскное бюро, находившееся в Ташкенте. И буквально через несколько месяцев, если даже не недель, сейчас уже точно не помню, нам прислали из Ташкента их адрес. Раскины оказались в Алма-Ате — совсем рядом от нас (по российским понятиям, конечно).

Мы сразу же отправили тете письмо. Постарались сдержать свои эмоции и просто рассказали, что с нами случилось и где мы находимся сейчас. Ответил муж тети, Янкев-Йосеф. Он написал, что не решается рассказать тете, что ее сестра и племянник умерли. Сначала он ее потихоньку подготавливает, а только потом сообщит эту страшную весть.

В письме Янкев-Йосеф прислал сто рублей. Как их не украли, я до сих пор не возьму в толк. Но не украли, и эта купюра стала для нас огромным подарком, ценность которого мне даже сложно описать. Мы тут же побежали на базар и купили лепешку — большую, толстую, белую. Я до сих пор

помню ее вкус, ее запах! Это было самое большое лакомство моего военного детства.

Как только Минне исполнилось четырнадцать лет, ее отправили в Ташкент, учиться в ФЗУ⁵. Я недавно была в иерусалимском музее «Яд ва-Шем», рассказывала историю своей жизни. Интервьюер спросила меня: «Как же так, почему, когда от тебя забирали единственную сестру, ты не протестовала, не сопротивлялась? Ты ведь оставалась одна среди чужих людей!»

И действительно — почему? На первый взгляд это совершенно необъяснимое поведение. Но только на первый взгляд, да еще к тому же нормальных, сытых, благополучных людей, которые думают и чувствуют совершенно иначе, чем полуголодная девочка. Я была настолько истощена тогда, настолько обессилена, что мне уже было все равно, что происходит. Я пребывала в постоянной апатии, жила, словно в тумане, действовала, как какой-то робот. И беспрекословно выполняла все, что мне говорили. Сопротивляться, бунтовать просто не было сил.

И тут пришло письмо от тети Ханы: «Девочки, милые, что с вами, как вы? Бобруйск уже освободили, скоро мы туда поедem, и я заберу вас с собой». Господи, как я обрадовалась, как целовала этот клочок бумаги! Письмо словно оживило ме-

5 Школа ФЗУ (школа фабрично-заводского ученичества) — базовая профессионально-техническая школа в СССР в 1920–1930-х гг., с 1940 г. сохранилась преимущественно в пищевой и легкой промышленности, здесь идет речь о последней. — *Прим. ред.*

ня, вывело из почти сомнамбулического состояния! Передо мной словно распахнулся горизонт, появилась надежда, что я скоро покину унылый, опостылевший детдом — это вместилище бесконечной скорби и безысходной печали.

Сколько раз я потом представляла себе: вот в один прекрасный день появляется тетя и забирает меня. Я гордо выхожу со двора, закрываю за собой ворота и машу на прощание рукой оставшимся в детдоме. Я еду домой! Мы едем домой! Вы слышите все, весь мир, — у меня есть семья, у меня есть близкие, любящие меня! У меня есть свой дом! Вместе с тетей мы отправляемся в Ташкент — за Минной, а оттуда — в Бобруйск, в наш добрый, теплый, милый дом.

Но через несколько месяцев, в точно такой полдень, в который мне столько раз представлялся приезд тети, в детдом прибыла новая партия детей. К нам постоянно доставляли детей, родители которых скончались от голода. Как правило, привозили их на открытом грузовике, в деревянном, выкрашенном ярко-зеленой краской кузове. Когда грузовик въехал во двор, я увидела в этом зеленом кузове бледные, исхудавшие лица трех моих двоюродных братьев — сыновей тети Ханы. И сразу поняла: тети больше нет.

В Ташкент мы приехали тремя семьями — четыре женщины и шестеро детей. Приехали не на фронт, не в гетто или концлагерь, а в глубочайший тыл, в теплую, богатую, благодатную республику, где жили добрые, гостеприимные люди.

Никто нас не преследовал, не убивал. Но всего через три года в живых остались только пятеро детей — я, Минна и три моих двоюродных брата.

Боже мой, как я плакала! Мать и все родственницы в могиле, отец неизвестно где, возможно, тоже погиб. Сестра в Ташкенте, тетя Дрейзл не пишет, может, и с ней что-то нехорошее случилось. Как я рыдала в те дни — несмотря на всю апатию, на бессилие и безразличие! Я рыдала, но никто меня не слышал и не слушал. В детдоме каждый ребенок переживал свою трагедию, благополучных детей там не было. Как это ни страшно сказать, горе, даже самое горькое, было в те дни и в том месте обычным, рядовым делом.

Поэтому я не могу описать, как я обрадовалась общению с братьями, хотя причиной его была смерть тети, которую я очень любила. Мы ведь вместе с ней прожили самые страшные годы, она была мне как мать. До сих пор, когда вспоминаю момент, как я увидела их на грузовике, у меня слезы сами начинают бежать из глаз.

От Раскиных так и не поступило ни одной весточки. И хотя я регулярно писала тете, она не отвечала. Я терялась в догадках — почему? Как это может быть, чтобы она не интересовалась нашей судьбой? Может, она за что-то на нас обиделась? Но за что? И разве мы могли сделать что-то такое, за что она нас знать не хочет? Позже мне стало известно — тетя не писала как раз потому, что думала о нас и заботилась о нашей дальнейшей судьбе.

Я уже говорила, что тетя и ее муж были настоящими, преданными хабадниками. Когда они попали в Алма-Ату, сразу же связались с отцом Ребе — Леви-Ицхаком Шнеерсоном⁶, отбывавшим ссылку в этом городе. Когда реб Леви-Ицхак заболел, Янкев-Йосеф ухаживал за ним. И, понятное дело, за Янкевом-Йосефом и всей его семьей начали приглядывать органы.

Служка стала особо плотной после того, как отец Ребе скончался и Янкев-Йосеф устроил похороны, *шиву* — семидневный траур, чтение кадиша в его доме — все, что полагалось. Органам это сильно не понравилось, и угроза ареста буквально нависла над ним. Естественно, что в такой ситуации тетя опасалась устанавливать с нами регулярную связь, боясь своими письмами привлечь и к нам внимание органов. Когда отец Ребе скончался, Янкева-Йосефа больше ничто не удерживало в Алма-Ате и, чтобы избавиться от опасности, он при первой же возможности вместе со всей семьей уехал в Москву. И там произошло чудо — к ним домой пришел мой отец!

Всевышний услышал наши молитвы и спас ему жизнь. На фронте смерть много раз проносилась совсем рядом, порой опаляла его своим дыханием.

⁶ Леви-Ицхак Шнеерсон (1878–1944) — отец Ребе Менахема-Мендла. По линии отца — праправнук третьего Любавичского Ребе Цемаха Цедека. С 1909 по 1939 г. — главный раввин Екатеринослава (с 1926 г. — Днепропетровска). В 1939 г. был обвинен в антисоветской деятельности и сослан в городок Чиили, неподалеку от Алма-Аты. Через несколько лет получил разрешение переселиться в Алма-Ату, где и скончался.

Но отец выходил невредимым из самых жутких переделок. словно ангел-хранитель простирает над ним свои крылья, оберегая от пуль и осколков. Вот и в последнем своем бою он остался жив не иначе как благодаря прямому Божественному вмешательству.

В тот раз рота отца попала под очередной арт-обстрел. Отец нашел укрытие не в окопе, а под какой-то скалой. Впрочем, это был не окоп, а канава. Места в ней для всех бойцов не хватало, отец не стал втискиваться, выпихивая других, и залег под скалой. Собственно, ее и скалой-то назвать можно было с большой натяжкой, так — большой камень.

Как только артобстрел чуть приутих, из канавы выполз боец и предложил: «Давай меняться местами». Отец ему отвечает: «Какая разница, и тут опасно, и там опасно, я ведь не в блиндаже лежу». Но тот заупрямился, да еще подкалывать начал: «Понятно, евреи всегда и везде хорошо устраиваются, теплые местечки находят. Здесь безопасней, чем в окопе, — давай меняться».

Отец обиделся, услышав такие разговоры про теплые местечки — и где, на передовой, под огнем фашистов! А места за камнем было для одного, не больше. И отец переполз в канаву. Не успел он втиснуться в нее, как снаряд угодил точно в камень, и того бойца разнесло буквально в клочки. Да и тех, кто прятался в канаве, хорошо задело осколками. Отец тоже получил ранение, но не тяжелое. Его эвакуировали в полевой лазарет, а потом отправили в тыл.

В госпитале отец пришел в себя, подлечился. Завскадом там был какой-то еврей, и он предложил отцу, чтобы тот ему помогал. Конечно, можно было и дальше валяться на койке, но работа на складе хоть как-то отвлекала отца от грустных мыслей. Он ведь все время искал нас и не мог никак напасть на след, не мог обнаружить, куда же мы делись.

Отец оставил под самым носом у наступавших фашистов жену на сносях и двух маленьких девочек. Оставил, подчиняясь воинскому долгу. Но все эти годы он терзал самого себя — может, следовало нарушить приказ, помочь семье эвакуироваться, а потом явиться на первый же мобилизационный пункт? Кто бы тогда, в неразберихе отступления, обратил на это внимание? А семью бы он спас.

С того июньского вечера ему о нас ничего не было известно. Мы запросто могли попасть под немецкие бомбы или оказаться на оккупированной территории. И тогда произошло бы самое страшное. Но пока он не получил окончательного ответа о постигшей семью судьбе, отец не терял надежду и продолжал розыски. Мы тоже его постоянно искали, но почему-то не могли найти.

Когда отец окончательно поправился, его выписали, и он поехал в свою часть. И вот в поезде он случайно разговорился с одним евреем. Шли тогда поезда долго, с частыми остановками. И попутчики коротали время за разговорами. Ну, слово за слово — кто ты, откуда едешь, где служишь, и отец посетовал: «Ищу семью и никак не могу найти». А еврей тот оказался из Ленинграда. Отец

на всякий случай поинтересовался: «Может, вы знали в Ленинграде моего зятя — Янкева-Йосефа Раскина?» Тот аж подскочил: «Раскин? Я несколько дней назад в Москве столкнулся с ним на улице!» И дал отцу адрес.

Отец, конечно, сразу поехал в Москву. Что уж тут говорить, ждали его страшные известия: девочки в детдоме, а все остальные умерли от голода — жена, свояченица, золовка, ее мать. И единственный сын, названный в честь его отца, — Шмарьёгу, которого он так никогда и не увидел. Можно только себе представить, что чувствовал отец, когда услышал эти новости.

Янкев-Йосеф сказал ему: «Все, теперь твоя главная задача — дети. Ты обязан поехать в Узбекистан и привезти их к нам, в Москву». Но как? К счастью, война уже заканчивалась. Раскин располагал связями и выправил отцу отпуск, чтобы тот мог забрать семью. Но отец поехал не сразу.

У Янкева-Йосефа была сестра Сара Каценеленбоген, которую все звали *муме Сора* — мама Сара. Выдающаяся женщина — деловая, хваткая, умеющая делать деньги буквально из воздуха. И к тому же очень красивая. С помощью своей красоты, энергии и денег она добивалась невозможного, всегда сохраняя оптимизм и хорошее настроение, которое внушала всем окружающим. Хотя ее жизнь вряд ли можно было назвать радостной — в тридцать седьмом году ее мужа арестовали, и он как в воду канул. Лишь через несколько лет она получила официальное уведомление, что он рас-

стрелян как враг народа. Снова замуж она не вышла и сама воспитывала детей.

В годы войны она оказалась в Самарканде, где была большая колония хабадников. Отец написал муме Соре, попросил посмотреть, как обстоят дела у Минны в ФЗУ, и проверить, можно ли ее оттуда забрать. Муме Сора сразу же поехала в Ташкент, но руководство ФЗУ не хотело отпускать Минну — мол, жалко девочку, у нас она учится, овладевает специальностью ткачихи и делает большие успехи.

Минна стала тетю уговаривать: «Забирайте меня и не слушайте их. Тут так много детей, что никто моего отсутствия не заметит. Что же касается специальности, то я вовсе не мечтаю гнуть спину ткачихой на государственной фабрике по восемь часов в день за гроши. Заберите меня, и все тут». Но муме Сора, хоть и понимала настроение девочки, не хотела пороть горячку: «Сейчас я тебя не возьму, все подготовлю и приеду еще раз».

Минна жила в комнате с еще тремя девочками. Хотя было очень голодно, но девочки — это девочки. Им тогда уже было по четырнадцать-пятнадцать лет, и они хотели как-то принарядиться. А как — денег-то у них ни копейки. И они придумали следующее: целую неделю не будут есть хлеб, который им выдают в ФЗУ. Продадут его и на вырученные деньги купят одной из них платье. А потом немного подождут — и купят таким же образом платье для следующей. Даже с такими перерывами подобное голодание могло им доро-

го обойтись — от всего рациона у них оставалась только похлебка, да иногда каша. Но хочешь быть красивой — терпи и страдай!

Минне по жребию досталась первая очередь. Она купила белое платье в красный горошек и просто не могла на него налюбоваться. Естественно, она его не носила, а хранила на какое-то праздничное мероприятие или на особый случай. А может быть, чтобы в воскресенье вместе с подружками прогуляться по городу. Это была ее первая обновка с начала войны, по существу — первое взрослое платье. Да еще и купленное самостоятельно.

Короче говоря, Минна так любила свою обновку, что даже спала вместе с ней, положив платье под подушку. Но через несколько дней после покупки, так ни разу не выйдя с ним на люди, она проснулась утром и — о ужас! — платья под подушкой не оказалось. Кто-то вытащил его ночью, а Минна даже и не слышала. Господи, какое горе было у нее!

Минна так расстроилась, что даже не пошла на занятия. Она сидела на своей кровати и плакала, когда в комнату вошла муме Сора и сказала ей: «Я за тобой, пошли». Муме Сора, как и пообещала, обо всем договорилась с руководством училища, оформила все необходимые документы. Они уехали в Самарканд, где Минна прожила полгода до приезда отца.

В Самарканде все любавичские нашли себе хорошую работу — ткали чулки. Фабрика устанавливала им дома ткацкие станки и назначала объем выработки. А дальше уже было твое дело,

как его выполнить. Хочешь — работай днем, хочешь — ночью. Главное, чтобы в конце месяца ты отчитался по установленному для тебя плану. Эти планы были большие, трудиться приходилось много, но такая работа давала уникальную возможность соблюдать субботу и праздники. И приносила пусть и небольшой, но твердый заработок. Минна тоже включилась в эту работу и не голодала все время, пока жила в Самарканде.

Папа приехал в детдом точно в День Победы — девятого мая. Боже, какое это было счастье для меня и моих двоюродных братьев! Нам казалось — после всего, что мы пережили, — горе и зло навсегда остались там, в военных годах. А впереди нас ждут только радость и счастье. Но нашим надеждам не суждено было сбыться.

Когда мы стали прощаться с детьми в детдоме, то Хаимке, сын сестры тети Ханы, начал плакать и упрашивать отца, чтобы он забрал и его. Отец пытался ему объяснить: «Я не знаю, как прокормлю этих четверых, что я с ними буду делать». Но тот страшно плакал и так просил не оставлять его одного, что сердце у отца не выдержало.

Проблем с оформлением документов не возникло, хотя отец и не приходился Хаимке кровным родственником. В детдоме были рады пристроить еще одного воспитанника. И не только потому, что это был лишний рот, — они обрадовались, что ребенок будет жить в семье. А даже при послевоенных трудностях это было все же намного лучше, чем в детдоме.

Спустя двадцать два года Хаимке погиб в Шестидневную войну, во время боев на Гиват-ѓа-Тахмошет в Иерусалиме. Его имя выбито на мемориальной стеле, установленной там. Он воевал с таким героизмом, что посмертно ему присвоили один из высших орденов Израиля — *итур ѓа-оз*⁷. И я понимаю, что стояло перед его глазами во время сражения, — он не хотел своим детям той судьбы, что выпала на его долю и на долю всей его семьи.

Папа не мог сразу увести в Москву всех детей и оставил в Самарканде у муме Соры пятилетнего Додика, самого младшего сына тети Ханы, и семилетнего Хаимке. Муме Сора ему поклялась, что от голода эти дети не умрут. И сдержала свое слово. Отец хотел оставить с ними и самого старшего племянника, Хаима, названного в честь того же деда, что и маленький Хаимке. Но тот уперся и ни в какую не соглашался. Как мы его ни упрашивали, он почему-то был совершенно непреклонен. И отец уступил.

Ехали мы в Москву поездом больше десяти суток. По дороге Хаим заболел менингитом. И умер. Прямо в вагоне, у нас на руках. Мы так надеялись, что больше не увидим смерть близких, а она вновь, уже после победы, обмахнула нас своим черным крылом.

Я не была в гетто и в концлагере. И не числюсь среди тех, кого называют *ницолей Шоа* — выжившие в Катастрофе. Но я отношу себя к ним с пол-

7 Орден мужества.

ным основанием — я пережила не меньше горя, смертей и ужаса. Человек — слабое создание, на которое окружающий мир оказывает сильнейшее воздействие. И порой достаточно совсем мало-го, чтобы расправиться с ним, — чуть меньше еды, чем надо, отсутствие в нужный момент нескольких таблеток, просто сквозняк в вагоне. Но иногда человек бывает крепче стали.

Как я выжила, почему сохранила не только физическое, но и душевное здоровье? Не понимаю. И мои дети, когда я им все это рассказываю, тоже не понимают. А о внуках и говорить нечего: для них бабушкины истории примерно то же самое, что и сказки. Они не могут себе представить, что все это было на самом деле, с реальными, а не вымышленными людьми. Что все это не придумано, а пережито. И слава Богу, что не могут.

Забегая чуть вперед, расскажу, что мой будущий муж Зелиг был единственным из всей его большой хабадской семьи, кто выжил в ленинградской блокаде. Он потерял всех до единого. Просто всех! У меня хоть были сестра и отец, двоюродные братья, относившиеся ко мне как родные. А Зелиг после блокады остался один-одинешенек на всем белом свете. Наверное, это нас в свое время и сблизило.

Но вернусь в сорок пятый год. Мы прибыли в Москву точно в праздник Суккот и с вокзала прямиком отправились в синагогу, в сукку. Там мы столкнулись с дядей Янкевом-Йосефом. Не могу забыть своего удивления — и не только от того,

что впервые за много лет я вновь оказалась в сукке, но и от того, что на столах стояло довольно много тарелок с едой и никто не набрасывался на нее. Люди спокойно сидели, пели песни, делали лехаим, закусывали. Я уже отвыкла, что возле еды кто-то спокойно сидит. Все последние годы, когда на столе оказывалась пища, ее моментально сметали до последней крошки. У меня полились слезы, но я как-то сумела себя сдержать. А у Минны началась настоящая истерика.

Янкев-Йосеф вывел нас из сукки и отвел к себе домой. Когда мы зашли в квартиру, он не пустил нас в комнаты, а проводил на кухню и позвал тетю, чтобы она полностью раздела нас. Потом взял наши грязные, совершенно завшивленные вещи и, хотя это был праздник, сжег их в печке. Он велел тете немедленно разогреть воду и вымыть нас. Да не просто вымыть, а выдраить мылом и мочалкой.

А двоюродного брата отец отвез в больницу. Еще в Самарканде выяснилось, что брат заболел пеллагрой, от которой умерла моя мама. Но отец сказал ему: «Если ты, несмотря ни на что, не умер до сих пор, то теперь я тебе не дам умереть». И сделал все возможное, чтобы спасти мальчика. Поэтому в день приезда, прямо в праздник, он отправился с ним в больницу, добился, чтобы его приняли, да еще и нашел там врача-еврея.

Услышав рассказ отца о том, какие муки, какие страдания выпали на долю этого мальчика, врач предпринял героические усилия ради его спасения. Братик пролежал в больнице три ме-

сяца. Что только ему там не делали — поменяли всю кровь, давали всевозможные лекарства. Врач действительно очень старался. И на этот раз смерть отступила.

В сорок шестом году начался отъезд польских евреев из России. Ребе написал письмо: тот из хабдников, кто может выехать, причем любым путем, пусть уезжает. Но как? Мы ведь не польские евреи, а русские. Реб Мендл Футерфас создал целую подпольную организацию, которая наладила производство фальшивых документов. Раскиным в числе первых удалось получить такие документы. Минна выехала вместе с ними, они записали ее как свою дочь. А я пока осталась с папой. Муме Сора сватала ему какую-то женщину, но я заявила твердо и однозначно: «Не позволю! Не хочу, чтобы в нашем доме появилась мачеха!»

Откуда я знала, что такое мачеха? Да из детдома, конечно. Там самым страшным проклятием было — «чтобы ты попал к мачехе». В детдоме находились разные дети, в том числе и такие, чьи отцы женились вторично и мачеха спровадила их в детдом. И они такое понарасказали об отношении мачехи к детям мужа от первого брака, что я решила: будь что будет, а мачеху в дом я не пушу!

Это сейчас я понимаю, насколько эгоистичным был мой поступок, как я мешала отцу, оставшемуся бобылем после войны, устроить свою жизнь. Но для того, чтобы это понять, надо было прожить годы, набраться опыта. И главное — отойти от того ужаса, который я пережила в годы

войны. Я настрадалась от потери близких и даже думать не могла о том, что в доме появится чужая женщина и отнимет у меня хотя бы толику отцовской любви и внимания.

И тут наш добрый ангел муме Сора раздобыла у реб Мендла Футерфаса бумаги на выезд для семьи своего старшего сына. В них вписали меня и двух моих оставшихся в живых двоюродных братьев как его детей. И в сорок шестом году по этим фальшивым документам мы благополучно выехали из Советского Союза. Когда я расставалась с отцом, то думала, что разлука будет недолгой, — он должен был уехать со следующей партией хабадников. Но организацию реб Мендла раскрыли, и отец застрял в СССР на долгие двадцать лет.

Когда мы встретились, я уже была замужем, имела свой дом, семью, детей. Судьба распорядилась так, что детство мое прошло, по существу, без родителей — без ласки матери, без совета отца. Была у нас в детдоме такая песенка, я помню ее до сих пор: «Я не мамкина, я не папкина, я на улице росла, меня курица снесла». Но, к счастью, ко мне не прилипли обычаи и привычки улицы, я осталась религиозной еврейской девочкой.

Мы пересекли границу в Чопе, и нам, детям, велели разговаривать между собой только по-еврейски. А лучше всего вообще молчать — чтобы никто не догадался, что мы не поляки. Ведь польского языка мы не знали, а по возрасту были обязаны знать. Да и имена в подложных документах у нас были другие. И чтобы ничего не перепу-

тать, не выдать себя, да и всех, мы превратились в молчаливых.

А было нас, *нивроку*⁸, семеро детей. Четверо — сына муме Сора и нас трое. Сбиться и перепутать было проще простого. Но Всевышний помог, советские пограничники ничего не заподозрили, ничего не заметили и выпустили нас в Польшу.

Там нас встретили представители «Джойнта» и дали еду. До сих пор, хотя я уже шестьдесят лет живу в Израиле, первое, что мне приходит на ум, когда я вспоминаю Польшу, — еда. И не только Польшу. Еда тогда и еще много лет спустя была для меня самым главным. Я, конечно, понимала, что уже больше нечего опасаться, — голод не вернется. Но, несмотря на магазины, полные продуктов, на собственную кухню, забитую ими, поделаться с собой ничего не могла. Вечно припрятывала где-нибудь маленькие запасы — для чего, зачем? Но я запасалась едой и не могла себя превозмочь.

Из Польши мы напрямиком направились в Германию, в перевалочный лагерь Покинг. Там уже находились около восьми тысяч евреев, спасшихся в Катастрофе. Скоро там собрались многие наши родственники — Раскины с Минной, маленький Хаимке и Додик, приехавшие с какими-то хабадскими семьями из Самарканда. Всем им устроила документы муме Сора.

Она очень многим помогла тогда. Думаю, зрелище детдома, из которого она вызволила Мин-

8 *Нівроку* (укр.) — «чтоб не сглазить».

ну, глубоко запало ей в душу. Ведь в Самарканде, где муме Сора провела войну, ничего подобного она увидеть не могла даже в самые страшные годы. Любавичские держались друг за друга крепко и пропасть никому не давали. Это нам так ужасно не повезло, что мы очутились на отшибе — одни, вдали от своих. И муме Сора настолько впечатлилась нашим сиротством, что дала себе зарок: вывезти, спасти из большевистского СССР как можно больше еврейских детей. «Скольким смогу, стольким и помогу», — говорила она. И зарок свой, как всегда, сдержала.

В Покинге началась более-менее нормальная жизнь. Еды было вдоволь и к тому же кошерной. С детьми начали заниматься, а хабадники организовали ешиву.

И тут появился мой дядя из Эрец-Исроэл. Тот самый сионист Элиёгу Каплан, который чудом ускользнул из лап чекистов в Бобруйске. Он узнал, что сестра скончалась, ее муж застрял в СССР, а мы, две его племянницы, остались неприкаянными. Кстати, рассказал ему об этом известный хабадник Пинхас Альтгойз — дядя моего будущего мужа. Он занимался помощью русским евреям и был в курсе всех дел.

Много лет спустя я назвала в его честь одного из моих сыновей, который сейчас является представителем всех раввинов СНГ в Израиле. Он часто ездит в Россию, вхож там в самые высокие круги. Кто мог знать, что жизнь совершит такой оборот?

Дядя Элиёѓу приехал в Покинг в начале сорок седьмого года. Он не видел тетю Дрейзл больше двадцати лет и боялся, что его внезапное появление испугает ее. Ему указали на бараки, где жили хабадники, а он все ходил вокруг да около, не решаясь войти. Потом подозвал какого-то мальчика, игравшего во дворе, и научил его, что говорить.

Тот зашел в барак и спросил у тети: «Дрейске, у вас есть брат в Эрец-Исроэл?» «Конечно, есть. Но я его уже много лет не видела и не имею о нем никаких вестей. А что ты вдруг спрашиваешь?» — ответила она. «Да потому что он стоит там, под домом, во дворе», — сказал мальчик.

Дрейзл не поверила, решила, что произошла какая-то ошибка или над ней подшучивают. Мальчик выбежал во двор и рассказал это Элиёѓу. И только тогда он решился войти в барак.

О, какая это была встреча! Как они смеялись от радости, как целовали друг друга! И сколько слез пролили вместе! Им надо было о многом друг другу рассказать, ведь столько времени прошло с тех пор, как он мальчиком ночью убежал из дома. Целая жизнь!

Элиёѓу пробыл в Покинге несколько дней, все разузнал и предложил, чтобы я вернулась вместе с ним в Эрец-Исроэл. У него в заграничном паспорте была записана дочь примерно моего возраста. И он спокойно мог ввезти ее в Палестину, тогда ведь такого жесткого паспортного контроля, как сейчас, не было. Задурить голову англичанам не представляло особого труда — дядя про-

сто должен был сказать, что возвращается вместе с дочерью из путешествия за границу.

Но я категорически отказалась, я не хотела и не могла оставить сестру. Так много времени я провела без нее, пока она училась в ФЗУ, что больше расставаться у меня просто не было уже никаких сил. Жизнь научила меня простой истине: никто не знает, что день грядущий нам готовит. Отец должен был всего через несколько недель присоединиться к нам, да так и застрял в СССР. И вот снова разлука, на этот раз уже с Минной? Я уеду, и что станется с Минной, никому не известно. Увидимся ли мы вновь? Или распростимся в Покинге навеки?

Война и смерти близких оставили в моей душе зияющие раны, которые зажили, да и то не полностью, лишь спустя многие десятилетия. А тогда они еще кровоточили вовсю. И я ни за что не хотела расставаться с единственным родным человеком, оставшимся у меня на свете здесь, в Германии. Я сказала Элиёгу: «Вы меня извините, но я вас не знаю. Вы хоть и дядя, но пока для меня чужой человек. Без сестры я с места не сдвинусь».

Он понял, не стал спорить и уехал, взяв вместо меня какую-то другую девочку. Но вернулся буквально через несколько месяцев. Ведь и Элиёгу все годы тоже был один. И очень скучал по семье, по близким. А когда он нашел нас, да еще воочию увидел условия нашей жизни в Покинге, то поставил своей целью как можно быстрее вызволить нас оттуда.

Нет-нет, конечно, по сравнению с тем, что мы вынесли в Узбекистане, в Покинге все обстояло просто замечательно. Но места в бараках было мало, спали все вместе, о школе приходилось только мечтать. Короче, для нормального человека это были плохие условия. Элиёгу очень хотел всех нас, хотя бы меня в первую очередь, оттуда увезти. И таки увез. Вместе с моим двоюродным братом Додиком.

Я согласилась лишь потому, что меня убедили: вот-вот и Минна окажется в Палестине. Война закончилась, голода нет, мы все находимся в свободном мире. Опасаться нечего, а несколько месяцев разлуки можно и потерпеть. Но, как всегда, в жизни все оказалось иначе. И страхи мои были не напрасными. Я-то сумела приехать в Палестину, а Минне пришлось ждать почти три года. Она застряла в Германии вместе с Раскиными и всеми остальными хабадниками, алие которых препятствовали англичане. Хабадники сумели выехать из Покинга в Израиль только в сорок девятом году, уже после провозглашения государства.

А мы совершили целое путешествие по Европе. Сперва приехали в Париж, дядя показал нам город и завершил экскурсию походом в большой универмаг. На входе его вдруг остановили: «Кто это с тобой?» Он ответил: «Мои дети». Но охранник засомневался: «Не могут быть это твои дети, посмотри, как одет ты и как одеты они!» И действительно, дядя ведь был одет как западный человек. А мы — в советских обносках. И тогда он

прямым ходом повел нас в отдел готового платья и одел с головы до ног.

Из Парижа мы приехали в Марсель, где сели на пароход, отплывавший в Хайфу. Перед отплытием я потребовала, чтобы дядя купил мне субботние свечи. Пароход уходил в пятницу днем, и я боялась, что у меня не будет свечей. И как дядя мне ни доказывал, что свечи на пароходе найдутся обязательно, я уперлась. Мой опыт ребенка, сформировавшегося в годы эвакуации, голода и всеобщего, колоссального дефицита даже самых насущных вещей, не говоря уже о таких мелочах, как какие-то свечи, научил меня никому не верить, ни на что не надеяться и рассчитывать только на саму себя. И дядя купил свечи.

Плавание прошло тяжело. Пароход был небольшим, его сильно качало. И меня все время тошнило. Это был еврейский пароход, и на нем действовали две кухни — некошерная и кошерная. В первой было довольно много еды. А во второй — почти ничего. Но я сразу заявила, что ем только кошерную пищу, неважно, какой у нее ассортимент.

А семилетний Додик увидел на некошерной кухне мясо нескольких видов и сказал: «Какая мне разница, кошерное или нет. Я хочу кушать, и все». И начал есть все, что ему давали. Когда я это увидела, то просто разрыдалась: «Как ты можешь, как тебе не стыдно!» И до сих пор я не могу забыть эту сцену. Да и он, по правде говоря, тоже.

Когда мы приехали в Палестину, я поменяла свое имя. Дядя сказал мне категорически: «Здесь

нет галутских имен. Надо выбрать ивритское имя». Ну, понятно, Гита — это Това. Так я стала Товой.

Дядя нанял мне частного преподавателя иврита. И хотя дядя был человек совершенно светский, он начал оформлять меня на учебу в религиозную школу. Пусть не в ультраортодоксальную «Агудат Исраэль», но в «Мизрахи», школу религиозных сионистов. Так он пообещал Янкеву-Йосефу.

Дядя жил в мошаве Авигаль, возле Нетаньи. Он очень хорошо устроился в Палестине, был довольно состоятельным человеком, имел свой дом, фирму, сбережения в банке. И семья у него была хорошая — жена, трое детей. Но все годы его мучило, что он один — совершенно один, все его родственники остались в СССР. Поэтому он очень старался помогать мне и Додику.

Но он не знал, что с нами делать. Мы ведь словно явились с другой планеты. Хотя мне уже минуло тринадцать лет, я была маленькой и очень худой. Когда я шла спать, всегда брала с собой в кровать несколько кусочков хлеба. Понятно, как это смотрелось и кем меня про себя считали мои двоюродные братья и сестры, выросшие в Палестине и не знавшие, как люди умирают с голоду. Ницолей Шоа — спасшиеся в Катастрофе — еще не приехали, и такое поведение было для сабр, мягко говоря, необычным. Я действительно казалась им инопланетянкой.

Дядя устроил Додика в садик, начал устраивать и меня в учебное заведение. Но я сказала, что хочу быть с такими же детьми, как и я. Тогда органи-

зация «Алият га-ноар» («Репатриация молодежи») собирала по всей Европе уцелевших еврейских детей и переправляла в Эрец-Исроэл. В сельскохозяйственной школе «Микве Исроэл», находившейся возле Тель-Авива, она поселила первую группу детей из Польши. Они прошли ад, и я прошла ад. Мне не нужно было ничего объяснять или доказывать им, они понимали меня без слов, среди них я не выглядела белой вороной. Меня включили в группу, я прозанималась в ней два года и до сих пор сохраняю связь со своими соучениками.

В «Микве Исроэл» были две группы — религиозная (*мизрахи*) и светская. Мы относились к мизрахи, нас обучали истории, Танаху, арифметике, сельскому хозяйству. Не могу сказать, что это восполняло обширные пробелы в моем образовании, но и это было хорошо. Я хоть и окончила большой жизненный университет, но в нормальной средней школе почти не училась.

В пятьдесят первом году, когда мне минуло семнадцать лет, я записалась на курсы медсестер при иерусалимской больнице «Шаарей цедек». Я выбрала именно эту больницу, потому что она обслуживала в основном религиозное еврейское население Иерусалима и в ней работало много верующих.

Начались занятия, которые мне очень нравились, — и сами предметы, и интенсивность лекций. Но тут сказалось мое голодное и холодное детство. Я проучилась совсем немного и заболела. Сперва прихватила ангина — хоть и тяжелая, но всего лишь ангина. Но она дала осложнение на сердце.

Мне сделали операцию — вырезали железы. Когда дядя приехал меня проводить, главврач отозвал его в сторону и сказал: «Если бы эта девушка была моей дочерью, я бы ни за что не позволил ей учиться, а потом работать по такой тяжелой специальности, как медсестра. Конечно, она еще очень молода, и, скорей всего, у нее все пройдет. Но я бы не стал рисковать и забрал ее с этих курсов». Дядя как услышал это, воскликнул: «Это же моя дочь!» И забрал меня в тот же день. Так я и не стала медсестрой.

К тому времени Минна уже приехала вместе с семьей Янкева-Йосефа и училась в Рамат-Гане, где тоже была школа «Алият га-ноар». Сами Раскины поселились в Кфар-Хабаде и стали одними из его основателей. Минне уже исполнился двадцать один год, и вскоре она вышла замуж за любавичского хасида из Кфар-Хабада. Ее муж предложил мне познакомиться с его другом, очень хорошим парнем. Но я отказалась. У меня были совсем другие планы.

Я сказала ему и Минне, что в восемнадцать лет мне еще рано обзаводиться семьей, я хочу не замуж, а в армию. Ну, конечно, тут все стали сопротивляться: как это так, религиозная девушка — и в армию. Но я опять заупрямилась: «Мне сказали в больнице, что, если я полгода буду вести нормальный образ жизни, у меня все пройдет. Может быть, и нет, но шансы примерно пятьдесят на пятьдесят. Но если я буду вести себя как больная, то и буду чувствовать себя больной. Вы

говорите — замуж? Кто ж меня такую, с больным сердцем, возьмет замуж?»

И я пришла в военкомат точно в тот день, который был указан на моей повестке. Но, ознакомившись с историей болезни, меня отказались призвать в ЦАХАЛ. Я не отступила и не сдалась, и через полгода меня все же взяли.

Я попала в НАХАЛ-дати — специальное подразделение для религиозных девушек. Служили мы в кибуце Тират-Цви, неподалеку от иорданской границы. В те годы граница была практически открыта, и через нее постоянно проникали террористы. Поэтому служба наша была очень ответственной и очень опасной. Мы охраняли кибуц и были готовы в любую секунду отразить нападение. К счастью, мне так ни разу и не пришлось участвовать в бою.

В Тират-Цви я пробыла год, а потом меня перевели под Хайфу. Тогда в Израиле катастрофически не хватало учителей и воспитателей детских садов — приехала большая алия из арабских стран, многодетные семьи. Армия дала возможность всем желающим во время срочной службы пройти курс воспитательниц. И я целый год три раза в неделю ездила в Хайфу заниматься по вечерам на этих курсах. Я многому научилась на них, но диплома они не давали.

После демобилизации я вернулась к дяде Элиёгу в Авигаль и пошла работать помощницей воспитательницы в детском саду мошава.

Ну, понятно, я очень часто гостила в Кфар-Хабаде — у Минны и у Раскиных. И муж Минны

все время говорил мне: «Давай я познакомлю тебя с тем парнем, ты даже не понимаешь, как он тебе подходит». И познакомил в конце концов. Каждый раз, когда я приезжала в Кфар-Хабад, этот парень — звали его Зелиг Альтгойз — крутился возле меня. Но я на его ухаживания не обращала никакого внимания.

Меня в армии называли монашкой, потому что я даже не смотрела в сторону парней. Времени у меня на это не было: днем — служба, а я была хорошим солдатом, по вечерам — учеба. Да и религиозные правила вовсе не предполагают гуляний с парнями, как это было принято тогда, да и сейчас, в армии. Как-то в День независимости мой бывший соученик навестил меня на военной базе, и все были в шоке: «Посмотрите, что творится, к монашке приехал парень в гости!»

Перелом в наших отношениях произошел, когда Зелиг заболел. Он жил, понятное дело, в Кфар-Хабаде: Альтгойзы не просто хабадники, а одна из самых уважаемых и больших хабадских династий. Но, как я уже говорила, почти все близкие Зелига погибли в ленинградской блокаде. И поэтому жил он один. Дали ему какой-то угол в полуразрушенном арабском доме — ведь тут была арабская деревня, покинутая жителями. И первые жители Кфар-Хабада жили в этих домах. Потом, понятно, построили нормальные жилища.

Один раз Зелиг должен был приехать ко мне в гости, но не приехал. Тогда даже обычные телефоны были большой редкостью, поэтому ничего

странного не было в том, что он не позвонил. Но на сердце у меня было беспокойно. И я поехала в Кфар-Хабат, чтобы разыскать Зелига. Начала спрашивать его друзей, знакомых, и выяснилось, что уже несколько дней его никто не видел. Тогда я пошла к нему домой. И что же — он, бедняга, валялся на своем матрасе, положенном прямо на пол.

Зелиг был так беден, что не имел кровати. И вот на этом полу он провел три дня с температурой под сорок. К нему никто не приходил, а он даже не имел сил выйти. И на работе его никто не хватился, хотя тогда он уже был гражданским сотрудником на одной из военных баз.

Я никогда не забуду это зрелище: в Эрец-Исроэл, в самом центре страны, и не где-нибудь, а в Кфар-Хабаде, он мог запросто умереть. И я сказала: «Все, как только ты выздоравливаешь, мы идем в раввинат и ставим хупу⁹». Это было в пятьдесят четвертом году.

Мы поселились в Кфар-Хабаде, и с тех пор вот уже пятьдесят четыре года я здесь живу. Поначалу у нас была одна комнатка Зелига в разрушенном арабском доме — с туалетом во дворе. Без водопровода, с крысами, бегавшими по комнате ночью.

В пятьдесят пятом году, когда я родила первую дочку, Двойреле, «Сохнут»¹⁰ начал строить дома

9 Хупа — балдахин на четырех шестах, под которым стоят жених и невеста во время свадебной церемонии; метонимическое обозначение самого обряда бракосочетания. — *Прим. ред.*

10 «Сохнут» — Еврейское агентство (*ивр.* сохнут) для Израиля, организация, занимающаяся репатриацией евреев в Израиль. — *Прим. ред.*

для жителей поселка. Нам хотели возвести домик с двумя маленькими и низкими комнатками, да еще и с туалетом во дворе. Дядя Элиёу помог нам с деньгами, и во время строительства нам сделали туалет в доме и увеличили высоту потолков.

Это было самое настоящее счастье — хоть и небольшой, но свой собственный новый дом. Только для моей семьи, моего мужа и детей. После всего, что я прошла, эти две комнатки стали моим убежищем, моим раем, моей землей обетованной. Семья потихоньку росла — родились еще одна дочка и трое сыновей. Все стали хабадниками. Все, кроме одного сына, обзавелись семьями. У меня много внуков, я богатая бабушка.

Мои дети часто спрашивают: мама, как ты могла пройти через ад и не просто выжить, а стать такой, какая ты есть? Я и сама не понимаю. Думаю, все дело в корнях. Я ведь почти не имела детства, мыкала горе чуть ли не с младенчества: война, эвакуация, голод, смерть близких. Мать умерла рано, отца я почти не видела, поэтому воспитывать меня, по существу, было некому.

Откуда же взялись мои убеждения, моя вера во Всевышнего, мои моральные и этические принципы, которые я пронесла через все испытания? У меня есть только один ответ: корни, мои святые предки, хабадники. В иудаизме есть такое понятие — заслуги отцов. Благодаря этим заслугам я прошла через ад и не сломалась, сохранила заветы предков, добралась до Эрец-Исроэл и сумела создать большую, настоящую любавичскую семью.

ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТЫ

Фрида Левин

Я, Фрида Левин, родилась в 1919 году в Кременчуге. В этом городе мои родители Йехиэль-Йосеф и Шейна Ривкины прожили до тех пор, пока мне не исполнился год, а затем перебрались в белорусский городок Климовичи. Спустя пять лет они вновь переехали — уже в Гомель.

Отец был механиком. Говорят про мастера «золотые руки» — это точно про моего отца. Он мог чинить любые механизмы и делал это легко, мастерски, словно занимался их ремонтом многие годы. Но специализировался отец на швейных машинках всех видов и размеров.

Тогда ручные швейные машинки были очень распространены. Покупать готовые вещи в магазинах было далеко не всем по карману. Да и просто достать готовое платье в торговой сети представляло собой почти неразрешимую задачу. Вот все и занимались пошивом на дому — кто как мог. Особенно в деревнях, где о готовой одежде и слыхом не слыхивали.

Но крестьяне не умели обращаться со швейными машинками и смазывали их подсолнечным маслом. Поэтому машинки быстро ржавели и приходили в негодность. Отец покупал их, чистил, чинил, смазывал настоящим машинным маслом и продавал.

В период нэпа он имел свою мастерскую и хорошо зарабатывал, так что жили мы в достатке. Но когда Сталин прикрыл нэп, у отца мастерскую реквизировали¹. Просто так — взяли и забрали. Будто это не была его собственность, будто он не вложил свои деньги, свой труд и умение в приобретение имевшихся в мастерской приспособлений и инструментов. И не только забрали, а еще сказали: «Благодари советскую власть за то, что тебя, частного собственника, не отправляем в тюрьму на перевоспитание, а оставляем на свободе».

Отец и мать происходили из потомственных любавичских семей, поэтому мы вели хасидский образ жизни. Отец ходил с бородой и никогда не скрывал, да, собственно, это и невозможно было скрыть, что он религиозный еврей. Поэтому евсеки² не давали

1 Нэп — новая экономическая политика в СССР, пришедшая на смену политике военного коммунизма. Введена в 1921 г., официально отменена в 1931-м, но фактически свернута уже в конце 1920-х. Допускала мелкое и среднее предпринимательство в торговой и производственной сферах, хозяйственную и финансовую независимость крупных предприятий, относительную свободу рынка, привлечение иностранных капиталов и др. — *Прим. ред.*

2 Евсеки — члены еврейских секций ВКП (б), созданных наряду с другими национальными секциями с целью распространения коммунистической идеологии в среде национальных меньшинств в соответствующем языковом и культурном контексте. Еврейские секции существовали с 1918 по 1930 г. Будучи интернационалистами, члены евсекций выступали

ему спокойно жить, требуя, чтобы он начал работать по субботам. Но он категорически отказывался и не желал даже вести разговоры на эту тему.

Кроме того, евсеки требовали, чтобы отец сбрил бороду. Она им почему-то особенно досаждала. Впрочем, понятно почему — у отца была большая, роскошная, настоящая хабадская борода. И когда он шел по улице, да еще и в своей неизменной шляпе или кепке, всем было видно издалека: идет верующий еврей.

Дело кончилось тем, что евсеки устроили ему настоящий террор и выгоняли его, куда бы он ни устроился. Отец был вынужден все время менять место работы. Собственно, даже не менять — на постоянную работу его принимать перестали. Гомель — город небольшой, и все знали: возьмешь Ривкина, а через день-другой позвонят откуда следует и прикажут уволить. Да еще нагоняй получишь, что не проявил классовой бдительности.

Поэтому отец был вынужден перебиваться случайными приработками — неделю там, неделю тут. Чинил не только швейные машинки, а все, что предлагали: замки, примусы, часы. Не брезговал никакой, даже самой маленькой и не слишком выгодной работой. И к концу каждой недели у него всегда находилось, что принести домой семье.

ли против еврейского национального сепаратизма, однако далеко не всегда за полную ассимиляцию (напротив, евсекции способствовали развитию идишской культуры); будучи коммунистами-атеистами, евсеки боролись с иудаизмом и традиционным местечковым укладом, видя в религии главное препятствие для интеграции евреев в «семью народов».

А семья, слава Богу, была немаленькой — шесть братьев и сестер. Когда отец еще имел свою мастерскую, мы хоть жили и не в роскоши, особенно недостатка ни в чем не испытывали. Но вот нэп закончился, и на страну обрушился голод. А отец, по милости евсеков, именно в это время остался без постоянной работы.

Нас выручала корова. Большая, пегая, с тугим розовым выменем. Мама держала ее во дворе нашего дома, в отдельном сарае. Благодаря ей у нас было не только парное молоко — мама готовила масло, творог, сметану. Поэтому мы не так голодали, как наши соседи. Каждое утро мама отправляла корову на выгон, находившийся неподалеку от дома, и вечером наша умная кормилица сама возвращалась домой.

Но однажды она не пришла. Господи, как мы перепугались! Мама и отец, не чуя под собой ног, бежали весь город, пока, к великой радости, не разыскали нашу буренку. Оказалось, что на пищевой завод, стоявший рядом с выгоном, привезли большую партию лука и свалили в кучу возле забора. Корова учуяла его запах, а в заборе были настолько большие дыры, что через них проходила ее морда, и коровка, естественно, устроила себе настоящий пир.

Можно было бы за нее только порадоваться, если бы молоко и молочные продукты не представляли собой чуть ли не единственную нашу пищу. После того лукового пиршества мы голодали несколько дней — она слопала такое количество лука, что молоко ее стало невыносимо горьким.

Поскольку отец нигде постоянно не работал и не был, естественно, членом профсоюза, его зачислили в частники. И как-то раз мы получили сообщение от фининспекции, что он, оказывается, злостный неплательщик налогов и обязан в срочном порядке заплатить государству колоссальную сумму. Тогда ведь частных преследовали чуть ли не как врагов народа.

У отца, понятное дело, таких денег не было и в помине. Он вообще копейки за душой не имел. Отец пошел в фининспекцию и рассказал о своей ситуации. Мне не известно, как протекала там его беседа, но, похоже, отцу не поверили и через несколько дней пришли описывать имущество. А какое у нас было имущество — старые кровати, обшарпанные стулья, стол. Взять было нечего.

И тогда один из инспекторов решил забрать самовар, стоявший на столе. В этот момент терпение отца лопнуло — он буквально взорвался от гнева и стал страшно кричать на инспекторов.

Действительно, даже по советским законам они не имели права забрать самовар из семьи с шестью маленькими детьми. Отец так кричал, что чуть было не потерял сознание. Инспекторы впечатлились и ушли. А мы остались с самоваром. Лишись мы его, и стакан чая не смогли бы выпить.

Но, как говорится, нет худа без добра. Попытка изъятия у нас самовара подсказала отцу отличную идею. С моей помощью он написал письмо в фининспекцию, где в самых душещипательных выражениях описал жуткое положение его семьи.

И особо указал, что единственным имуществом, имеющимся у нас, является самовар. Да и тот хотят отобрать. И поэтому он просит отменить выплату назначенного ему непонятно на каком основании и по каким критерия налога. Уж не знаю, что там случилось, наверное, у кого-то из чиновников совесть проснулась, и налог отменили.

Но во время кампании по изъятию золота у населения отцу ничто не помогло. К нам пришли чекисты и потребовали сдать все золото и валюту.

— У меня нет ничего, — ответил отец, — только одна банкнота в десять долларов и обручальное кольцо жены.

— Не может такого быть, — не поверили чекисты. — Ты бывший нэпман, хозяин мастерской, до сих пор владеешь большим домом. И чтобы у тебя не было золота? Ты просто спрятал его и не хочешь отдать советской власти, ты вредный элемент, препятствующий строительству коммунизма.

И отца забрали в тюрьму. Поместили его в крохотную камеру, где буквально друг на друге уже сидели сорок человек. Условия в камере были ужасными, но самое страшное началось, когда отца стали допрашивать и буквально выбивать из него информацию, где он прячет свое золото. А ему, бедняге, действительно не в чем было признаваться. Золота у нас никогда не было — хотя отец и неплохо зарабатывал, все уходило на нужды большой семьи.

Когда следователи увидели, что после нескольких допросов с обычными избиениями отец твердо стоит на своем, они начали его пытаться. На отца на-

девали огромную, толстую овчинную шубу и ставили на много часов возле раскаленной печи. Пить, понятно, не давали. Это была страшная пытка — человек буквально высыхал. Долго ее никто не мог вынести. Не вынес и отец. Через несколько суток сердце не выдержало, и с ним случился инфаркт.

В тот момент, к счастью, моя мама оказалась возле здания НКВД. Она, собственно, все дни после ареста отца проводила на улице возле этого здания. И вдруг выскочил какой-то чекист и говорит ей: «Беги быстро, вызови “скорую помощь”, тут одному заключенному стало плохо». Мать как почувствовала, кинулась стрелой, и карета «скорой помощи» приехала буквально через несколько минут.

Когда врачи вошли в здание, мать проскользнула вместе с ними и дошла до помещения, где находился больной. В открытую дверь ей удалось увидеть отца, лежавшего на диване, и только тогда она поняла, для кого так торопилась и кому привезла врачей. Ее расторопность спасла отцу жизнь.

После этого случая чекисты поняли, что никакого золота из отца они не выбьют, и отпустили его на все четыре стороны. Впрочем, они не забыли прислать к нам домой следователя, который изъясил эти самые несчастные десять долларов и мамино обручальное колечко.

В Гомеле было мало хабадников. Мало было вообще религиозных семей, я всех знала лично. Так что общения с единомышленниками, ощущения жизни в общине практически не было. А к концу тридцать шестого года наша и без того нелегкая

жизнь превратилась в невыносимый кошмар. Отца никуда не брали на работу, всеки ходили за ним по пятам и приставали чуть ли не с ножом к горлу — начинай работать по субботам, сбрей бороду.

И тут отец совершенно случайно узнал, что есть, оказывается, место, где можно брать работу на дом и отчитываться о ее выполнении только в конце месяца. Это позволяло без каких-либо проблем соблюдать субботу, да еще и обеспечить семье кусок хлеба. Он тут же сорвался, поехал выяснить, так ли это. Все оказалось чистой правдой. Это благословенное место называлось Егорьевск — небольшой городок в полутора часах езды на поезде от Москвы.

В нем уже обосновалось довольно много хабадников, которых тоже привлекла уникальная по тем временам в СССР возможность официально работать и соблюдать субботу. Отец вернулся окрыленный и тут же бросился продавать дом. Сделать это надо было быстро и тихо, чтобы никто не хватился и не начал выяснять, куда это мы собираемся, что было совсем не просто: наш дом был большим и одним из самых красивых в городке.

Отец нашел какого-то знакомого, работавшего в конторе, через которую можно было продать дом — тогда ведь все разрешалось делать только под контролем государства. Я не знаю, как он с этим знакомым договорился, помню только, отец рассказывал, что тот очень удивился, узнав, что мы собираемся распрощаться с таким замечательным жилищем. Кажется, отец ему поплакал-

ся, что нечем кормить семью, вот он и решил переехать в более скромный дом. Помню также, что выручили мы за дом немалую сумму — восемнадцать тысяч рублей. И сразу же, никому ничего не говоря, покинули Гомель.

Потом нам стало известно, что предосторожность отца, державшего в тайне от всех знакомых свое намерение уехать из Гомеля и уж тем более никому не рассказывавшего, куда именно мы намерены уехать, спасла ему жизнь. Мы уехали из Гомеля в конце тридцать шестого года, а спустя буквально несколько месяцев, в тридцать седьмом, там арестовали всех религиозных евреев, осудили и отправили в лагеря, из которых подавляющее большинство так и не вернулось. Бог миловал моего отца — вновь он каким-то чудом ускользнул от лагеря.

А в Егорьевске у нас все сразу пошло хорошо. Вырученных от продажи дома денег хватило на то, чтобы за тринадцать тысяч приобрести неплохой домик, мебель и обустроиться. А потом отец стал получать работу на дом, и жизнь началась у нас совсем иная, чем в Гомеле.

Во-первых, как я уже сказала, в Егорьевске образовалась довольно большая и крепкая хабадская община — реб Нисан Неменов, шойхет Исроэль Левин, Йоэль Кан, двоюродный брат того самого Йоэля Кана, который через много лет стал хойзер Ребе³.

3 Хойзер Ребе (букв. «повторяющий Ребе») — хасид, наделенный хорошей памятью, транслирующий по памяти беседы или речи Ребе, сказанные им в субботу или праздники, когда нельзя вести запись.

Интересно, что у Йозелей и отцов звали одинаково — Рефозль. Этого Йозеля и шойхета Левина в тридцать седьмом году арестовали. Их продержали в тюрьме одиннадцать месяцев, и все это время наша община оставалась без мяса. А потом случилось чудо, и их почему-то отпустили. Хотя все остальные, кого взяли в то же самое время, попали в ГУЛАГ.

В Егорьевске, как и в других городах Союза, хабадники поддерживали друг друга, общались в основном друг с другом, вместе соблюдали праздники, субботы, доставали и готовили кошерную еду. Миньян собирался, но каждую субботу в другом доме, чтобы не вызвать подозрений у соседей. И в нашем доме, понятно, тоже регулярно проходили миньяны.

После субботней молитвы зачастую все оставались на фарбрэнген. Я, понятно, не сидела с мужчинами за столом, но в одной из комнат всегда накрывали стол для женщин. И я хорошо помню — несмотря на то что с тех пор прошло уже больше семидесяти лет, — какие говорили диврей Тойре, как обсуждали маамарим наших Ребе. Какие песни пели. И как пели!

Угощение на фарбрэнгенах было скромное — овощи, халы, соленые огурцы, водка, вареная картошка. Но какой духовной энергией они были наполнены, каким теплом, каким осознанием правильности того, что мы делаем, преданности пути, по которому идем, Торе, нашему Ребе!

При этом контактов с Ребе не было никаких — он в то время уже жил сперва в Латвии, потом в Польше, и связь с ним была очень опасна. У нас

в доме хранилась фотография Ребе Раяца, но ее никому, кроме самых близких, не показывали. Сам факт хранения такой фотографии считался чуть ли не антисоветской акцией.

Праздники приходилось соблюдать с максимальной осторожностью. В Рош а-Шона, конечно, трубили в шофар. Но не во дворе, а в доме, в плотно закрытой комнате. И негромко, чтобы слышали только те, кому полагалось, а не посторонние, которые могли донести в органы о подозрительных звуках.

Перед Песахом мы проводили генеральную уборку дома, хотя, собственно, хомеца у нас почти и не было. Но моя мама тщательно соблюдала не только букву, но и дух наших законов. По этим законам, кстати, женщины не обязаны молиться, подобно мужчинам. А мама всегда молилась. Мои самые первые воспоминания детства: она стоит у стены с молитвенником в руках и раскачивается, точь-в-точь как отец.

К Песаху в Хабаде отношение особое, и мама просто весь дом переворачивала. Столы, например, мы сперва ошпаривали кипятком, а потом драили особой щеткой. Но и на этом все не заканчивалось. На вычищенные столы мы клали солому, а сверху — новые, свежеструганные доски, которые накрывали пасхальными скатертями.

Это не то, что сегодня в Израиле, где кухонный стол покрыт мраморной плитой: стоит ополоснуть ее кипятком — и все, готово. Мы работали много и тяжело, но с радостью — ведь на нас,

женщинах, лежала высокая обязанность подготовить дом к святому празднику Песах.

Мацу мама пекла сама. У нас в доме была большая русская печь, в которой она готовила еду и держала горячей воду в субботу. Эту печь мы тоже основательно чистили, прожигали, чтобы уничтожить даже подозрение на хомец, и делали ее пригодной для Песаха. Муку отец начинал покупать за несколько месяцев до праздника — каждый раз небольшое количество, чтобы не вызвать лишних вопросов. Мы хранили ее в самом сухом месте дома и тщательно оберегали от влаги.

Мацу мама с соседями начинала печь за несколько дней до Песаха. Мы, дети, тоже участвовали в этом праздничном мероприятии, и я удостоивалась чести раскатывать тесто.

В Хануку отец зажигал менору, но так, чтобы ее огни нельзя было увидеть из окон. Это сегодня мы стремимся, чтобы как можно больше людей увидели ханукальный светильник и узнали о чуде Хануки. А тогда все было наоборот: мы делали все, чтобы менору увидели как можно меньше людей, — ведь тем самым уменьшалась вероятность доноса. Чудо же состояло в том, что мы, несмотря ни на что, зажигали свечи и все еще оставались живыми и даже на свободе. Мать пекла каждый день латкес, этим и ограничивалось празднование Хануки в те годы.

Братья мои не посещали хедер — в тех условиях даже в благословенном Егорьевске подпольный хедер было держать невозможно. Когда мы жили в Гомеле, к братьям приходил меламед и учил

их ивриту, Торе, Мишне. И я тоже что-то учила рядом с ними. Но потом вокруг нашего дома стали крутиться какие-то подозрительные люди, и мела-мед перестал появляться — отец не хотел подвергать опасности ни его, ни свою семью. Я успела научиться читать молитвы и немного поучилась Торе. На этом мое еврейское образование закончилось.

До десяти лет я не посещала советскую школу, где надо было писать в субботу. Но потом к отцу пристали из гомельского гороно, и, когда мне исполнилось десять лет, я была вынуждена пойти в школу — через четыре года после срока. Тогда ведь был закон: если родители не отдают ребенка в школу, у них могли этого ребенка забрать в детский дом, а им самим грозил тюремный срок. И это не являлось теоретической угрозой — были родители, у которых детей таки забрали, а их самих отправили в лагеря.

Поначалу я не приходила в школу по субботам, придумывала всякие истории про разные болезни. Но, как назло, моим классным руководителем оказалась еврейка. И не просто еврейка, а рьяная коммунистка. Все мои детские хитрости она быстро раскусила и потребовала, чтобы я по субботам присутствовала на занятиях.

Пришлось подчиниться. Некоторое время я все же ухитрялась по субботам не писать — ссылалась на то, что, мол, рука болит или голова раскалывается. Кончилось тем, что классная руководительница пришла к нам домой и предъявила отцу ультиматум:

— Мне прекрасно известно, почему ваша дочь сперва вообще не приходила на занятия по субботам, а теперь выдумывает всякие отговорки, чтобы не писать. И поскольку я понимаю, откуда ножки растут, я предупреждаю не ее, а вас: если девочка не прекратит эти штучки, я добьюсь ее исключения из школы. Со всеми вытекающими отсюда последствиями — и для нее, и в первую очередь лично для вас. Мы не потерпим, чтобы в советской школе подавали пример религиозного мракобесия.

Вот так мне пришлось писать на уроках в субботу, что причиняло боль и душевные муки. Но еще с большими страданиями воспринимал мои нарушения отец. В первую же субботу, когда я была вынуждена писать на занятиях в школе, у него случился сердечный приступ.

В нашем классе занималось немало евреев. Их воспитывали в правоверно коммунистическом духе, и вот как раз они-то и донимали меня больше всех. Впрочем, несмотря на все их издевки, были вещи, которые я могла соблюдать, даже привлекая внимание окружающих.

Когда после начала коллективизации и отмены нэпа в стране разразился голод, нас в школе ежедневно кормили горячим обедом — кусочек хлеба и суп. К супу я, конечно, даже не притрагивалась, к огромному удивлению одноклассников. Они не могли взять в толк, как это я отказываюсь от еды. А я говорила, что не выношу столовский суп, а люблю только то, что готовит моя мама. И в доказательство того, что я все же от еды не

отказываюсь, съедала часть хлеба, который получала вместе с супом. Остаток хлеба я уносила домой — для младших братьев.

Было ли мне трудно в то голодное время удержаться и не съесть тарелку горячего, остро пахнущего супа? Ничуть. Это для кого-то другого он, может быть, был аппетитным. Но как я, воспитанная в любавичском доме, где все законы кошерности соблюдались тщательно и беспрекословно, могла есть какое-то некошерное варево? У меня даже желания не возникало.

Как никогда не возникало соблазна и потом (когда ситуация с продуктами улучшилась) съесть что-нибудь некошерное в ресторане или в столовой. Или просто польститься на пирожок — даже не с мясом, с повидлом. Такие пирожки в конце тридцатых годов свободно продавали на улицах.

Вообще, в школе прилагали большие усилия для борьбы с «мракобесием». Вечером в Йом Кипур всегда устраивали вечеринку для учеников — с музыкой, танцами и, естественно, угощением. И в ночь пасхального седера тоже непременно организовывали вечеринку. И не простую, а обязательно с разными сортами печенья. Даже устраивали конкурс на лучший торт.

Но я, хоть и была еще совсем девочкой, как-то умудрялась каждый раз отвертеться от этих антирелигиозных разгулов. Причем мне удавалось сделать это не демонстративно, то есть не вступая в открытый конфликт с руководством школы. К счастью, на мое отсутствие никто особого внимания

не обращал. На меня, наверное, махнули рукой, и все, что от меня требовалось, — не вести агитацию среди других и не подавать открытый пример.

Именно поэтому от меня категорически потребовали вступить в пионеры. Долгое время мне удавалось увиливать на том основании, что я все еще чувствую себя недостаточно достойной. Я не имела никакого желания участвовать в пионерских мероприятиях, выкрикивать дурацкие речевки, постоянно клясться в верности делу Коммунистической партии и великих Ленина — Сталина.

И уж тем более мне не хотелось «радостным шагом, с песней веселой» выступать за комсомолом, повязав на шею красный галстук. Но когда уже все мои одноклассники вступили в пионеры, а я осталась «белой вороной», меня в один «прекрасный» день вызвали в актовый зал школы. Там проходила церемония принятия в пионеры очередной группы школьников. Меня поставили вместе с ними в ряд и приняли, не спрашивая ни о чем. И тут же повязали красный галстук.

Я не хотела кричать и открыто сопротивляться, чтобы не привлечь внимания. Это было бы хуже всего, подобного поведения мне бы не простили. Но и идти домой с красным галстуком на шее я тоже не могла — боялась, что папа, увидев его, так огорчится и разнервничается, что ему станет плохо. И я нашла выход: в школе ходила как все, с красной тряпкой на шее, но перед входом в дом снимала галстук. А перед школой заходила в общественный туалет и надевала его.

Но вот пришло время вступления в комсомол. Все мои одноклассники, естественно, сразу же, как позволил им возраст, вступили. И очень гордились своими красными членскими книжечками. А эмалированные, тоже красные значки, свидетельствовавшие об их принадлежности к коммунистическому союзу молодежи, они нацепляли на грудь. Да еще с левой стороны — мол, поближе к сердцу. Тут уж я не могла себя перебороть. Если пионеры все же были детской организацией, то комсомольцы — самыми настоящими коммунистами! А я не хотела иметь с ними ничего общего.

На меня начали оказывать давление, причем особое рвение, как всегда, выказывали мои еврейские соученики. Не знаю, чем бы все это закончилось, если бы как раз в тот момент наша семья не переехала в Егорьевск. А в нем уже все было по-другому. И в немалой степени потому, что в классе, кроме меня, евреев не было. И никто не мог вывести меня на чистую воду, никто не мог понять, почему я в какие-то дни не прихожу в школу, почему веду себя несколько странно по субботам. Я уже была научена горьким опытом и старалась вести себя как можно скромней и незаметней, не подавая никому «дурного примера». Поэтому, наверное, на меня не обращали никакого внимания, в том числе и на мое нежелание вступить в комсомол.

Впрочем, неприятных ситуаций все равно хватало. Помню, как однажды мне, вместе с группой других учеников, должны были вручить премию за отличную успеваемость. Собрали всю школу,

на сцене актового зала уселся почетный президиум — директор, классные руководители и какая-то важная дама из горно. Произнесли речи, поблагодарили, естественно, любимого товарища Сталина и родную партию за наше счастливое детство. А затем начали одного за другим вызывать на сцену отличников, поздравлять их с успехами в учебе и вручать подарки.

И тут я замечаю, что к трибуне прислонен большой портрет Ленина. И начинаю лихорадочно соображать — а если эта почетная награда достанется именно мне? Что я с ней буду делать? Не отнести его домой нельзя — заметят. И уж тем более нельзя избавиться от него где-то по дороге. За это вообще можно и срок схлопотать. Но портрет — не галстук, в кармане не спрячешь. А как внести в еврейский дом портрет этого *газлана*?!⁴

В общем, вызывают всех на сцену, скоро уж и мой черед, а портрет все еще никому не вручили. Я сижу как на иголках и молюсь без остановки — прошу Всевышнего, чтобы Он избавил меня от этой напасти, возникшей буквально на пустом месте.

Отличников вызывали по алфавиту, и моя буква приближалась с угрожающей быстротой. И когда дошла очередь до девочки, фамилия которой началась на букву «р», мне стало дурно от волнения. А окружавшие поглядывали на меня с завистью — ишь, мол, совсем ошалела от счастья. И тут молитва моя была услышана — портрет вручили этой

4 Газлан (*идиш*) — разбойник, бандит.

девочке. Мне же достались несколько книг по вопросам марксизма-ленинизма. Выбросить их я боялась, а просто засунула между учебниками на своей книжной полке и ни разу в них не заглянула.

И еще одно не очень приятное воспоминание. Как-то, когда мы еще жили в Гомеле, в класс вошла завуч школы. По щекам ее текли слезы.

— Дети, произошло ужасное событие, — сказала она дрожащим голосом. — В Ленинграде, в самой колыбели революции, врагами народа злодейски застрелен один из выдающихся сынов нашей партии — Сергей Миронович Киров.

Она сумела произнести только это и, не справившись с собой, зарыдала в голос. Ее стоны подхватил весь класс. И мне тоже пришлось изображать глубокую печаль, плакать вместе со всеми. Хотя мне не было ровно никакого дела ни до Кирова, ни до всей его Коммунистической партии.

Оглядываясь сегодня назад на свою учебу в школе, я понимаю, какой тяжелый нервный стресс испытывала маленькая девочка, постоянно балансирующая между двумя мирами. Тогда в обычных еврейских семьях от детей тщательно скрывали все, что было связано с еврейством. Некоторые — потому, что считали: национальность — это дело ушедшего в прошлое царизма. И практически все — для того, чтобы избавить их от опасности, чтобы они ничего не знали о еврействе и ничего не могли рассказать, если их начнут расспрашивать.

Но в нашем доме меня и братьев с раннего детства учили молиться, произносить благослове-

ния. С того момента, как я начала осознавать себя, я четко знала: я — еврейка, я — любавичская. От нас скрывали только то, что касалось Ребе. Уж очень опасно было для всех, если бы кто-нибудь проболтался. Поэтому не только его фотографию прятали, но в нашем присутствии ничего о нем не говорили. Это уж потом, когда мы подросли и научились держать язык за зубами, отец рассказал о нашем святом Ребе и о своей тоске по нему.

Я окончила школу и хотела поступить в институт. Но отец воспротивился. В Егорьевске не было высших учебных заведений, и мне нужно было уехать в Москву. А значит, поселиться в общежитии. Но как религиозная девушка могла жить в общежитии и соблюдать заповеди? Ее сразу бы вывели на чистую воду. Я нашла выход и через год поступила на заочное отделение биофака МГУ. Но проучилась недолго — всего год: началась война.

К тому времени я уже вышла замуж за Биньёмина Левина — одного из наших, любавичских. В *шидухе*⁵ мы не нуждались — среди хабадников было не так уж много молодых людей моего возраста. Мы все знали друг друга, постоянно встречались на фарбрэнгенах, праздниках, днях рождения. Ни у кого из нас, естественно, и мысли не возникало, что можно связать судьбу с кем-то не из своих.

Когда началась война, мы довольно быстро уехали из Егорьевска, ведь немцы оказались под Москвой буквально через несколько месяцев. Мы

⁵ Шидух (ивр.) — сватовство.

эвакуировались, когда фронт был еще далеко, и потому доехали до Ташкента без особых приключений. Впрочем, без приключений — по тогдашним понятиям. Сегодня подобная поездка показалась бы кошмаром.

Продолжалась она больше недели, везли нас не в пассажирских вагонах, а в теплушках. За этим ласковым названием скрывался обычный товарный вагон, совершенно не приспособленный для людей. Туалета в нем, да и во всем поезде, не было, и приходилось терпеть до ближайшей остановки. Возле вокзальных туалетов стояли огромные очереди, и нужно было постоянно следить за своим поездом — отправление ведь никто не объявлял. Состав вдруг трогался с места — кто успел добежать, успел, а кто нет — оставался на станции. Сколько случаев было в пути, когда люди отставали от поезда — родители от детей, дети от родителей. Как потом они выбирались из этой ситуации, я уж и не знаю. Ничего хорошего отставание от поезда не сулило.

Не было ни воды, ни еды. Воду мы еще как-то набирали на станции, тоже все время косясь на свой эшелон. А вот с едой и вовсе был швах — где взять кошерную пищу в такой ситуации? И мы голодали — ели какие-то сухари, овощи, что сумели захватить с собой. Короче, через неделю мы приехали в Ташкент сильно отощавшими.

И тут нам очень повезло. В сам Ташкент власти старались эвакуированных не пускать. Он был и так уже перенаселен, число жителей увеличилось сразу в несколько раз, поэтому эвакуированных

расселяли по кишлакам. Мы ничего не понимали, не знали обстановку и были готовы отправиться в деревню. Но Биньёмин случайно столкнулся на эвакопункте с местным евреем. Когда тот услышал, что нас направляют в какой-то районный колхоз, то просто схватился за голову и сказал, чтобы мы ни в коем случае не соглашались. В кишлаках нет работы и нет еды, мы там умрем с голоду. Биньёмин последовал его совету. Мы категорически отказались ехать в колхоз и остались в Ташкенте.

Какое-то время мы искали жилье и хоть и с большим трудом, но все же нашли. И тут возникла проблема с пропиской. Дольше нескольких дней без нее жить запрещалось даже в мирное время. А уж в военное это грозило большими неприятностями. В городе постоянно проводились облавы, на каждом углу проверяли документы. Если во время такой проверки мужчину призывного возраста ловили без прописки в паспорте, то, несмотря на все уверения, что он эвакуированный, его отправляли в штрафбат. Проблема усугублялась тем, что не имеющим прописки домовладельцы отказывались сдавать жилплощадь.

И тем не менее никакого другого выхода у нас просто не было. Уж лучше было рисковать в Ташкенте, чем умирать с голоду в каком-нибудь захолустном кишлаке. Биньёмин, конечно, тут же установил связи с любавичской общиной Ташкента, и с помощью реб Йосефа Мочкина мы за взятку сумели получить столь желанную ташкентскую прописку. Мочкин «подмазал» участкового мили-

ционерера, и тот разрешил нас прописать в каком-то доме со множеством комнат. Я с Биньёмином, у которого было освобождение от армии по состоянию здоровья, жили в первой комнате, площадью шесть квадратных метров.

Мы начали работать буквально с первого же дня — клепали цепи для гужевого транспорта. Меня Биньёмин поставил на гнулку — приспособление, при помощи которого сгибали железные прутья в кольца. На себя же он взял более тяжелую операцию — соединял кольца между собой и молотком доклепывал их, пока не закрывались все щели в этих кольцах и они не могли выскользнуть из цепи. Работать приходилось много и тяжело, а платили буквально гроши. Паек же был настолько мал, что его совершенно не хватало. Нам приходилось очень туго, поэтому мы перешли на вязание чулок — тогда почти все хабадники занимались этим.

На новой работе платили больше. Но главная ее ценность заключалась в том, что мы трудились на дому и должны были отчитываться по выполнению плана только в конце месяца. Такой график позволял беспрепятственно соблюдать субботу и праздники. А отец сконструировал из каких-то обломков машину, которая строчила кожу, и начал сперва ремонтировать, а потом шить сапоги.

И в Ташкенте хабадники, а их было несколько десятков семей, тоже держались друг за друга. Действовала подпольная ешива, в которой сразу же после приезда начали учиться мои братья. Ее руководители заботились не только о духовной,

но и о материальной пище для своих воспитанников. Дело было поставлено так: дети, родители которых что-то зарабатывали, питались дома. А те, кому в доме еды не хватало, или же те, у кого не было родителей, «ели дни». То есть каждый день питались в другой семье.

Все семьи участвовали в этом, и никто — никто! — несмотря на голод, никогда не отказывал. К нам с Биньёмином тоже приходили ребята из ешивы и ели вместе с нами.

Голод был страшный. Мы перебивались как могли и чем могли — кошерным, конечно. Я помню, как перед Песахом маме с огромным трудом удалось достать сто граммов кошерного куриного шмальца и два килограмма картошки, немного других овощей. Это была вся еда на восемь дней Песаха для десяти человек! Ведь, понятное дело, даже в той ситуации мы весь праздник не ели квасное. Хотя хлеб тогда составлял существенную часть нашего ежедневного рациона.

Кстати, о хлебе. Получить его по карточке тоже было непросто. Магазин, где отоваривали карточки, находился на большом расстоянии от нашего барака. Нужно было ехать двумя трамваями, да еще и добираться пешком от одного до другого минут двадцать. А трамваи ходили только рано утром, чтобы люди могли попасть вовремя на работу.

И я, уже будучи беременной, ездила за этой хлебной пайкой. Женщине в таком положении надо хорошо питаться, много гулять, много отдыхать, не перенапрягаться. Какое там! В трам-

вае была жуткая толкучка, и я страшно боялась, что меня ударят в живот. Поэтому я предпочитала не протискиваться в вагон, а стоять на ступеньке трамвая, ухватившись за поручень. Сейчас я в толк не возьму, как я могла так ездить — это ведь было смертельно опасно не только для ребенка, но и для меня самой. Но мне тогда было чуть больше двадцати лет — молодость, молодость.

Сегодня, когда мне почти девяносто, все видится совершенно иначе, и я просто не понимаю, как в тех условиях мне удалось выжить, да еще и остаться нормальным, здоровым человеком. Ответ у меня один — только потому, что Всевышний мне помогал. Но ребенка я потеряла. Он, наверное, не хотел появиться на этот свет, где его ждали голод и страдания.

Была в нашей общине и самодельная, тайная миква. Конечно, ее нельзя сравнить с теми миквами, которые сегодня существуют в Израиле и даже в нынешней, постсоветской России. Но пока ее не построили — а это заняло немало времени, — я окуналась в реке. По вечерам можно было найти где-нибудь на берегу спокойное, безлюдное место и без всяких проблем окунуться.

На наше счастье, несмотря на то что зимы в Ташкенте холодные, река не замерзала, как в России. Поэтому даже зимой не было проблем. Единственным и, надо сказать, серьезным недостатком такой естественной миквы была температура воды. Речка стекала с гор, и даже летом вода в ней была ледяная. А уж зимой! Но я тер-

пела — главное ведь было соблюдать чистоту семейной жизни, как это предписывает Тора. Все остальные проблемы являлись второстепенными, уж тем более холодная вода.

И тут на нас свалилась новая, страшная беда: Биньёмин заболел тифом. Тогда, в ситуации практически полного отсутствия медикаментов, это была смертельно опасная болезнь. А поскольку была она очень заразной, то власти постановили: всех больных тифом сразу же госпитализировать. Уж не знаю, как пронюхали о том, что Биньёмин заболел, но буквально через несколько дней к нам приехала карета «скорой помощи» и забрала его в специальную больницу для тифозных. Я, конечно, тут же отправилась в эту больницу, и когда нашла ее, у меня просто в глазах потемнело.

Это был обычный полевой госпиталь, который развернули в городе. То есть разбили на пустыре брезентовые палатки, отгородили их символическим забором — и вся недолга. В каждой такой палатке размещались десятка по два тифозных, которых даже не пытались лечить. Единственной процедурой было купание в ванне. После горячей ванны больного возвращали в его палатку, а на улице стояла зима и температура иногда опускалась даже днем ниже нуля.

Последствия такой «лечебной» процедуры, как правило, оказывались катастрофическими. Большинство тех, кого угораздило попасть в этот госпиталь, умирали не от тифа, а от воспаления легких. Несколько наших любавичских, молодых ре-

бят и девушек, погибли (иначе я не могу это назвать) в нем. И все же даже в таком госпитале было лучше, чем в обычных больницах. Что творилось там, просто не поддается описанию.

Но Биньёмину повезло. Он чем-то понравился сестрам, и они ухаживали за ним лучше, чем за всеми остальными. Выразилось это в том, что они ни разу не сделали ему этой проклятой ванны. И произошло чудо, действительно чудо — Биньёмин пошел на поправку. Он был один из немногих — очень немногих, кто сумел выжить после тифа. В таком госпитале, с таким уходом и без медикаментов.

Единственным лекарством, которым я обладала в избытке и давала ему, что называется, без оглядки, была моя любовь. Я не сомневалась, что она оказывала целительное действие. И поэтому я каждый день навещала Биньёмина, хотя путь был неблизкий — сначала сорок минут на трамвае, а потом еще четыре-пять километров пешком через поле.

Тиф считался настолько заразным, что все родственники больных, навещавшие их в госпитале, были обязаны пройти дезинфекцию. Причем не только те, кто находился в непосредственном контакте с больным, но и все, кто жил с ними в одной квартире.

И вот в один совсем даже не прекрасный день к нашему бараку подкатила телега, на нее погрузили наши вещи, я и моя сестра взгромоздились сверху и отправились на дезинфекционную станцию. Там нас повели в душевую, а все наши пожитки, включая личные вещи и даже нижнее бе-

лье, которое мы оставили в предбаннике, отправили в дезинфекционную камеру.

После душа мы долго ждали своих вещей, потом ждали подводу. Было это, уж точно не помню, то ли в январе, то ли в феврале — стояли крепкие морозы. Пока мы дожидались телегу, промерзли до мозга костей. А тут еще на полдороге подвода поломалась. И нам пришлось снова ждать, пока за нами не пришлют другую. Я не забуду ту поездку до конца своей жизни. И не только потому, что страшно простудилась.

Мой день начинался с того, что я ехала к Биньёмину в больницу, а оттуда — в мастерскую, где работала за двоих, чтобы как-то компенсировать отсутствие мужа. И только поздно вечером, совершенно выбившись из сил, голодная, холодная, уставшая почти до потери сознания, я возвращалась домой, в свой нетопленный барак. А тут еще эта поездка. Как у меня достало сил и здоровья не подхватить воспаление легких, что в тех условиях почти равнялось бы смертному приговору?

Мой Биньёмин, слава Богу, выжил и вернулся домой. У него, как у всех выздоравливающих после тифа, появился страшный аппетит. Я отдавала ему свой хлеб, а сама питалась рисом и орехами. Молодость, молодость — мы были счастливы вдвоем, счастливы, несмотря на все переживания и передраги.

Хабадники, как я уже говорила, крепко держались друг за друга. Чувство взаимовыручки было у нас всех очень сильно развито — мы ведь были

маленькой, преследуемой властями группой. Поэтому жили как одна большая семья. Помогали нам, помогали и мы — чем только могли.

Я научилась хорошо красить чулки, а у нас в общине был один парень, у которого ничего с этой окраской не получалось. И я, после того как вырабатывала свою дневную норму, шла к нему и помогала сделать его норму, несмотря на то что моя первая дочь ждала меня дома и требовала заботы и внимания.

Помню, когда дочке исполнилось полтора годика, у нашего соседа, тоже хабадника, родился ребенок. Он пришел ко мне и спросил, нет ли у меня клеенки. Тогда клеенка была большим дефицитом. У меня была только одна, но я вытащила ее из кровати дочки и отдала. Им ведь она была нужней — моей-то уже исполнилось полтора годика, а это уже совсем не то, что новорожденный младенец.

Вот так мы и пережили эту страшную войну. Хотя и намучились, наголодались, но, к счастью, никто из нашей семьи не погиб. И это было огромным везением и огромным счастьем.

В сорок шестом году началась работа подпольной организации реб Мендла Футерфаса, изготавливавшей фальшивые польские документы для выезда из СССР. И как только мы слышали, что появился шанс вырваться за железный занавес, тут же собрались, бросили уже вроде бы насиженное место и отправились во Львов.

Выезд стоил очень дорого — двадцать тысяч рублей на человека. Надо ведь было не только из-

готовить документы, но и, главное, подмазать соответствующих чиновников. Но разве можно было жалеть что-то, когда речь шла о возможности оказаться на свободе, возможности не скрываясь жить по законам Торы, быть в контакте с нашим Ребе! И мы отдали Вааду — комитету раввинов, руководившему выездом, — все, что у нас было. До последней копейки.

Мы разместились в какой-то квартире, и Ваад запретил нос на улицу высовывать. Мы сидели в ней, стараясь не говорить громко и не привлекать внимания соседей, чтобы они не донесли — вот, мол, вдруг появилась, откуда ни возьмись, какая-то большая семья. На улицу, естественно, не выходили, нас не нужно было об этом даже предупреждать. Ведь мы находились во Львове нелегально.

Прописки у нас не было, билетов, свидетельствовавших, что мы только что приехали в город, тоже не было. Если бы нас схватили на улице во время одной из облав, регулярно проводившихся милицией и органами безопасности, нам было бы несдобровать. И не только нам — всем тем сотням хасидов, которые вместе с нами ждали по потайным квартирам очередного эшелона в Польшу.

Но в эшелон, в котором мы должны были ехать, Ваад принял решение никого из любавичских не сажать. По каким-то каналам реб Мендлу стало известно, что будут ехать тайные соглядатаи, чтобы выявить, не пытается ли кто по фальшивым документам покинуть СССР. Поэтому его решили пропустить.

А когда ожидался следующий, не знал никто. Моя семья оказалась просто в аховом положении — у нас не осталось буквально ни копейки. И тут еще, вдобавок ко всему, Ваад решил перестраховаться и пропустить не только этот, но даже следующий эшелон. Тут уж мы не выдержали и попросили раввинов сделать для нашей семьи исключение. Мы не могли оставаться во Львове по одной простой причине — нам не на что было жить.

И вот в один из дней на нашу квартиру пришел член Ваада реб Лейб Мочкин⁶ и сказал отцу, что появилась возможность выехать не через Львов, а через Злочев — небольшой городок, расположенный в нескольких часах езды от Львова. Тут следует сказать, что Ваад наложил абсолютный запрет на любые другие пути выезда, кроме уже опробованных. Но на этот раз он сделал для нашей семьи исключение, вняв просьбам отца. Мне до сих пор неизвестны истинные причины такого решения, да я, собственно, никогда и не старалась их выяснить. Главным для нас было тогда — и для меня сегодня — то, что по этому маршруту мы сумели вырваться из сталинской империи зла.

6 Мочкин Лейб (Йегуда-Лейб) Перцович родился в 1924 г. Получил традиционное воспитание. До войны проживал в Ленинграде, работал трикотажником-надомником, позднее выехал в Москву. В 1941 г. эвакуировался в Ташкент, был активным членом хасидской общины. В 1946 г. выехал во Львов, где работал в комитете по организации выезда евреев в Польшу. В феврале 1947 г. с началом массовых арестов перешел на нелегальное положение. Заочно привлечен к следствию по делу «нелегальной антисоветской еврейской националистической организации». С 1953 г. — в США. Один из руководителей общества «Эзрас-ахим».

Отец и муж вместе с Мочкиным сразу же отправились в Ваад и сказали: мы готовы рискнуть и попробовать выехать по новому пути. Почему-то отец был совершенно уверен, что все пройдет благополучно. «Всевышний поможет мне выбраться из этой страны вместе со всей семьей», — заявил он членам Ваада с такой внутренней убежденностью, что они тоже поверили в это и разрешили.

К нам присоединились мой двоюродный брат с женой и еще одна семья. Но проблема состояла в том, что поезд из Злочева уходил в Польшу на исходе субботы. А так получилось, что в том году праздник Суккот примыкал к субботе. Поэтому, если мы хотели успеть к поезду, нам надо было выехать из Львова в праздник. Отец вновь пошел к раввинам, и те вынесли постановление: поскольку речь идет действительно о *никуах нефеш*, спасении жизни, нам разрешается ехать в праздник.

Мы наняли грузовик и выехали из Львова рано утром в праздник Суккот. Ехали мы весь день и к вечеру, накануне субботы, прибыли в Злочев. Субботу мы провели в зале ожидания местного вокзала. Тогда на вокзалах толпились тысячи людей, спали вповалку на скамейках и прямо на полу, там же ели. Поэтому наша семья внимания не привлекла. Отец незаметно сделал кидуш. А молиться мужчины выходили по одному на улицу, чтобы не привлечь внимания. И все же, как мы ни береглись, с отцом произошла история, поставившая нас всех на грань провала.

Отец вышел на улицу и молился Минху. Мы — на всякий случай — стояли неподалеку от него. И в тот момент, когда отец находился в середине молитвы Амида⁷, к нему вдруг подошел начальник станции и спросил, куда он держит путь. Мы замерли от ужаса. Как может отец ответить ему в середине молитвы, которую нельзя прерывать? А ведь не ответить нельзя! Но, с другой стороны, нам ведь разрешили ехать в праздник из-за опасности для жизни. Может быть, и теперь отец сочтет возможным прерваться по той же причине?

Но отец не прервал молитву. Начальник станции, наверное, подумал, что он просто не понимает русский язык, — махнул рукой и пошел в здание вокзала. Тем, что отец не пошел на компромисс и не прервал молитву, он спас нас всех. По документам мы все были поляки, попавшие в СССР во время войны и теперь возвращавшиеся домой. Но говорили мы на чистейшем, без акцента, русском языке. А по-польски не знали ни одного слова. Начальник станции сразу отправил бы нас в местное отделение МГБ, и первая же проверка моментально выявила, что мы совсем не те, за кого себя выдаем. Но отец не прервал молитву и получил за это вознаграждение. Не на Небесах — в этом мире. Не когда-нибудь в будущем, а немедленно. И не только для себя — для всей семьи.

⁷ Амида (ивр.) — «стояние», главная часть каждой из трех ежедневных обязательных молитв. Произносится обязательно стоя.

На исходе субботы мы сели в поезд, отправлявшийся в сторону границы. Давка в нем была неимоверная — люди стояли, притиснутые друг к другу, висели на ступеньках. Я держала на руках восьмимесячного ребенка и всю дорогу даже не могла уложить его, чтобы он мог поесть. Наконец, поезд остановился на какой-то станции.

И вдруг объявили, что все молодые мужчины обязаны пройти проверку в комендатуре. В нашей семье молодыми мужчинами были только мой Биньёмин и двоюродный брат. Им, конечно, очень не хотелось проходить проверку, но деваться было некуда. Они вышли из вагона и встали в очередь, но постоянно пропускали других перед собой, будто бы отвлекаясь по разным поводам. И тут произошло ужасное: наш поезд внезапно тронулся и Биньёмин с братом не успели добежать до него.

Я думала, что потеряю сознание от ужаса, тоски, безысходности. Поезд шел без остановок и стремительно приближался к границе. Еще немного, и я окажусь в Польше. А мой муж, мой Биньёмин останется здесь, за железным занавесом. Я стала кричать, плакать. Отец начал меня успокаивать: «Ну куда, куда ты сойдешь? С двумя маленькими детьми на руках, с корзинами, без денег, без связей, с твоими документами? И что ты будешь делать?»

Несмотря на всю огромную боль, на весь ужас и горечь, я поняла, что он прав. Три часа я тряслась в том поезде, не понимая, где я, что я, зачем и куда еду. Я была как в тумане, слезы лились по

щекам, я не могла ни о чем думать и только повторяла: «Биньёмин, Биньёмин, мой Биньёмин!»

Мы даже не могли сообщить о том, что брат отстал от поезда, его жене. Она находилась в другом вагоне, и в той давке добраться до нее было невозможно. Наконец поезд прибыл на пограничную станцию, мы выгрузились и стали ждать проверки паспортов. И только тут я смогла сообщить жене брата — тоже с грудным ребенком — эту страшную новость. Она схватилась обеими руками за голову и остолбенела. А потом начала раскачиваться из стороны в сторону, не в состоянии вымолвить ни словечка. От ужаса она не могла плакать и лишь смотрела в одну точку остекленевшими, сухими глазами.

Вдалеке проревел паровоз и показался товарный состав, состоявший из пустых платформ. Когда он поравнялся со станцией, мы вдруг увидели на одной из платформ Биньёмина и брата. Они стояли, ухватившись за какие-то железные прутья. Поравнявшись со станцией, поезд замедлил ход, наши мужчины спокойно спрыгнули на землю и присоединились к нам. Сказать, что мы были счастливы? Что огромный камень, да нет — целая гора свалилась с души? Пожалуй, никакие слова и образы не в состоянии описать наши чувства.

Всевышний смилостивился над нами и на этот раз. Когда Биньёмин с братом поняли, что опоздали на поезд, они бросились искать какую-нибудь машину. И, как ни странно, возле здания вокзала стояло такси. Это было просто невероятно, оно словно

поджидало наших мужчин. У Биньёмина не оказалось с собой ни копейки, но у брата нашлись какие-то деньги, и они велели шоферу догонять поезд.

Началась гонка. На одну станцию они приехали через десять минут после прохода поезда. А на второй им сказали, что он ушел буквально несколько секунд назад, — красные огоньки последнего вагона еще можно было разглядеть на путях. На следующей станции таксист ехать дальше отказался — приближалась граница, а у него не было разрешения на въезд в пограничную зону. Казалось, все потеряно.

Биньёмин с братом не растерялись. Они нашли коменданта станции и объяснили ему, что отстали от поезда. И он сказал им: «Видите, стоит грузовой эшелон? Он идет в Польшу за углем и следует через ту же пограничную станцию, что и поезд с вашими женами. Если сумеете, пристройтесь на него и доедете без проблем».

Биньёмин с братом бросились к этому составу, сослались машинисту на слова коменданта. И тот разрешил им залезть на одну из платформ. Вот так, тоже с помощью явных чудес, закончилось это приключение, грозившее оставить меня соломенной вдовой с двумя маленькими детьми на руках.

Началась самая опасная часть поездки — паспортный контроль. Наши паспорта были поддельными, и, несмотря на огромные деньги, которые с нас взяли за них, их качество оставляло, мягко говоря, желать лучшего. Это был воистину критический момент: если все лопнет, нас от-

правят в тюрьму за попытку незаконного перехода границы. И на немалый срок.

Мы спокойно стояли в очереди, шаг за шагом приближаясь к пограничникам. А в душе все переворачивалось, бурлило от волнения. Получится, не получится? Через несколько минут решится, куда повернет наша жизнь, где мы будем вести ее — на свободе или в тюрьме. И, что самое главное, от нас уже в этой ситуации ровным счетом ничто не зависело.

В этот момент налетели тучи, подул сильный ветер и с небес обрушился настоящий ливень. Мы стояли под потоками воды вместе с детьми, боясь сдвинуться с места, и за считанные минуты промокли до нитки. И пограничники сжалились над нами: мельком взглянув на паспорта, позволили вернуться в вагон.

Когда поезд тронулся и колеса застучали по мосту через реку, за которой уже начиналась Польша, я сказала — шепотом, конечно: «Прощай, Россия, прощай навсегда!»

В Польше нас встретили представители «Джойнта» и сразу же перевезли в Австрию. Там, под Зальцбургом, располагался бывший тренировочный лагерь эсэсовцев, в котором расселили еврейских беженцев.

Нас кормила УНРРА — организация ООН по оказанию помощи беженцам⁸. Она давала консер-

8 UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) — Управление ООН по помощи и восстановлению. Было создано во время Вто-

вы — некошерные, конечно. Мы их, понятное дело, не ели, а продавали австрийцам. Те уже знали, что в начале месяца можно прийти к нам и купить несколько десятков банок консервов, которые мы получали на всю семью. А на вырученные деньги мы покупали то, что можно было есть, — рыбу, овощи.

Мы провели в лагере год, а потом переехали в Париж. У нас был статус беженцев — без паспортов, без прав. И поэтому мы не могли попасть ни в Америку, где жил Ребе, ни в Палестину. Америка тогда еврейских беженцев из Европы не впускала, исключение делалось лишь для тех, у кого были близкие родственники. А в Палестину евреев не пускали англичане. И мы застряли в Париже на целых два года.

Сперва «Джойнт» выплачивал нам по сто франков в месяц. Этого, конечно, не хватало. И отец пошел искать работу. К счастью, хозяином чуть ли не первой же фабрики, куда он обратился, оказался еврей. Отец сумел объясниться с ним на идише и рассказал, что он механик с многолетним опытом ремонта и обслуживания самых разнообразных механизмов и машин.

Хозяин внимательно выслушал и указал ему на швейную машину, стоявшую в углу. «Ее никто не может починить. Если ты сумеешь, я тебя сегодня

рой мировой войны, в 1943 г., для помощи населению регионов, освобожденных от оккупации, создания лагерей для перемещенных лиц и возвращения их в места довоенного проживания. Финансово и административно в УНРРА доминировали американцы. УНРРА прекратило свою работу в 1949 г. — *Прим. ред.*

же беру на работу», — сказал он, видимо, полагая, что отец, как и все остальные до него, не выдержит этого экзамена.

Отец снял пиджак и принялся за починку. А хозяин как увидел под пиджаком талескотн, аж глаза выпучил — ему уже давно такого видеть не приходилось. Отец быстро починил машинку, и его взяли на работу. А Биньёмин устроился на трикотажную фабрику. И наше материальное положение сразу же улучшилось.

В Париже у нас уже установилась регулярная связь с Ребе, я до сих пор храню его письма ко мне. Мы просили у Ребе разрешения прорываться в Палестину, но он согласился лишь после третьего обращения. И мы попали в Израиль лишь после провозглашения государства.

Поселились мы сразу же в Кфар-Хабаде, который, собственно, еще не был поселком. Тут стояло несколько полуразрушенных арабских домов — без дверей и без крыш. Условия были тяжелые, достаточно сказать, что электричество нам провели только на девятом году жизни в Кфар-Хабаде. Горячей воды не было, и нормально мыться можно было только летом, когда вода нагревалась в водопроводных трубах. Зимой, несмотря на то что это Израиль, было холодно. Обогревались печками, а по вечерам зажигали керосинки.

Мой муж умер через восемь лет после приезда в Израиль. Биньёмин, мой Биньёмин был еще совсем молодым, ему не исполнилось и сорока пяти. Сказались, по-видимому, злоключения военного

времени — голод, постоянное нервное напряжение. Я осталась с шестью детьми. Было мне чуть больше сорока лет. И надо было поднимать детей, учить их, чтобы они стали, как и все их предки, настоящими любавичскими хасидами. Замуж я больше не вышла, посвятила всю себя детям. И могу с гордостью сказать, что цели своей я добилась: все мои дети хабадники, все женились на любавичских. У меня уже много внуков и правнуков.

Я прожила всю свою жизнь как религиозная еврейка. И не просто религиозная, а хабадница. Я делала то же, что мои бабушки и прабабушки, — держала кошерный дом, соблюдала законы семейной чистоты, воспитывала детей религиозными евреями, хасидами. Всю жизнь я общалась в основном с хабадниками, все мои друзья и знакомые — любавичские.

Меня сегодня порой спрашивают: как же вам это удавалось в условиях Советского Союза? А я отвечаю: основное в жизни — желание. Если ты знаешь, что выполняешь волю Всевышнего, если идешь по пути своих предков и передаешь эстафету соблюдения наших традиций детям — тебе помогают на Небесах. Главное — принять правильное решение, выбрать верный путь и не сворачивать с него. Я и не свернула — до сих пор живу в Кфар-Хабаде, вместе с моими детьми, внуками, правнуками. И счастлива тем, что сумела передать им эстафету поколений, которую я и мой Биньёмин получили от родителей.

НАСТОЯЩИЙ ХАБАДНИК

Меир Грузман

Меня зовут Меир Грузман, я родился в 1934 году в Москве. Но чтобы понять, кто я и что я, начну рассказ со своего отца — Мордехая Грузмана.

Он родился в 1906 году в еврейском местечке Смотрич неподалеку от Каменец-Подольска. До революции все жители местечка были религиозными, то есть можно было без опаски прийти в любой дом и спокойно есть — некошерное никто не держал. Понятно, кто-то был более сведущ в Торе, кто-то менее. Но не было ни одного еврейского обитателя этого местечка, который бы не соблюдал заповеди. А всего лишь через шесть лет после большевистской революции 1917 года в местечке остались только два молодых парня, ежедневно накладывавшие тфилин. Все ушло, все пропало, все погибло в кровавом вихре большевизма!

Отец был одним из этих двух парней. Его семья испокон веку принадлежала к хасидам Ружинского ребе, в тех краях о Хабаде почти не слыха-

ли. В ешиве отец никогда не занимался, но то, что знал, он знал во всех подробностях и очень глубоко. Учился он у моего деда — реб Меира-Цви, который на старости лет совершенно ослеп, но помнил наизусть весь Талмуд. Когда они вместе занимались и отец пропускал какую-то фразу из комментария Раши к Талмуду, дед тут же останавливал его и цитировал по памяти.

Жизнь заставила отца выучиться на шойхета и сойфера. В те годы, если ты хотел, чтобы у тебя на двери висела мезуза, нужно было самому ее написать. А если ты хотел поесть кошерного мяса, то приходилось самому достать курицу на базаре, зарезать, разделать, вымочить и высолить. А уж только потом готовить из нее какое-то блюдо.

Когда отцу исполнилось восемнадцать лет, ему пришлось искать работу — времена стояли тяжелые, семья не могла его дальше кормить. И он сразу же принял для себя принципиальное решение, которого свято придерживался всю жизнь: будь что будет, а по субботам работать не станет.

В те годы найти место с выходным не в воскресенье, а в субботу было чрезвычайно сложно. Но отец все-таки нашел — устроился кладовщиком на овощной склад, куда крестьяне свозили продукцию со всей округи. По субботам склад не работал, а заведующим складом был родственник отца, сам религиозный человек.

Однажды — дело было в пятницу — кто-то из поставщиков обманул их при взвешивании привезенной продукции. И при подведении итога

в конце дня баланс не сошелся. Они пересчитывали снова и снова, пока наконец не нашли причину недостачи. Но время прошло, и солнце уже клонилось к закату.

Склад находился не в деревне, где жили отец и семья его родственника, а в поле, на расстоянии в добрый десяток километров, если не больше. Они быстро запрягли лошадь в телегу и помчались домой. Но доехать так и не успели — закат солнца застал их прямо в поле.

Отец спрыгнул с телеги и сказал, что дальше не поедет. Его родственник начал возражать: «Речь идет об опасности для жизни. Не нашей, понятно, но если мы не вернемся, то моя жена и дочь не будут знать, что с нами случилось, начнут переживать, испугаются до смерти. Иди знай, к чему этот испуг может привести». Но отец твердо стоял на своем: «Не поеду — и точка».

Родственник попрощался с ним, хлестнул лошадку вожжами и был таков. А отец остался в поле. Он увидел неподалеку огоньки деревни и пошел к ней. «Пристроюсь где-нибудь, пусть даже во дворе. Как-нибудь переночую, главное, что субботу не нарушу», — подумал он.

Отец быстро нашел какую-то корчму, где сидели несколько крестьян и пили водку. Попросился на ночлег, и хозяин без проблем пустил его. Вечернюю молитву отец прочитал во дворе, кидуш сделал над буханкой черного хлеба, что была у него с собой, а затем устроился в уголке харчевни — чтобы как-то провести время, пока не придет пора идти спать.

И случайно услышал, как крестьяне в разговоре упомянули название деревни, в которой жил его дядя — брат матери. Хотя эта деревня находилась совсем недалеко от деревни отца, он никогда не видел дядю, а только несколько раз сталкивался с одним из его сыновей. Но когда он услышал в харчевне знакомое название, то решил разузнать — может быть, деревня находится неподалеку и он проведет субботу у родственников. Когда он поинтересовался у крестьян, как найти деревню, они ответили, что нужно лишь перейти мост в нескольких сотнях метров от корчмы.

Было уже поздно, и в темноте отец не решился отправиться на поиски. Но утром, сразу же после молитвы Шахарит, он перешел через этот мост и разыскал дом дяди. Постучал в дверь, открыл ему пожилой еврей в талесе. (Как выяснилось потом, дядя молился дома — в деревне не было миньяна, поскольку там жили только три еврейские семьи.)

Этот еврей осмотрел его с ног до головы и довольно неприветливо спросил: «Кто ты и что тебе здесь нужно?»

Отец объяснил: «Я ваш племянник, сын вашей сестры».

Дядя пригласил его в дом, но руки не подал и даже не поздоровался. Почему? Да потому, что он решил: если сын сестры оказался в деревне рано утром, то, понятное дело, субботу не соблюдает. То есть тоже поддался идеологии большевиков.

В этот момент в комнату вошел тот самый двоюродный брат, с которым отец был знаком. Уви-

дел его и удивленно воскликнул: «Мордхе, как ты здесь очутился, ты же, мракобес, соблюдаешь субботу?»

Отец объяснил, что как раз потому, что он не хотел нарушать субботу, он и оказался здесь. Ну, как только дядя услышал эти слова, сразу же изменил свое отношение — сердечно поздоровался и пожал руку.

За трапезой они разговорились, и дядя спросил отца, что он учил в Торе, разбирается ли в Талмуде. В той деревне, как я уже сказал, были всего три еврейские семьи, и дядя оказался самым сведущим в Гемаре.

Незадолго до этого он учил трактат «Недарим» Вавилонского Талмуда и натолкнулся на одно место, которое никак не мог понять. В деревне спросить было не у кого, но даже когда он изредка попадал в город, то и там все, у кого он спрашивал, затруднялись объяснить это сложное место. И дядя поинтересовался у отца: может, он сумеет разобраться? Отец ответил: «Я учил Талмуд с дедом и с удовольствием поучусь с дядей».

Они засели за Талмуд и быстро раскусили этот крепкий орешек. Дядя пришел в восторг — вопрос, так долго мучивший его, был наконец разрешен.

Когда суббота закончилась, он не позволил отцу уехать. Запряг телегу, выловил на дворе самого большого гуся и отправился в соседнее село — к шойхету. Привез уже ощипанного гуся и говорит жене: «У нас такой важный гость — молодой парень, всего девятнадцать лет, а не только со-

блюдает субботу, но и умеет учить Талмуд. Нужно организовать по этому поводу трапезу!»

И действительно, устроил он трапезу и веселился от души. Вся эта история, может быть, не так уж и интересна сама по себе, но она наглядно демонстрирует, какой редкостью был в то время молодой еврейский парень, соблюдавший заповеди! Давление со стороны большевиков было настолько мощным и всеохватывающим, что почти вся молодежь приняла — кто добровольно, а кто из страха — их идеологию.

Мой отец был редким исключением, и поэтому к нему большевики применили особый подход. Они понимали: угрозами его не сломить. И решили действовать иначе, попытавшись соблазнить «пряником» — дали должность учителя идиша в школе.

Это была хорошая работа — чистая, интеллигентная и неплохо оплачиваемая. Ему даже позволили не преподавать по субботам. Но это продолжалось недолго, вскоре отец понял: от него хотят, чтобы он не просто учил детей языку, но и проповедовал большевистские идеи.

И он сказал своему родственнику, у которого жил: «Дурить детям головы большевистскими антирелигиозными агитками я категорически не согласен. Но и открыто выступать против власти не хочу. Поэтому я тихо исчезну, да так, чтобы никто не знал куда».

Тот начал его отговаривать: «Посмотри, какая у тебя прекрасная работа, достойная, уважаемая, выгодная. Ну что, в конце концов, произойдет,

если ты согласишься на какой-то компромисс? Власть-то ведь их. Не плюй против ветра!»

Но отец категорически не был готов принимать участие в оболванивании еврейских детей. И уехал. Было это в 1926 году.

Чтобы его не нашли, он отправился в большой, густонаселенный промышленный центр — столицу Донбасса Сталино¹. Начал искать работу. Но куда бы он ни подался, везде требовалось выходить по субботам. А какая работа была в Сталино — в угольных шахтах.

В дирекции одной из шахт он столкнулся с несколькими еврейскими ребятами, тоже искавшими работу. Ребята оказались, естественно, из религиозных семей. Но к тому времени уже ничего не соблюдали. Они приехали в Сталино раньше отца и уже как-то обустроились, даже сняли квартиру. Новые знакомые сразу увидели, что отец — порядочный человек, и предложили жить вместе с ними. И так получилось, что буквально на следующий же день, в четверг, их всех приняли на какую-то шахту. Отработали они спокойно два дня, и тут наступает суббота.

В субботу утром выпал густой снег, и отец говорит этим ребятам: «Давайте не пойдем в шахту. А если будут допытываться, что да как, то скажем — заблудились. Мы в Сталино люди новые, только приехали. А снег все замел, и мы не нашли дорогу на шахту».

1 С 1961 г. — Донецк. — Прим. ред.

Они стали возражать: «Как же так, нас приняли с условием, что выходим шесть дней в неделю». Отец-то в своей жизни никогда по субботам не работал, а они успели отойти от соблюдения заповедей довольно далеко, и для них в нарушении субботы уже не было ничего из ряда вон выходящего.

Отец начал их убеждать: «Никакой выгоды от нарушения субботы мы не получим — посмотрите, даже небеса плачут, вот какой снег выпал». И убедил.

В понедельник они пришли на шахту, и когда мастер спросил, почему прогуляли, то, как и сговаривались, сказали ему, что заблудились из-за снега. Но он все сразу правильно сообразил и поднял крик: «Не делайте из меня идиота, я что, не понимаю, что вы не пришли из-за своей еврейской субботы! Убирайтесь отсюда, мне такие работнички не нужны».

А как раз в этот момент мимо проходил другой мастер. И говорит: «Мне срочно нужен человек в шахту, кто из этих ребят хорошо работал?» И мастер-грубиян показал на моего отца: «Вот этот».

Отца взяли в забой, а тех ребят уволили. Так вот и получилось — тех, кто был готов работать в субботу, выгнали, а того, кто ее не нарушил, — оставили. Ребята тут же ушли, и вечером отец с трудом нашел их квартиру. Ему хоть и было очень неудобно возвращаться к ним, но на квартире осталось единственное достояние отца — тфилин.

Ему досталось прекрасное место в забое — кладовщика на складе инструментов. По субботам он должен был там физически присутство-

вать, но ничего не делал. Если же кто-то приходил получать инструмент, отец запоминал фамилию и после окончания субботы записывал инструмент в его карточку.

В шахте отец проработал пять лет, хотя одной из наиболее распространенных антисемитских побасенок была та, что в шахтах евреев нет. А с квартирой ему и вовсе повезло — он снял ее не у кого-нибудь, а у тамошнего раввина. Понятно, не квартиру, а угол. Но это был угол в еврейском религиозном доме, где соблюдали заповеди.

И раввин все время давил на отца: «Ты обязан научиться шхите, ты обязан научиться проверять и писать мезузы. Если хочешь остаться религиозным, это тебе необходимо как воздух. Наступают такие времена, что если ты не будешь все это уметь, то даже кошерного мяса не поешь».

Отец вовсе не думал сопротивляться и потихоньку учился всем этим вещам. И они действительно оченьгодились ему в дальнейшем.

Шахтерская карьера отца закончилась, когда он заболел тифом. Болезнь протекала тяжело, и он свалился прямо в шахте. Его немедленно отправили в больницу, но поскольку это была очень заразная болезнь, его уволили. Он пролежал в больнице около двух месяцев и чудом выжил. А когда пришел в себя, то понял, что в Сталино ему больше делать нечего, и отправился в Москву.

Там он познакомился с любавичскими хасидами, начал молиться в их миньяне. Это был тайный миньян, который собирался в частном доме, рас-

положенном на Алексеевке, неподалеку от ВДНХ. Учение Хабада очень понравилось отцу — и своей глубиной, и тем, что давало ответы не только на глобальные философские вопросы типа взаимоотношений между Всевышним и человеком, но и на актуальные вопросы. И он стал постепенно приближаться к Хабаду.

Материальные дела тоже наладились — он устроился сторожем на завод, снял койку — не комнату, а койку — у какого-то нееврея.

Приближался праздник Песах — первый для отца в Москве. И конечно, возникла проблема. Тогда найти кошерные продукты было сложно, а уж те, что годятся на Песах, — почти невозможно. Отец начал беспокоиться о еде на Песах заранее. Написал домой письмо и попросил, чтобы ему хоть что-нибудь прислали. Спустя короткое время он получил из Украины посылку с мацой и топленным жиром. Негусто, конечно, но с этим уже как-то можно было перебиться. А остальное?

И самое главное — провести седер в квартире, где он жил, не было просто никакой возможности. Ведь отец снимал койку, так что не имел даже своего стола. Ну, в самом деле, как читать «Агаду» и проводить седер, сидя на койке в окружении нееврейских хозяев дома?

Напрашиваться к кому-то в гости было неудобно, отец еще не успел обзавестись друзьями. Но выхода не оставалось. В миньяне он познакомился с пожилой женщиной по фамилии Бергер. Она была из семьи польских беженцев, ока-

завшейся в России еще во время Первой мировой войны. Отец обратил на нее внимание потому, что она каждый день молилась с необычайным вдохновением. И, преодолев смущение, отец спросил, не знает ли она кого-нибудь, у кого он мог бы провести Песах. Еда у него есть — маца и жир, так что обузой не станет. Все, что ему нужно, — это еврейский дом и пасхальная атмосфера.

И она пригласила его к себе. Песах прошел замечательно. Во время праздника он познакомился с дочерью этой женщины, Фаней. Отец сразу влюбился, и она ответила взаимностью. Фаня была комсомолкой, и, хотя родители ее все соблюдали, сама она заповедей придерживалась уже не очень строго. Но отец объяснил ей: если она готова стать его женой, то законы Торы должна выполнять в точности. Фаня согласилась, и спустя несколько месяцев после Песаха им поставили хупу.

Зарплаты сторожа для содержания семьи уже не хватало, и отец нашел новую работу, которой занимались тогда многие хабадники, — производство трикотажа. Его приняли в артель, выдали ткацкий станок, и он начал работать на дому — ткал чулки, носки, колготы.

Основное преимущество этой работы заключалось в том, что не нужно было ходить на фабрику. То есть проблема соблюдения субботы не возникала. В конце месяца он был обязан сдать продукцию, и его никто не проверял, когда он работает — днем или ночью, в субботу или в другие дни. Главное — вовремя выполнить план.

Как и было условлено с Фаней до свадьбы, молодая семья вела религиозный образ жизни. Отец даже отрастил бороду, что по тем временам было для человека его возраста большой редкостью. В 1934 году появился на свет я, а спустя полтора года — мой брат Йегуда.

Наш дом был всегда полон людей. Тогда в Москву приезжали религиозные евреи, добивавшиеся выездных виз. Без прописки нельзя было находиться в столице более двух-трех дней. А где такие люди могли прописаться? И наша квартира превратилась в своеобразный постоянный двор. Бесплатный, конечно, денег ни с кого отец не брал. Собственно, это была не квартира, а одна комната с небольшой кухонькой. Располагалась она на Алексеевке, неподалеку от дома, где находилась тайная синагога.

И в этой комнате все размещались — в тесноте, но не в обиде. Меньше пяти — семи гостей у нас никогда не было, я помню времена, когда в эту комнату набивалось по ночам и по четырнадцать человек.

Среди наших постояльцев были по-настоящему ученые люди, раввины. Я, хоть был совсем маленьким ребенком, особенно запомнил рава Брука², приехавшего к нам из Бердичева. Много лет

2 Брук Хаим-Шауль родился в 1894 г. в Сновске Черниговской губ. Получил традиционное воспитание. Учился в ешиве «Томхей тмимим» в Любавичах. Раввин. С 1928 г. руководил подпольной ешивой «Томхей тмимим» в Новоград-Волынске. В 1929 г. арестован и приговорен к принудительным работам. С 1931 по 1936 г. занимался подпольным религиозным образованием в Бердичеве, в 1936-м выехал в Эрец-Исраэль. Преподавал там в любавичских ешивах в Тель-Авиве и Ришон-ле-Ционе. В 1965 г. скончался в Ришон-ле-Ционе.

спустя я встретил его в Израиле, где он возглавлял хабадскую ешиву в Тель-Авиве, а затем стал главным раввином города Ришон-ле-Цион.

Функционирование «постоялого двора» не осталось незамеченным для недреманного ока властей. Собственно, ничего, кроме нарушения паспортного режима, отцу вменить было никак нельзя. Да и то режим нарушал не он, а его гости. Но тем не менее однажды к нам пришла милиция и, уж не знаю, под каким предлогом, провела обыск. Изъяли все деньги, что были в доме, и арестовали отца.

Доказательством, что никакого материала на отца в милиции не имелось, служил тот факт, что ему не предъявляли обвинение. Впрочем, в сталинской России совершенно невинных людей не только сажали на десятилетия в тюрьмы, но и расстреливали.

В тюремной камере, где оказался отец, содержались пятьдесят человек. Теснота, давка были ужасными. Ко всему вдобавок в углу камеры стояла параша, в которую все отправляли свои естественные надобности. Параша издавала страшное зловоние, и молиться в таких условиях было невозможно.

Но отец нашел выход. В камере имелось небольшое окошко, возле которого разместились, понятное дело, уголовники. Они держались стай и благодаря численному превосходству и звериной жестокости командовали заключенными и всегда захватывали все самое лучшее. В том

числе и места. А возле окошка воздух был немного свежее и чище.

Отец не ел тюремную баланду, питался только хлебом и тем, что в тюрьме называли чаем. Этот «чай» представлял собой коричневую бурду. Но это была горячая бурда, и вместе с хлебом она позволяла отцу не умереть с голоду.

Огромным подспорьем были ежемесячные посылки, передаваемые из дома. Но львиная доля продуктов из этих посылок доставалась уголовникам. В обмен на них пахан этой бандитской стаи разрешал отцу три раза в сутки подходить к окошку. Отец прижимался к стене, приподнимался на цыпочки и засовывал голову как можно дальше в каменную нишу, в глубине которой находилось окошко. Тут запах почти не ощущался, и он мог молиться.

Делать в камере было нечего, и заключенные постоянно вели между собой разговоры на разные темы. Понятно, что и по поводу религии. И вот однажды, месяца через три после ареста, отец вступил в особо ожесточенный спор: есть ли Бог.

Один из оппонентов сказал отцу: «Ну, Мордхе, посуди сам, вот ты человек глубоко религиозный — ничего не ешь, молишься три раза в день. То есть выполняешь все указания своего Бога. А что же Он дает тебе в ответ? А ничего! Если бы Бог существовал, Он бы не позволил тебя арестовать и не допустил бы, чтобы ты заживо гнил здесь, в этой зловонной дыре. И уж, во всяком случае, Он постарался бы вызволить тебя отсюда. Но проходят дни, недели и месяцы, а ты по-прежнему

здесь, и твой Бог ничего не делает для тебя. Значит, Его попросту нет! Мир возник случайно, в результате каких-то космических катаклизмов, о которых мы пока не имеем понятия. И существует не по чьей-то воле и не под чьим-то управлением, а сам по себе — по законам природы».

Собеседник думал, что подкузьмил отца и тому нечего будет возразить. Но он, бедняга, понятия не имел, что точно такой же спор еще тысячу лет назад вел рабби Акива с каким-то язычником и на этот, казалось бы, каверзный вопрос существует ответ, записанный в наших книгах.

Отец ответил, что утверждения о случайности возникновения Вселенной, без воли Творца, не выдерживают никакой критики. «Разве вы сможете поверить, что, скажем, «Интернационал» не был написан поэтом, а получился у него просто так, потому что чернильница опрокинулась и чернила сами собой образовали стихи?» — спросил отец у своих оппонентов. И сам же ответил: «Того, кто утверждал бы нечто подобное, вы сразу подняли бы на смех. Так как же вы верите, что весь наш огромный мир, со всеми его творениями, со всеми его физическими законами, действующими строго и неизменно, вся эта колоссальная вселенская гармония возникли случайно? Сам факт существования нашего мира и есть лучшее доказательство того, что у него есть Творец».

Эти доводы очень понравились сокамерникам отца. До такой степени, что они громко зааплодировали. И тут с грохотом распахнулась дверь в ка-

меру. Все были уверены, что надзиратель сейчас устроит им выволочку за то, что устроили шум. Но надзиратель громко скомандовал: «Грузман с вещами на выход!»

Все поняли, что отца освобождают, и закричали еще громче: «Вот теперь ты на самом деле доказал нам, что Бог существует!»

Это и в самом деле было чудо. Отца отпустили, так и не предъявив никаких обвинений. И не просто отпустили, но вернули все деньги, изъятые во время обыска. Что по тем временам было уж и во все необычно.

На нашу жизнь краткое заключение отца не оказало никакого влияния, все оставалось по-прежнему. Пришло время мне отправиться в начальную школу. Но отец меня не пустил — он в точности выполнял указание, данное Ребе Раяцем. Он нанял частного меламеда, который приходил к нам домой и занимался со мной ивритом, Хумашем, учил молитвам — всему, что полагается знать еврейскому мальчику.

Когда в 1941 году началась война, Москву почти сразу же стали бомбить, и я хорошо помню, как мы бегали в бомбоубежище. Возле дома, где мы жили, пострадали несколько зданий, одна бомба упала прямо на территории ВДНХ, совсем рядом с нами. И родители решили уехать в Самарканд. Там уже жили хабадники, а у отца еще и имелся хороший приятель, бухарский еврей, который до войны неоднократно приезжал в Москву и останавливался у нас, — реб Рефоэль Худайдатов. Это был настоя-

щий хабадник, которого не испугали и не сломили никакие преследования. Расскажу о нем только одну, но весьма характерную историю.

В самаркандском доме реб Рефоэля была подпольная миква. Тогда это было запрещено, и как-то раз к нему пришли представители властей, которым донесли о микве.

— Что это у тебя такое? — спросили они у реб Рефоэля.

— Это бассейн с питьевой водой, — не моргнув глазом, ответил он. А вода в микве была застоявшаяся и пахла очень неприятно.

— Да ну, не может такого быть, — сказал один из милиционеров. — И вот эту воду вы пьете?

— Конечно, — ответил реб Рефоэль. В доказательство он зачерпнул стакан воды из миквы и выпил. Это было настоящее самопожертвование. Милиционеры столь впечатлились, что оставили его в покое. А с реб Рефоэлем ничего не случилось — он не заработал даже легкого расстройства желудка. Миква продолжала работать, и ею пользовались многие женщины — не только хабадские, но и из бухарской общины.

В Самарканде мы поселились сперва у реб Рефоэля. У него были два домика с большим двором; в одном он жил со своей многочисленной семьей, а другой отдал нам.

Началась новая жизнь, но для меня все оставалось по-прежнему. Как и в Москве, я не занимался в школе, ко мне приходил меламед, и я продолжал изучение еврейских дисциплин. Вообще, я ни од-

ного дня, слава Богу, так и не проучился в советской школе.

Чтобы заработать семье на жизнь, отец много чем занимался, пока, наконец, не начал делать леденцы из сахара. Каждый, кто жил в СССР, помнит леденцы в виде петушков на палочке. Отец где-то доставал сахар и пищевые красители, дома варил леденцы и красил их в разные цвета — красный, синий, зеленый. Петушки пользовались большим спросом, и дела у нас пошли хорошо. До такой степени, что родители даже смогли снять квартиру.

Отец был призывного возраста, и ему, естественно, прислали повестку на медкомиссию. Это должна была быть чистая формальность, отец, к счастью, ни на что не жаловался и ничем не хворал. Мать страшно переживала — вероятность того, что он не вернется с фронта или вернется калек, была очень высока. Но на войне как на войне — деваться некуда. Все воюют, и ты обязан, на печи не отсидишься. И как-то утром, точно в назначенное время, отец явился на медкомиссию.

Вместе с ним ее проходил какой-то молодой парень, по виду очень больной. И так получилось, что они все время были рядом. Когда отец заходил к очередному врачу, то сразу же за ним следовал этот парень. Вдвоем они и обошли всех врачей. В конце дня всем выдали заключение медкомиссии: отец получил белый билет, а парень был признан годным к строевой.

Что уж там произошло, отец так никогда и не узнал, да и не пытался. Творец вселенной, Кото-

рый вызволил отца из тюремной камеры, и тут напрямую вмешался в земные дела.

Но дела белобилетников постоянно пересматривали, и отец, не рассчитывая на еще одно чудо, решил перебраться из Самарканда в другой город. Так мы оказались в Сталинабаде³. Здесь отец занялся производством мыла.

Он варил его из жира животных — лошадей, ослов, собак. А поскольку достать мыло в государственных магазинах было просто невозможно, то зарабатывал он хорошо. Правда, процесс производства, который осуществлялся прямо в нашем доме, имел один небольшой, но весьма существенный недостаток. Даже, скорее, не недостаток, а неудобство — в доме у нас постоянно стоял тот еще запах. С непривычки можно было задохнуться или, уж как минимум, надолго лишиться аппетита.

К сожалению, добывание средств к существованию отнимало у отца практически все время и силы. Лишь иногда ему удавалось позаниматься со мной Гемарой. Но эти уроки были редкими и отрывочными. А отец хотел, чтобы я получил еврейское образование. В Сталинабаде жили тогда несколько семей хабадников. Мы общались с ними, но все мужчины, как и отец, работали с утра до ночи. Времени ни у кого из мужчин не было, и о том, чтобы кто-то посвятил несколько часов в день занятиям со мной, нельзя было и мечтать.

3 Душанбе, в 1929–1961 гг. — Сталинабад.

Поэтому, когда мне исполнилось десять лет, отец отправил меня назад, в Самарканд, где жили в эвакуации родители моей матери. В Самарканде действовала ешива, и я должен сказать, что обучение в ней было на очень высоком уровне. Это воистину было настоящее чудо.

Ешива функционировала в подполье, под постоянной угрозой закрытия и ареста — и учителей, и учеников. Это вроде бы вовсе не должно было способствовать нашему желанию что-либо учить. К тому же мы были голодными — постоянно голодными. Мои бабушка с дедушкой сами перебивались с хлеба на воду, и я, как и бóльшая часть других ешиботников, «ел дни». То есть ежедневно меня кормили обедом в разных хабадских домах.

Но все это не только не мешало, а, наоборот, еще больше способствовало нашему стремлению как можно скорей и как можно глубже погрузиться в мир Торы.

Сегодня, как человек, который всю свою жизнь посвятил изучению и преподаванию Торы, — я завершил свою служебную карьеру на должности главы ешивы «Томхей тмимим» в Кфар-Хабаде, — могу со всей уверенностью сказать, что в Самарканде в возрасте одиннадцати лет мы учили такие вещи, которые сейчас в израильских ешивах не изучают и шестнадцатилетние парни.

При этом следует принять во внимание, что я по-настоящему начал учиться, только когда вернулся в Самарканд. До этого мне и не с кем было учиться, и книг еврейских не было. То есть я, по

существо, к занятиям в ешиве совершенно не был подготовлен. А через год я уже свободно мог читать не только Талмуд, но даже комментарии к нему.

В ешиве у нас были замечательные учителя. Меня принял в нее реб Исроэл Лейбов, возглавлял ее Йосеф Голдберг (Тирасполер), он потом стал главой хабадской ешивы в Париже. Его сын сегодня — глава ешивы в Мигдаль-га-Эмек.

Нашим классом, в котором учились пятнадцать мальчиков, руководил реб Эли-Хаим Ройтблат. В целях предосторожности каждый класс занимался отдельно, и ученики знали только друг друга. Если бы власти накрыли один класс, то дети никого не могли бы выдать, поскольку просто больше ни с кем не были знакомы. Мы, понятно, знали, что есть еще классы и есть еще ученики. Но о том, где они занимаются, с кем занимаются и даже что учат, мы не имели никакого понятия.

Когда я закончил этот класс, то перешел в другой, где преподавал реб Михоэль Тейтельбойм. В нем действовала точно такая же система. Все ученики этого класса приходили в частный дом и знали только этот дом и больше ничего. А узбекские дома устроены так: высокая глинобитная стена с выходом на улицу, за ней большой двор, в глубине которого, среди деревьев, — сам дом.

Перед тем как начинались занятия в новом классе, первое, чему нас учили, — где находится запасная калитка, через которую надо будет убежать, если придут с обыском. Калитка эта была с задней стороны дома, и пока милиция или че-

кисты шли бы от ворот через весь двор, у нас был небольшой шанс выскочить через нее на другую улицу и разбежаться в разные стороны.

Мы приходили в ешиву рано утром, пока улицы еще были пустынными, занимались целый день без перерыва и уходили только поздно вечером, когда уже наступала ночь. Таким образом, внимание соседей не привлекало то, что в этот дом каждый день приходит много молодых ребят. Это, естественно, могло бы вызывать подозрение.

Я с грустью вспоминаю атмосферу, царившую в ешиве. Нас не надо было заставлять учиться или как-то поощрять, мы просто горели желанием узнать как можно больше. Господи, как мы молились тогда, с каким воодушевлением, с каким чувством! А какой уровень обучения у нас был!

К примеру, мы, подростки, изучали комментарий к Гемаре под названием «Маѓарам Шифф»⁴. Это очень глубокий комментарий, который сейчас в Израиле не изучают даже двадцатилетние ешиботники — уж слишком он сложный. А мы, одиннадцатилетние мальчишки, брали его, что называется, штурмом!

Книг мы не имели, во всем Самарканде был только один том Талмуда, который каждую неделю передавали из одного класса в другой. И когда этот том попадал в наши руки, мы оставались до глубо-

4 Сборник комментариев к Талмуду германского раввина и главы ешивы г. Фульды Меира бен Яакова Ёа-Коѓена Шиффа (1605–1641). Маѓарам — акроним слов *морейну ёа-рав Меир* — «учитель наш рав Меир». — Прим. ред.

кой ночи, чтобы выучить еще кусочек и еще кусочек. Никто нас не заставлял, это была наша жизнь.

Как человек, занимающийся вот уже более пятидесяти лет изучением и преподаванием Торы, я должен отметить: уровень обучения постоянно снижается. Сорок лет назад я давал своим ученикам такие уроки, о которых сегодня даже и мечтать не могу.

В противоположность уровню учебы, материальный уровень нашей жизни был очень низким. Мы ходили в обтрепанной, порванной одежде, в чиненых-перечиненых туфлях и сандалиях. Про постоянное чувство голода и говорить нечего. В Самарканде люди умирали от голода. Сколько раз я видел трупы на улицах! Но, повторю, это никак не сказывалось на нашем желании учиться.

В Самарканде жили тогда настоящие хабадники. Их ну просто никак нельзя сравнить с теми, кто сегодня называется хабадниками в Израиле. Такими настоящими хабадниками были рав Шломо-Хаим Кессельман, рав Нисан Неменов, рав Залман Левитин, реб Зуся Кублицер, рав Йешаягу Корф, у которого я учился. В чем это выражалось? Хабадник — это человек, который учится глубоко, вдохновенно, с полной самоотдачей и самоабвенно молится три часа в день.

Когда просто произносят слова молитвы, пусть даже выговаривая отдельно, четко и внятно каждое слово, это на самом деле вовсе не молитва. Я говорил уже, что «ел дни» в разных хабадских домах и видел, что такое настоящая молитва.

В воскресенье я ел в доме у реб Нисана Неменова. И когда в полдень я приходил к нему на обед, он все еще молился Шахарит.

Вы спросите: когда же они работали, когда учились? В Гемаре написано, что первые хасиды молились по девять часов в день, каждая молитва — три часа. В ней тоже задается вопрос: когда же они работали, когда учились? И Гемара отвечает: «Их работа была благословенна, а Тора сохранялась». Они получали благословение даже в той небольшой работе, что успевали сделать. И никогда не забывали то, что выучили.

Я в своей жизни не удостоился встретить хасидов, молившихся вечером два-три часа. В будние дни, чтобы добыть кусок хлеба в тех условиях, они все же сокращали время молитвы. Но с лихвой компенсировали это по субботам. В Самарканде был миньян, который начинал Шахарит в 11 часов утра. До этого все его участники шли в микву, учили хасидут, а потом только приступали к Шахариту. И заканчивали его в четыре-пять часов пополудни! Помолившись в обычном миньяне, я после трапезы бежал в этот дом, сидел и смотрел, как они молились.

Вот это и были настоящие хабадники, вот именно такой молитвы хотел от них Ребе. Потому что молитва и любовь к Всевышнему составляют смысл жизни хасида. Причем открытая, публичная любовь. Чтобы каждый видел: когда еврей молится, для него больше ничего вокруг не существует. Он разговаривает с Творцом вселен-

ной и в этот миг забывает про все, весь мир для него исчезает — ведь он предстает перед Хозяином этого мира. Для такого человека нет большего удовольствия и большей радости, чем молитва, и он, понятно, хочет продлить эти высшие мгновения единства с Творцом.

Меня сегодня спрашивают: как же можно столько молиться, кто в состоянии простоять вот так три-четыре часа? Этот вопрос не только показывает, что спрашивающие не понимают, в чем смысл молитвы, но и выдает их отношение к ней. У тех хасидов подобный вопрос вообще возникнуть не мог! Они с нетерпением, с трепетом ждали минуты, когда смогут приступить к молитве, смогут вознестись в высшие духовные миры. И кто же в такие моменты смотрит на часы?

Меня также спрашивают: наверное, они молились так долго, потому что медленно, тщательно произносили каждое слово? Ерунда! Разве в этом дело? Ты порой можешь остановиться на одном слове на четверть часа. И уйти, взлететь ввысь, позабыв о времени. Именно так молился реб Нисан Неменов.

Как-то раз, уже живя в Израиле, я поехал к Ребе в Нью-Йорк. И по пути остановился у реб Нисана в Париже. Я неделю прожил в его доме и удостоился слышать, как он в соседней комнате молился Шахарит. Я слышал, как он произносил каждое слово, сколько чувства было в этом каждом слове, какие перерывы были между словами. Как он плакал, как вскрикивал от радости!

Вот это и есть настоящий Хабад! Поэтому у тех хасидов были такие силы, поэтому они никого не боялись, поэтому совершали чудеса самопожертвования. Когда ты каждый день разговариваешь с Творцом, разве могут тебя испугать какие-то чекисты?

Такая связь с Всевышним, такая углубленная внутренняя работа, направленная на исправление в первую очередь самого себя, и характеризует настоящих хабадников. Многие со мной, возможно, не согласятся, когда я скажу: совсем не тот стал теперь Хабад. То, чего хотел Алтер Ребе, то, к чему он призывал, могли в полной мере выполнить — и выполняли! — только его хасиды.

После того поколения гигантов мысли и духа началась серьезнейшая духовная деградация. Ее сумел остановить Ребе Рашаб, создав ешиву «Том-хей тмимим». Эта ешива оказалась грандиозным, совершенно неожиданным по своим масштабам успехом. Благодаря ей выросло новое поколение хабадников — не только глубоко верующих, но и очень грамотных, очень по-еврейски подкованных в вопросах хасидизма, Талмуда и еврейской этики. Но большевики вырезали большую часть этих людей. И вновь началось падение.

Мне возразят: о каком падении вы вообще говорите? Сегодня Хабад — ведущее еврейское религиозное движение в мире. Куда ни глянь, везде находятся его посланники. От Аляски до Катманду хабадники работают с евреями, помогают им оставаться евреями. То есть даже не быть религиозны-

ми, а просто сохранять культуру и традицию своего народа. Более того, некоторые верят, что у Хабада даже есть свой Машиах. О каком же падении, о какой деградации может идти речь? Наоборот, Хабад с каждым годом крепнет, расширяется, делает все больше и больше во имя Всевышнего и Торы, то есть идет по пути Алтер Ребе и его хасидов.

Но я ведь говорю не о материальной, не о внешней стороне вопроса. В этом смысле у нынешнего Хабада действительно все в порядке. Даже более чем. Проблема, на мой взгляд, состоит в том, что вся энергия нашего молодого поколения направлена не на себя, не на изменение и улучшение своего внутреннего мира, как того в первую очередь хотел Алтер Ребе и все остальные главы Хабада.

Сегодня хабадники работают не с собой, а с другими. Я вижу, как загораются глаза моих учеников, стоит лишь упомянуть про очередную «акцию». Пусть даже про самую сложную и тяжелую работу, но — с другими! Тут они готовы буквально на все — отправиться на край света, жить в отрыве от родни, в трудностях, питаться чуть ли не впроголодь, не видя месяцами кошерного мяса, сносить лишения. Но помогать при этом другому еврею. Это замечательно! Можно воистину гордиться, что у нас выросло такое поколение молодых хабадников.

Но весь вопрос не в том, кому помогут они, а в том, кто поможет им. Когда я рассказываю, как хасиды молились по девять часов в день, глаза ни у кого не загораются. Это, в отличие от «подвигов»,

моих учеников не привлекает. Повторю вновь, чтобы не быть неправильно понятым: я вовсе не умаляю значение и необходимость работы с другими евреями. Это — святое дело, и его, конечно, нужно продолжить. Но наши замечательные *шлухим* — посланники — должны и о своей душе порой думать, и о собственном уровне. А не только о других.

Может быть, я не прав. Я ведь не претендую на абсолютную истину. Может быть, сейчас наступило иное время, когда действительно необходима именно такая работа. Достаточно оглянуться вокруг и понять, до чего дошел еврейский мир в ассимиляции и духовной деградации. Это правда, еврейский народ оказался на таком духовном уровне, что кто-то, не считаясь с собой и забывая о себе, должен ему помогать. Но все же я с тоской и с грустью вспоминаю тот самаркандский миньян и тех хабадников — их молитву, их душевную работу. И я не сомневаюсь ничуть, что благодаря ей они не только совершенствовались сами, но и совершенствовали мир, помогали всему еврейскому народу.

...Наступил 1946 год, и начался отъезд из СССР польских евреев. Они десятками тысяч выезжали в Польшу, что создавало уникальную возможность, — затерявшись в этом бурном потоке, выскользнуть из страны победившего социализма. Отец все прекрасно понимал, но бездействовал. Почему? Да потому, что у нас не было денег на покупку фальшивых документов.

Пока в один прекрасный день знакомый отца, тоже хабадник, реб Исроэл-Ноах Блиницкий, пря-

мо не спросил у него: «Чего ты ждешь? Почему не пытаешься уехать?» Отец ответил, что он, конечно, был бы очень рад, но где взять столько денег на покупку документов? Реб Исроэл-Ноах ответил: «У тебя просто нет выхода, два твоих мальчика не могут расти в этой стране. Ты обязан их вывезти отсюда любым способом. Бери семью и отправляйся во Львов. Там тебе дадут деньги на выезд». И отец прислушался к этому мудрому совету.

Во Львове к тому времени уже находился реб Мендл Футерфас, и мы с ним познакомились. Но его подпольная организация, с помощью которой потом выехали несколько тысяч хабадников, еще не функционировала в полную силу. И у других хабадников денег мы тоже не получили. Тогда, как и сейчас, да, собственно, всегда и везде, были нужны связи. А наша семья не была урожденной хабадской, и необходимыми связями отец не обладал.

Но, на его счастье, он совершенно случайно столкнулся на улице во Львове с польским евреем, которого знал еще по Самарканду. Тот был очень удивлен и спросил, что он тут делает. И отец ему все рассказал.

Наивно? Глупо? Без всякого сомнения! В те годы вот так довериться пусть даже и знакомому человеку было не просто опасно — смертельно опасно. Но на отца какое-то озарение свыше сошло. Опять, как и в прошлые разы, вмешался Творец вселенной и сотворил для отца маленькое чудо.

Этот польский еврей оказался большим махером, как сейчас говорят — «деловаром». Он был

проводником на поезде, который каждую неделю ездил в Польшу. Перевозил туда-сюда всякие товары: там продавал, здесь покупал. И наоборот. Понятно, что у него были хорошие связи и с пограничниками, и с оптовыми скупщиками. Но самое главное — у него водились деньги.

Он легко и быстро организовал всей нашей семье необходимые документы и даже одолжил немного денег, чтобы нам хватило на первое время в Польше. И осенью 1946 года мы благополучно, без каких бы то ни было проблем, выехали из СССР.

Сперва мы попали в Краков, где прожили десять дней, оттуда отправились на границу с Чехией. Нас была целая группа — любавичских хасидов, сумевших разными путями прошмыгнуть за железный занавес. Границу мы перешли пешком. В Чехии уже ждали грузовики, которые нас перевезли дальше — в Вену, Линц. А оттуда — в американский лагерь Векшайт, где мы прожили полгода. Там сразу же организовали ешиву, дети начали учиться. Все уже было в открытую, никого и ничего не надо было бояться.

«Джойнт» дал нам новые *сидурим* — молитвенники, и я не могу передать, какую радость мы испытали, впервые взяв в руки новый, еще пахнувший типографской краской сидур. До сих пор мы пользовались только старыми, изданными еще до революции, — пожелтевшими, затрепанными, порванными. А тут — новенькие, да еще не общественные, а наши, личные.

Конечно, мы с братом сразу же начали заниматься в этой ешиве. Но быстро поняли, что по уровню она нам не подходит. Поэтому мы решили пробраться в Покинг. Это был тоже лагерь, где жили хабадники, но располагался он в Германии и был намного больше нашего. Поэтому там функционировала и более серьезная ешива.

Наше желание учиться было столь сильным, что нас не остановило незнание языка, незнакомая страна, возможные трудности по дороге. И мы отправились в Покинг на свой страх и риск. Доехали только до Зальцбурга, и нас вернули назад: мы ведь были еще детьми — мне, старшему, едва исполнилось двенадцать лет. Делать нечего, пришлось удовлетвориться тем, что есть, и заниматься в Векшайте. Но, как и в Самарканде, мы вкладывали в учебу все свои силы и энергию.

Многие хабадники ожидали переправки во Францию, чтобы оттуда уехать в Америку — к Ребе. Но мой отец принадлежал к той части, которая стремилась в Эрец-Исраэль. Он установил связь с организацией «Бриха»⁵, которая должна была переправить нас в Италию, а оттуда пароходом — в Палестину.

Австрия была разделена на четыре зоны — русскую, американскую, французскую и английскую. Переезд из одной в другую был совсем не про-

⁵ «Бриха» (ивр. «Побег») — подпольная организация, функционировавшая в 1944–1949 гг. и занимавшаяся переправкой евреев из стран Восточной Европы на побережье Средиземного и Черного морей для дальнейшей транспортировки их морем в подмандатную Палестину. — Прим. ред.

стым делом, ведь речь шла, по существу, о пересечении границы.

Сперва нам надо было перебраться из американской зоны во французскую. «Бриха» сколотила целую группу численностью человек пятьсот — можете себе только представить, как трудно было организовать и перебросить через границу такую массу народа, немалую часть которой составляли пожилые и больные люди.

И вот однажды вечером за нами приехали грузовики и привезли к подножию какой-то горы. Мы спрятались в лесу и стали ждать темноты. Когда настала ночь, отправились в путь. Шли мы до рассвета, не зажигая огня и сохраняя полную тишину. К утру добрались до горы, где, в соответствии с планом, разработанным в «Брихе», должны были провести — тоже, конечно, скрываясь в лесу, — весь день. И только на следующую ночь переправиться через границу.

Но поскольку группа была большая, а в ней старики, дети, больные, то мы двигались слишком медленно и выбились из установленного графика. Когда начало светать, мы оказались возле шоссе, и наши инструкторы сказали, что всем как можно быстрее следует взобраться на близлежащую горку и спрятаться в лесу — по шоссе постоянно проезжали машины, и нас могли заметить. Хотя у большинства силы были уже на пределе, все начали карабкаться на эту горку.

Тем не менее, когда уже совсем рассвело, часть группы все еще была на открытой местности.

А неподалеку на шоссе находился французский пограничный пункт. Солдаты заметили нас и стали стрелять в воздух.

Тогда наши инструкторы решились на отчаянный шаг — они собрали всех в плотную группу и сказали: «Пойдем толпой на пограничный пункт и прорвем барьер. Скорей всего, солдаты не откроют огонь по женщинам и детям, но нужно быть готовыми ко всему».

И никто не возразил, никто не начал спорить, что это, мол, слишком опасно или рискованно. Мы так стремились добраться до Эрец-Исраэль и обрести, наконец, свой дом и свое отечество, что были готовы ко всему.

Группа выбралась на шоссе и пошла по направлению к пограничникам. Их было всего двое, и они действительно не решились стрелять. Мы прошли мимо них, инструкторы все время торопили: «Быстрее, быстрее, нужно уйти как можно дальше в глубь французской зоны, пока к солдатам не прибыло подкрепление».

И сотни людей, измученных долгим переходом по горам, почти бежали. А инструкторы кричали на ходу: «Если придут солдаты, не бойтесь их, сопротивляйтесь, не давайте затолкнуть себя в грузовики — бросайте в них свои вещи, консервы, все, что попадется под руку! Главное — сопротивляйтесь!»

Но тут перед нами на дорогу выехали бронетранспортеры, из них посыпались солдаты и перегородили шоссе. Дальше идти было уже про-

сто невозможно. Мы сошли с дороги и сгрудились на обочине.

Подошли французские офицеры. Инструкторы объяснили, что мы — группа еврейских беженцев. Французы предложили сесть в грузовики, но мы решительно отказались, сказав, что им придется тащить нас силой. Офицеры увидели — это не слова, мы были готовы драться, что, по-видимому, было ясно написано на наших лицах. И французы отступили, не решившись на акцию, которая могла бы привести к непредсказуемым последствиям.

Они отступили, но не сдались, а решили взять нас измором. Мы просидели на той обочине три дня и три ночи. Ни туда ни сюда. Французы вели себя по отношению к нам гуманно, даже привезли еду. Но с места сдвинуться не разрешали.

Когда через три дня они увидели, что мы все основательно подустали, выдохлись и наша готовность пойти буквально на все умерилась, то вызвали армейские грузовики, без эксцессов загрузили нас в кузова и отвезли назад, в Векшайт. Мы вернулись несолоно хлебавши, и все мучения, которые пришлось пережить, оказались напрасными.

Тем не менее желание попасть в Эрец-Исраэль от этого вовсе не уменьшилось. «Бриха» решила действовать более осмотрительно и, не идя напролом, попробовать другие способы переправки. Нас разделили на небольшие группы по 20–25 человек, которые начали постепенно перебрасывать через границу на товарных поездах.

Так мы оказались во французской зоне. Отсюда путь лежал в Италию. Но и на этот раз переход границы оказался сложным — нас схватили и вернули. Не буду останавливаться на этом подробно, скажу лишь, что в конце концов мы добрались до Милана, а оттуда уже — в один из портовых городов. Из него мы отплыли с судном *маапилим* — людей, занимавшихся нелегальной (поскольку англичане, имевшие тогда мандат от Лиги наций на Эрец-Исраэль, препятствовали этому) переправкой еврейских беженцев из Европы в Палестину.

Ночью нас отвезли на корабль, стоявший в море на рейде, и спустили в трюм, где были построены в несколько этажей крохотные деревянные камеры высотой примерно шестьдесят сантиметров. В каждую мог влезть только один человек. Когда говорят «сельди в бочке», это образное выражение тесноты. Я думаю, что с помощью этих камер нас набили в трюм плотней, чем сельдей в бочку.

Плыли мы очень медленно, поскольку суденышко было старое, с маломощным двигателем. Все суда *маапилим* англичане перехватывали в территориальных водах Палестины, поэтому оно предназначалось, по существу, только для одного рейса. Ни о каком-то комфорте для пассажиров никто даже не думал. Было жарко, душно, не хватало воздуха, мы не могли вытянуть ноги, расправить спину, все время приходилось лежать в этих камерах. Судно сильно качало на волнах, и оно еле двигалось. Лишь когда начинал дуть попутный ветер, капитан ставил паруса и скорость немного

возрастала. В общем, из Италии мы плыли одиннадцать суток и прибыли в Палестину через несколько дней после знаменитого «Эксодуса»⁶.

Англичане обнаружили нас еще возле Сицилии, и практически все плавание нас сопровождали их военные корабли. Как только мы оказались в территориальных водах Эрец-Исраэль, один из кораблей приблизился к нам почти вплотную, и в громкоговоритель объявили, что судно арестовано. Наши моряки заглушили двигатель и сломали его, чтобы англичане не могли потребовать от судна уйти своим ходом в Италию. А потом спрятались среди пассажиров — это были люди «Брихи», и они не хотели попасть в лапы к англичанам.

Наше суденышко качалось на волнах, медленно разворачиваясь вокруг своей оси. С обеих сторон к нему подошли два английских эсминца, и на палубу начали прыгать солдаты. Они были в железных касках, с дубинками в руках и со зверским выражением на лицах. Но поскольку никакого сопротивления они не встретили, быстро успокоились и даже начали раздавать детям шоколадки.

6 «Исход» (лат. Exodus) — один из кораблей, после войны нелегально доставлявших еврейских беженцев в Палестину. В июле 1947 г. доставил четыре с половиной тысячи беженцев, в основном — переживших Холокост, в территориальные воды Палестины, где был взят на abordаж британскими солдатами и отбуксирован в Хайфу, после чего пассажиров депортировали обратно во Францию, а оттуда — в Германию, в британскую зону оккупации. К ним не раз применяли силу и содержали в плохих условиях. Разразившийся в связи с этим международный скандал повлиял на Великобританию, передавшую вопрос о Палестине в юрисдикцию ООН. В существенно измененном виде этот сюжет лег в основу романа Леона Юриса «Исход». — Прим. ред.

Наш кораблик привязали к одному из эсминцев и отбуксировали в Хайфу. Там уже ждал английский транспорт, на который перегрузили всех пассажиров. Через несколько часов он отплыл на Кипр, где тогда находились лагеря, в которых англичане держали всех нелегальных еврейских репатриантов.

Но у нашей семьи была протекция. Сестра моего отца еще до войны оказалась в Эрец-Исраэль. Она обратилась к Гусятинскому реббе, внуку Ружинского реббе, — ведь вся семья отца принадлежала к числу его хасидов — и попросила благословения на то, чтобы мы попали в Палестину. И он почему-то сказал: «Пусть они сразу доберутся». Ну, сказал и сказал, до войны, когда даже возможности малейшей выбраться из СССР у нас не было, это казалось совершенно не имевшим отношения к действительности.

Когда всех стали выгружать из нашего судна, нужно было перейти с причала на причал по длинному коридору из колючей проволоки. Была толкучка, даже давка небольшая — все стремились как можно быстрее выбраться из трюма на свежий воздух, разогнуться. Люди настолько устали и вымотались, что им уже было все равно — Кипр так Кипр, лишь бы попасть в человеческие условия. После одиннадцати дней в раскачивавшейся тюрьме даже койка в простой палатке, но на твердой земле казалась раем.

И так вышло, конечно абсолютно случайно, что наша семья оказалась в числе последних пас-

сажиров, покинувших судно. Но когда мы очутились на причале, все места на транспорте были уже заняты. По своим размерам транспорт в несколько раз превышал наше суденышко. Но англичане — народ аккуратный, и все у них делалось в точном соответствии с правилами. Наше суденышко было так плотно набито людьми, что для нескольких семей мест на транспорте не хватило. А для англичан закон есть закон. Написано, что транспорт может взять на борт определенное количество пассажиров, значит, он возьмет именно столько и ни на одного человека больше.

Транспорт ушел, а мы остались в Хайфе. Правда, нас англичане «утешили» — к утру он вернется и заберет всех. Мать расстроилась, что придется провести еще одну ночь непонятно где, а отец, наоборот, обрадовался. «Смотри, смотри, — восклицал он, — вот Хайфа, вот гора Кармель, где Элиёгу совершил чудеса с пророками Баала. Пойми, мы в Эрец-Исраэль, мы в Эрец-Исраэль!»

Он так радовался, что, когда нас определили на ночь в какой-то барак, собрал вокруг себя нескольких евреев, и они до утра пели песни, веселились, делали лехаим.

Утром у одного пожилого еврея, находившегося в бараке, стало плохо с сердцем, и ему вызвали «скорую помощь». А моя мать была на шестом месяце беременности. И тут отец говорит ей: «Скажи, что ты вот-вот родишь и тебе надо срочно в больницу». Она ему отвечает: «Не сходи с ума, никто не поверит, по мне не заметно, что я бере-

менна — живот у меня еще совсем маленький, не торчит». Но отец уперся: «Поверит, не поверит, какое нам дело. А попробовать надо — вдруг получится! И что тебе сделают, в конце-то концов, в тюрьму за это упекут?»

Он взял мать за руку, подвел к солдату, стоявшему у дверей барака и показал на ее живот. Солдат спросил: «Бэби?» Отец не знал английского, но понял вопрос и закивал: «Бэби, бэби».

Солдат кивнул на карету «скорой помощи» — садитесь. Ну, конечно, мать одну в таком состоянии мы не отпустили и сели в машину всей семьей. Нас отвезли в госпиталь, в Атлит. Он размещался в лагере для репатриантов, и там нас уже ни о чем не спрашивали — кто мы, что мы, зачем приехали в больницу. Даже у англичан случались прорехи в организации.

А сестра отца жила — ну, как вы думаете, где? Правильно — в Атлите! Ей сразу же сообщили, что приехал брат с семьей, и через полчаса она уже обнимала всех нас! Благословение Гусятинского ребе сработало без осечки — опять Творец открыто пришел нам на помощь!

В Атлите мы прожили несколько месяцев, потом перебрались в Кирьят-Шмуэль, а оттуда — в Тель-Авив. Меня с братом сразу же определили в хабадскую ешиву. Главой тель-авивской ешивы был рав Брук, с которым мы были знакомы еще по Москве, он у нас жил несколько месяцев, когда оформлял выездную визу в Палестину. Рав Брук принял нас как родных.

После Войны за независимость наша ешива перебралась в Лод. Я закончил ее и в возрасте двадцати одного года начал в ней преподавать. А затем переехал в Кфар-Хабад и вот уже несколько десятилетий преподаю в ешиве «Томхей тмимим».

Все мои дети не просто религиозные люди, а посланники Ребе. Мои внуки учатся в хабадских ешивах и пойдут по пути своих родителей.

Я иногда рассказываю им о том, что мне пришлось пережить. Но главное — о тех людях, которых посчастливилось встретить и которые до сих пор являются для меня примером и маяком. И я молю Всевышнего только об одном: чтобы мои дети и внуки были похожи на тех настоящих хабадников и своей духовной работой понастоящему приблизили приход Машиаха.

НАУКА И РЕЛИГИЯ — ДВЕ ВЕЩИ СОВМЕСТНЫЕ

Менахем-Мендл Лейкин

Меня зовут Менахем-Мендл Лейкин, родился я в 1912 году в Смоленске, куда мои родители в 1906 году переехали из местечка Хиславичи. Это было типичное еврейское местечко неподалеку от Смоленска, и в нем мой дедушка занимал многие годы, вплоть до самой своей смерти, пост раввина. Дед был хабадником, поэтому меня и называли Менахем-Мендл — в честь Ребе Цемаха Цедека¹. Дед со стороны матери, реб Борух Шершов, тоже был хабадником. Он всю жизнь прожил во Владимире, где работал шойхетом.

Когда умерла первая жена, дед женился во второй раз. После смерти деда его вдова перебралась к нам в Смоленск из Хиславичей и вместе с нашей семьей прожила до самой своей смерти. Она была,

¹ Менахем-Мендл бен Шолом-Шахна (1789–1866) — третий цадик любавичского хасидизма, внук Алтер Ребе, известен как Цемах Цедек («Росток праведности») по названию своего галахического труда. Подробнее о нем см. Краткую историческую справку. — *Прим. ред.*

естественно, очень религиозной и держала дом в образцовом порядке. Я имею в виду все, что касалось кашрута, праздников, соблюдения субботы. Тут с ее стороны не было никаких поблажек или компромиссов.

Отец мой тоже был религиозным, а мать еще покруче, чем отец. Соблюдали они все и не только благодаря присутствию второй жены деда, но потому, что были воспитаны в строгих любавичских нравах. Соблюдали, несмотря на то что Смоленск был русским городом с очень небольшой еврейской общиной.

В таком же духе мои родители воспитывали и своих детей. В детстве я два года посещал хедер. А потом к нам домой приходил меламед и учил меня Торе, ивриту, молитвам. Мы с отцом регулярно ходили в синагогу. Я не помню, поскольку был еще мал, как отец ездил в Любавичи к Ребе Рашабу, но зато прекрасно помню, как он ездил в Ростов, а потом в Ленинград к его сыну — Ребе Раяцу.

Дом у нас был любавичский — со всеми обычаями и правилами Хабада. Поэтому, кстати, в школу я по субботам не ходил. И уж не знаю почему, но в ней к этому относились вполне спокойно. Мне известно, что в других местах хабадских детей за это жестоко преследовали и заставляли писать по субботам. Но со мной ничего такого не было — мне повезло. Времена, видимо, еще стояли не те.

Отец был специалистом по лесному хозяйству — выращивал лес, торговал им. Но после революции переключился в другую сферу и открыл

бакалейный магазин. В нем были, естественно, только кошерные продукты.

В 1927 году Сталин решил окончательно прикрыть нэп, и развернулась кампания по преследованию нэпманов. Мой отец относился к ним, хотя магазин у него был совсем небольшой. Ну, конечно, магазин у него сразу отобрали. И поскольку никто не знал, чем это вообще может закончиться, к каким репрессиям привести, то в 1930 году отец решил уехать из Смоленска в большой город, чтобы затеряться в нем.

Наиболее подходящим для такой цели местом был Ленинград с его многомиллионным населением. К тому же там была мощная хабадская община, многих представителей которой отец хорошо знал. И вся наша семья тихонько, не сообщая никому, куда мы едем, покинула Смоленск и переехала в Питер. Там отец и умер спустя двенадцать лет — во время блокады.

Очутившись в Ленинграде, отец устроился на работу в еврейский колхоз «Еврабзем» (Еврейский работник земледелия), находившийся неподалеку от города. Там он снова сменил профессию и работал счетоводом. Он нигде этой специальности не учился. Освоил ее сам — сперва просто из интереса, а потом для того, чтобы самостоятельно вести дела в своей бакалейной лавке. И вот она ему пригодилась.

Колхозников «Еврабзема» постигла жестокая участь: когда немцы в 1941 году подошли к Ленинграду, колхоз оказался в оккупированной зоне.

И всех, кто не успел эвакуироваться, а таких оказалось подавляющее большинство, немцы убили.

В 1930 году, когда отец приехал в Ленинград, эти колхозники проявили по отношению к нему самую настоящую братскую любовь. У отца ведь не просто отобрали магазин и все, что было в доме. Его еще и лишили гражданских прав. То есть он стал, как говорили тогда, лишенцем. А в те годы не было большего проклятия. К лишенцам относились враждебно и на работу практически не брали. А в «Евраземе» не посмотрели на такой статус и приняли отца. И относились к нему все годы просто замечательно.

Я был единственным членом семьи, оставшимся в Смоленске — потому что хотел окончить школу и поступить в университет. Приютила меня сестра отца, и я спокойно, как в родном доме, прожил у нее эти годы. Что было совсем немаловажно, в доме у тети соблюдали и кашрут, и субботу, и праздники.

Первую часть поставленной перед собой задачи я выполнил успешно — получил аттестат о среднем образовании, в котором красовались в основном отличные оценки. А вот с поступлением в высшее учебное заведение пришлось подождать. Как только я попытался отправить свои документы в университет, выяснилось, что путь мне туда заказан. Я ведь был сыном лишенца! И хотя в те годы ходила знаменитая фраза Сталина «Сын за отца не отвечает», но отвечать приходилось. И еще как!

Обойти это препятствие можно было единственным путем — приобрести собственный ра-

бочий стаж. И я устроился учеником в мастерскую по ремонту пишущих машинок. А поскольку я был учеником, то и работал меньше взрослых. Что давало мне совершенно легитимный повод не приходить по субботам. Так же я вел себя и в Ленинграде, куда переехал спустя два года. Устроился учеником, чтобы соблюдать субботу, и спокойно проработал еще год. А затем, имея рабочий стаж, подал документы в институт — на меня уже не распространялись ограничения сына лишенца.

Поступил я в Ленинградский институт точной механики и оптики в 1932 году. Радости моей не было конца, но очень быстро ее испортили. В институте занимались шесть дней в неделю, и неявка на занятия по субботам грозила немедленным отчислением.

Но дома вместе с отцом я каждое утро молился и надевал тфилин. А по субботам всегда ходил в синагогу. Там приходилось прибегать к мерам предосторожности — чтобы меня никто не увидел, я прятался от всех. В ленинградской большой синагоге были столбы, и я всегда пристраивался за одним из них, в самом углу. Быстро молился, ни с кем в разговоры не вступал. Полностью соблюдать субботу даже на работе я вновь начал после войны, когда моя вера сильно укрепилась. Как? Сейчас расскажу.

В институте я учился очень хорошо, и меня оставили в аспирантуре. Я готовил кандидатскую диссертацию и одновременно преподавал. Но, к сожалению, диссертацию закончить не

успел — помешала война. Почти сразу после ее начала преподавательский состав института принял решение о вступлении в народное ополчение. И через неделю мы все уже были в военкомате.

Нас обмундировали, дали винтовки и приказали построиться, чтобы на машинах отправить в часть. Но машины почему-то сразу не подошли, и мы несколько часов простояли на улице. А военкомат находился точно напротив главной синагоги.

И вот, стоим мы там, курим, разговариваем. Из синагоги вышла старушка и подошла к моему товарищу, выглядевшему как типичный еврей — черноволосому, с горбатым носом. Ошибиться в его случае было невозможно. Чего нельзя сказать обо мне.

Подошла она к нему и спрашивает: «Сынок, ты идешь на фронт?» «Да, конечно», — с гордостью ответил он. «Давай я тебя благословлю», — предложила старушка.

Все вокруг заулыбались, захихикали — что это, мол, за старорежимные замашки. А мой товарищ, не обращая внимания на все эти смешки, взял да и согласился. Старушка положила ему руки на голову и что-то негромко сказала. Что — я не слышал. А товарищ мой не понял — он иврита не знал. Длилась вся эта сцена от силы минутой, может, и того меньше. Но она оказала влияние на всю мою оставшуюся жизнь.

После прибытия на передовую наш полк народного ополчения почти весь poleg в первые же дни. Нам ведь и оружия-то дали не на всех, а с та-

ким расчетом, чтобы оставшиеся в живых подбирали его у раненых и убитых товарищей. Я чудом выжил, получив ранение под Волховом. Осколок пробил мне глаз, и я остался полуслепым на всю жизнь. Вдобавок там же, под Волховом, я получил тяжелую контузию. Но мне повезло — санитары вытащили меня с линии огня и отнесли в полевой лазарет. Оттуда меня уже переправили в тыловой госпиталь. Пролежал я в нем несколько месяцев и был вчистую списан по инвалидности.

А товарищ мой служил в самых что ни на есть боевых частях. Прошел всю войну, до Берлина, и не получил даже царапины. В каких только боях ему не пришлось побывать, а он словно заговоренным был. Впрочем, почему словно? Он и был заговоренным.

Мы встретились в 1945 году, и он сказал мне: «Я уверен, что вышел из всех переделок целым и невредимым только благодаря благословиению той старушки. Значит, есть Бог на свете! Есть, для меня теперь в этом нет никаких сомнений. Только Он мог спасти меня и уберечь. Я был абсолютным атеистом, а теперь верю полной верой! И ты в Него верь!»

Ну, меня-то в этом убеждать не надо было. Но его рассказ все же произвел на меня такое сильное впечатление, что после этого я вновь начал соблюдать субботу. А ведь к тому времени я работал не просто где-то, а в научно-исследовательском институте. Да еще и на ответственном посту. Что значило тогда для такого человека соблюдать

субботу, нынешнему поколению даже трудно себе представить. Впрочем, я перескакиваю, давайте вернемся к началу войны.

После демобилизации меня направили на военный завод. Произошло это в январе 1942 года. Завод выпускал снаряды и считался объектом первостепенного оборонного значения. И меня, молодого парня, имеющего высшее образование, сразу же сделали начальником ОТК — отдела технического контроля. Ответственность была колоссальная — шутка сказать, мы выпускали снаряды для фронта. А подпись на документах, что все партии снарядов без брака, была моя.

Мы, собственно, делали только металлическую часть снаряда. После нас железные болванки отправляли — пока еще немцы не замкнули кольцо блокады — под Москву. А там их уже начинали взрывчаткой. И вот как-то раз из Москвы пришла телеграмма: «Два вагона ваших снарядов забракованы, высылайте представителя для разбирательства на месте».

Директор как увидел эту телеграмму, аж поси-
нел от страха. В военных условиях за такое могли сразу же отдать под трибунал. А у трибунала был разговор короткий — к стенке. И директор отправил в Москву меня — начальника ОТК. Мол, подпись твоя, ты и разбирайся.

Я поехал — куда денешься? Взял с собой документацию, контрольные инструменты с приспособлениями. Еду и теряюсь в догадках, как такое произошло. Ну, пять, десять болванок могли

каким-то образом оказаться бракованными. Но чтобы два вагона? Быть такого не может, что-то здесь не так!

Приехал я на подмосковную станцию Балашиха, нашел завод. Меня прямиком направили в тамошний ОТК. Начальник его долго разбираться не стал и, даже не выслушав меня толком, спросил: «Зачем ты явился?» Я сперва не понял, начал объяснять, показал телеграмму. А он смеется. Я сижу и трясусь, не знаю, чем это все кончится, а он смеется как ненормальный.

Отсмеялся и говорит: «Так как ты из Ленинграда, а у меня особое отношение к колыбели революции, к тому же там еще и мои родственники живут, так я тебе прямо скажу — подобные телеграммы мы посылаем всем нашим поставщикам. И они знают — после такой телеграммы надо прислать нам человека со спиртом. Ты привез спирт?»

Я ничего не понимаю и честно отвечаю: «Нет». «А что ты привез, что у тебя там в чемодане?» Я и говорю: «Накладные на все последние партии снарядов, документы об их проверке. И контрольные приспособления». И показываю ему.

Тот от смеха просто кататься начал. «Ваши вагоны со снарядами, балбес, уже давно воюют! А нам нужен спирт. Ладно, так и быть, на первый раз я тебя прощаю. Возвращайся в Ленинград, но в следующий раз без спирта не приезжай!»

Так я в первый раз столкнулся с тем, что сегодня называют коррупцией. И не где-нибудь, а на важнейшем военном предприятии. И не когда-

нибудь, а в разгар войны! Но следующего раза уже не было — немцы замкнули блокаду, и мы стали отправлять свои болванки на один из ленинградских заводов.

Началась блокада. Родители мои довольно быстро умерли от голода. Да и сам я еле ноги передвигал, ходил с трудом, опираясь на палку. Как я выжил — не знаю. Но как-то выжил. Был еще молод, крепок, и организм сумел справиться с голодом. Хотя остались от меня, конечно, кожа да кости. Я и в нормальной-то жизни небольшого роста и скромной комплекции. А тогда вообще усох.

И хотя мы получали рабочую карточку, да еще и усиленную — это ведь был необычайно нужный для обороны завод, — каждый день умирали от голода восемь — десять человек. У нас был специальный сарай, куда мы складывали трупы. К вечеру их отвозили в крематорий. Тогда во всех парках оборудовали крематории и сжигали в них трупы.

И знаете, у меня как-то чувства атрофировались. Люди умирали прямо на улицах, а прохожие шли мимо них, даже не пытаясь помочь. Впрочем, помочь-то было нечем. Разве что своей собственной пайкой хлеба. Но если ты сегодня отдашь свою пайку, то через день-другой сам окажешься на месте доходяги. Это было не ожесточение, а отупение чувств, психоз какой-то.

В синагогу я не ходил — не дошел бы, наш завод находился на самой окраине города. А если бы и дошел, то уже назад бы не вернулся. Но дома я, конечно, молился. Каждый день. Я не мог

не молиться, одна у меня оставалась тогда надежда — на Всевышнего, на Его помощь.

Когда блокаду прорвали, мой оптический институт в 1944 году вернулся в Ленинград, и я сразу же перевелся в него. Проблем не возникло — я был специалистом, а институт принадлежал Министерству обороны.

Положение стало намного лучше, мы начали получать нормальное питание, я потихоньку пришел в себя и возобновил походы в синагогу по субботам. В 1946 году я женился. Жена моя была из провинции, ее мать поселилась вместе с нами. И поскольку обе были религиозными женщинами, то и уже став отцом семейства, я продолжал вести тот же образ жизни, что был заведен в семье моих родителей.

Хотя, как и в прежние годы, в синагоге я прятался и разговоры ни с кем не заводил. Во дворе Хоральной синагоги у нас была хабадская синагога, и я иногда молился там. Но и в ней боялся вступать в контакт с кем бы то ни было. Тем более что вскоре наш институт перешел на выполнение суперсекретной работы, связанной с созданием советской атомной бомбы.

Впрочем, как-то раз меня все же застукали в синагоге. Один сотрудник отдела снабжения зашел в нее на праздник *Швуэт*². И хотя я, как всегда, стоял в тени столбов, он все-таки каким-то образом ме-

2 Швуэт (ивр. «седмицы») — праздник, отмечаемый по прошествии семи недель (на 50-й день) после праздника Песах. Библия называет его праздником жатвы первого урожая, но с талмудических времен он считается праздником дарования Торы. — Прим. ред.

ня заметил. Беда состояла в том, что он меня увидел, а вот я его — нет. И ни о чем не подозревал. Даже когда через пару дней после праздника меня вызвали к замдиректора по кадрам. Я-то думал, что речь пойдет о каких-то производственных вопросах, а он вдруг говорит: «Я знаю, что ты был в синагоге. Меня не волнует, веришь ты в Бога или нет, это твое личное дело. Но чтобы больше в рабочее время тебя в синагоге не было. И постарайся больше никому из наших сотрудников на глаза в ней не попадаться».

Я, конечно, пообещал, что ничего такого больше не случится, и на этом наша беседа закончилась. Замдиректора никому ни о доносе, ни о нашем разговоре не сказал, и никаких последствий или оргвыводов не было.

Почему он ко мне так доброжелательно отнесся? Конечно же, вовсе не из-за того, что он евреев любил или с уважением относился к религии. А просто потому, что я был очень нужен институту. Группа, которой я к тому времени руководил, делала уникальные приборы. И самым уникальным был суперфотоаппарат, который должен был запечатлеть первые мгновения после взрыва разрабатывавшейся тогда атомной бомбы.

Люди Курчатова³ заказали нам специальную высокочастотную оптическую камеру, которая

³ Курчатов Игорь Васильевич (1903–1960) — физик, «отец» советской атомной бомбы, основатель и в 1943–1960 гг. директор Института атомной энергии, глава ядерной военной программы СССР. Под его руководством была разработана и взорвана первая советская атомная бомба в 1949 г. и первая в мире водородная бомба в 1953 г. — *Прим. ред.*

была бы в состоянии зафиксировать не просто атомный взрыв, а первые его мгновения. Выдержка у камеры должна была быть одна стотысячная доля секунды. Наши ученые нуждались в таких снимках для лучшего понимания того, как развивается процесс.

Над камерой работала моя лаборатория. Это была совсем не простая задача, и ее решение заняло много времени. Нам заказали две камеры, но процесс их создания занял у нас так много времени, что к моменту первого испытания бомбы мы успели изготовить только одну. Она была в состоянии сделать сто снимков. Кстати, в одном институте Академии наук параллельно с нами создали фотоаппарат с выдержкой в одну миллионную долю секунды. Но он делал всего два снимка. А наш — сто!

Камера была готова, но у Курчатова долго не получалось — то одна неполадка, то другая. Наконец, к 1949 году у него дела пошли и к нам прислали военных специалистов. Мы должны были обучить их пользоваться камерой. Но потом руководство института решило — во избежание каких-нибудь сбоев или непредвиденных ситуаций — отправить на полигон под Семипалатинском, где должны были пройти испытания бомбы, специальную группу. И меня назначили главой этой группы, в которую кроме меня, к тому времени уже кандидата, входили и несколько докторов наук.

Приехали мы на полигон, который представлял собой просто голое поле. Сперва мы жили в палатках, но вскоре туда нагнали много сол-

дат, и за полгода они выстроили каменный городок. Каждый день нас везли за шестьдесят километров к месту будущего взрыва, где возвели высокий пьедестал, на котором должна была лежать бомба. Тогда речь шла о совсем маленькой бомбе весом в двадцать килограммов. Это сейчас они уже весят сотни килограммов, а та, первая, была небольшая. Хотя, понятно, ее разрушительная сила была огромной.

Чтобы эту силу измерить и исследовать, на разных расстояниях от будущего эпицентра взрыва построили специальные железобетонные башни, в которых разместили аппаратуру. Одну из таких башен отдали мне, и мы начали монтировать и налаживать в ней наш фотоаппарат.

В башне по нашим указаниям сделали окно, обращенное к эпицентру взрыва. Его закрыли толстым свинцовым стеклом, не пропускавшим ультрафиолет. Это я только так, для краткости говорю — фотоаппарат, на самом деле это было довольно сложное и большое, величиной с бочку, устройство. Настройка его занимала много времени.

К тому же мы хотели быть не на сто, а на две-сти процентов уверены, что никаких сбоев не произойдет. За срыв работы в таком суперответственном оборонном проекте нас по головке никто бы не погладил.

Я настраивал камеру — точнее, подбирал предохраняющие фильтры — по солнцу, поскольку температура солнца и температура атомного взрыва одна и та же. Потом мы подсоединя-

ли электричество, разные датчики, делали контрольные снимки. В общем, работы хватало.

Тянулось все это довольно долго, так что строительные войска успели возвести и деревянные, и каменные дома. На полигон завезли скот, в общем, обустроивались там всерьез и надолго. И все это время мы были оторваны от своих семей. На полигоне была такая сумасшедшая секретность, что тот, кто туда попадал, уехать до испытания бомбы уже не мог. И сообщать семье, где он находится и чем занимается, тоже было категорически запрещено. Нам вообще запретили переписываться. Когда мы приехали на полигон, то думали, что вернемся достаточно быстро. А застряли на целых одиннадцать месяцев.

Молиться на полигоне не было никакой возможности — мы все время были друг у друга на виду. Да и особисты⁴ шныряли постоянно и за всеми приглядывали. Хотя, казалось бы, чего можно было опасаться в этом совершенно изолированном месте, к которому на сотни километров никого из посторонних не подпускали! Но, как это было принято в те времена, во всем, что касалось секретности, действовал простой принцип: «Лучше перебдеть, чем недобдеть». И «бдели» так, что просто шагу нельзя было свободно ступить. Даже на самом полигоне все было окута-

4 Особисты — сотрудники особых отделов (предприятий, армейских подразделений, органов госбезопасности), контролирующие соблюдение государственной тайны, выявляющие измену родине, предательство, контрреволюционную и антисоветскую деятельность и т. д. — Прим. ред.

но колючей проволокой, а блокпосты стояли через каждые 100–200 метров.

Особисты не только все время за всеми следили, они буквально каждый день читали нам лекции и объясняли, сколько денег за каждого из нас могут дать американские империалисты, которые только спят и видят, как бы не допустить создания социалистическим Отечеством защитного ядерного щита, который подорвет их атомную монополию.

Нам говорили, что даже за минимальную информацию о том, что происходит на полигоне, американцы готовы отвалить миллионы долларов. Поэтому мы должны держать ухо востро, язык за зубами и сразу же сообщать, если увидим что-то мало-мальски подозрительное.

Обстановка была не просто напряженная, а очень гнетущая. Ну как в таких условиях я мог молиться? Я мог только просить Всевышнего, чтобы Он дал мне возможность целым и невредимым вернуться домой.

С кашрутом тоже дела обстояли понятно как. К мясу я не притрагивался, но делал это очень аккуратно, не афишируя. Старался каждый день есть за другим столиком, чтобы мои диетарные странности не бросались в глаза соседям. Когда был рыбный день, который мои коллеги проклинали, я радовался. Но виду, конечно, не показывал, чтобы не начались расспросы: с чего, мол, ты такой веселый? Ну и, понятно, на таком полигоне хлеб, масло, гарниры всякие, каши, а летом овощ-

ные салаты были в достаточном количестве. Так что и голодным я не оставался, и относительный кашрут соблюдать удавалось.

Атмосфера, как я уже говорил, была на полигоне напряженная. И не только из-за особистов. Мы очень переживали за дело, которому отдавали все свои силы. Мы были патриотами и хотели, чтобы у СССР побыстрее появилась атомная бомба. Но, безусловно, у нас был и свой личный интерес — успешное испытание означало освобождение из этого неожиданного плена и возвращение домой.

Наконец, приехал Курчатов со своей свитой. Даже на полигоне его повсюду сопровождала плотная охрана. Пообщался с нами, расспросил о степени нашей готовности. Ну что мы могли ему сказать — по двадцать раз все уже проверено, выверено и готово к испытанию. Из расспросов Курчатова стало ясно: момент испытания не за горами.

А уж когда на полигон прибыл сам Берия, то было совершенно понятно: скоро взрыв. Кстати, сразу после его приезда (о котором мы, конечно, заранее не знали) вдруг сняли охрану вокруг городка. И мы подумали, что все — у Курчатова опять что-то в институте сорвалось и нам придется проторчать в этом проклятом военном городке Бог знает сколько времени.

Про злодейства Берии мы, конечно, тогда ничего не знали. Для нас это был один из самых главных лидеров страны, окутанный зловещей тайной главы органов. И к тому же уже на поли-

гоне нам стало известно, что он руководит атомным проектом. Но на полигоне Берия себя показал очень гуманным человеком.

На расстоянии 75 метров от пьедестала атомной бомбы и на глубине 70 метров была установлена аппаратура Академии наук СССР, которая должна была фиксировать взрыв. Это была очень дорогая, но полуавтоматическая аппаратура. То есть требовала присутствия человека. Моя камера была полностью автоматическая, никого из людей в нашей башне не должно было быть.

Мы понимали, что произойдет во время взрыва, и поэтому с самого начала так проектировали камеру, чтобы она не требовала нахождения при ней человека. О чем думали в Академии наук, мне неизвестно. Но их аппаратура работала только после, говоря по-простому, нажатия кнопки.

И были даже назначены военные, которые должны были эти кнопки нажать, то есть запустить аппаратуру. Им, конечно, пообещали, что обеспечат полную безопасность, надежную защиту — мы, мол, гарантируем, что никакая радиация на глубину 70 метров не проникнет. Мы этому не верили и между собой называли этих несчастных военных «смертниками» и «ходячими трупами».

Когда приехал Берия, он выслушал доклад о готовности и о предполагаемых замерах и сразу же спросил: «Там действительно безопасно?» Ему ответили: «Да, мы все подсчитали». А Берия начал упорствовать: «Вы можете это гарантиро-

вать? Можете дать мне письменное заверение, что с людьми ничего не произойдет?» Тот, кто отвечал за эту аппаратуру, сдрейфил и отказался подписать такую бумагу. И Берия сказал: «Если вы не можете гарантировать безопасность людей, то я запрещаю им там находиться».

А ведь аппаратура была уже вся смонтирована, проверена и отрегулирована. И стояла она бешеные деньги. Но Берия не обратил на это никакого внимания. По полигону сразу же прошел слух: «Вот какое у нас гуманное начальство, вот как Лаврентий Павлович заботится о простых людях!»

И я, признаюсь, тоже думал, как все: «Действительно, какая у нас гуманная власть! Дорогушую аппаратуру нарком не пожалел, а людей спас». Эта аппаратура так и осталась в вырытом для нее бункере — и не сработала.

Сейчас-то я понимаю, что все это была показуха. Но тогда мы были в восхищении от человечности Лаврентия Павловича. А уж когда нам стало известно, что это Берия распорядился снять проволочные заграждения и блокпосты вокруг городка! Это воистину была совершенно излишняя мера предосторожности, но никто не брал на себя смелость ее отменить. А он отменил, и мы получили возможность хоть немного гулять по степи вокруг домов. Что существенно раздвинуло рамки нашей тюрьмы, и нельзя передать, как мы были благодарны Берии.

Это уж потом мы узнали, какой он был бандит. А тогда, на полигоне, мы все восхищались им

и считали его замечательным человеком и настоящим советским руководителем.

Берия лично присутствовал на взрыве бомбы. В тот момент волнение нашей группы достигло апогея — ведь никто не знал, как поведет себя камера в реальных условиях. Но все прошло благополучно. Аппаратура Академии наук не сработала, а моя не подвела.

Но это я узнал только через двое суток после взрыва, когда нам позволили приехать на полигон. Подхожу я к своей башне — а она полна дыма. У меня внутри все оборвалось. «Это моя пленка сгорела», — подумал я в отчаянии. Но, к счастью, тревога оказалось ложной.

В башне были два окна — нам ведь заказали две фотокамеры. Но к моменту отправки на полигон успели сделать только одну. И второе окно мы закрыли каким-то проалюминированным материалом. Вот он-то и сгорел. А аппарат мой и пленка оказались в целости и сохранности.

Всю ночь мы возились с аппаратом, извлекали из него пленку. Он имел форму большой бочки, которая внутри была обложена светочувствительной пленкой. И надо было очень осторожно, чтобы, не приведи Господь, не порвать или не засветить, всю эту пленку извлечь. Как только мы проделали эту ответственную операцию, сразу же отправились в лабораторию и проявили пленку.

А на следующее утро к нам в лабораторию пришли посмотреть эти снимки сразу пять академиков во главе с Зельдовичем — ответствен-

ным за разработку всего математического аппарата атомного проекта⁵. Они приехали за неделю до взрыва, и мы их в лицо не знали. Понятно, что и они были строжайше засекречены, их повсюду сопровождала охрана.

Академик Зельдович был маленького роста, а его охранник оказался здоровенным мужиком. Пришли они ко мне группой, а я ведь никого в лицо не знаю. Все в штатском, никаких знаков отличия. Ну, я выбрал самого представительного на вид и начал ему докладывать. Тот с умным видом стоит и слушает, не прерывает.

А тут ко мне подсовывается какой-то плюгавенький мужичок и говорит: «Дайте и мне посмотреть вот тот снимок». Я ему вежливо, но решительно отвечаю: «Вы что, товарищ, не видите, что я докладываю? Когда закончу, тогда и будете смотреть».

И что вы думаете, Зельдович — а это оказался он — не поднял крик, не стал бить себя в грудь, что он тут самый главный, а спокойно дослушал до конца мои объяснения его телохранителю и только тогда уже получил снимки. Ну, я потом, когда мне все объяснили, не знал уж, как перед ним извиниться. А он только усмехнулся, махнул рукой — ерунда, мол.

Днем собрали всех руководителей групп, объявили, что испытание прошло успешно и вече-

⁵ Зельдович Яков Борисович (1914–1987) — советский физик, один из создателей атомной и водородной бомб, автор авторитетных трудов по ядерной физике, теории горения, космологии, гравитации. В описываемое время член-корр. АН СССР, академиком избран в 1958 г. — *Прим. ред.*

ром будет банкет с участием самого Берия. Радости нашей не было предела — заключению пришел конец! На банкете том выпили мы на радостях как следует. И кричали от всего сердца: «Да здравствует советская бомба! Да здравствует товарищ Берия!»

В конце банкета выступил Берия и очень тепло всех поблагодарил: «Вы сделали огромное дело, у СССР теперь есть своя атомная бомба, и Америка больше не сможет нам угрожать. Я завтра же в Москве доложу товарищу Сталину о вашей грандиозной победе». И улетел, взяв, кстати, наши снимки.

На следующий день нас еще раз собрал представитель особистов и предупредил: «Вы скоро уедете, поэтому учтите: никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах вы не имеете права никому даже намекнуть, где были и что делали. Говорю это для вашей же безопасности — сейчас американцы начнут охоту за всеми участниками нашего атомного проекта. Поэтому будьте бдительны».

И действительно, через неделю нас отпустили. Я поехал домой через Москву — от меня потребовали лично доложить в министерстве, как отработала наша камера. Чтобы было понятно, какое значение придавалось тогда атомному проекту и всему, что было с ним связано, скажу лишь, что доложить я должен был не кому-нибудь, а министру оборонной промышленности Устинову. Тому самому, который спустя много лет стал мини-

стром обороны СССР и одним из самых влиятельных членов Политбюро⁶.

Прием у Устинова был назначен на четыре часа дня, а приехал я в Москву рано утром. И чтобы не терять зря времени, пошел гулять по центру города. Я так много слышал о Москве, а вот побродить по ней еще ни разу не довелось.

Ну, гулял я, гулял, осматривал разные достопримечательности и вдруг вижу вывеску: «Метрополь». Это был, пожалуй, самый знаменитый ресторан и гостиница столицы. И я решил зайти посмотреть изнутри, что же это такое — «Метрополь». Есть мне там было, понятно, нечего, но, думаю, хоть чашку кофе закажу, а тем временем посижу, посмотрю. Но не тут-то было.

Только я уселся за столик, как ко мне — еще до официанта — подходит человек в штатском и говорит: «Товарищ Лейкин, вам здесь не место. В этой гостинице проживают иностранцы, поэтому, пожалуйста, уйдите немедленно».

Представляют, они за мной оперативную слежку установили — так опасались, чтобы кто-то из участников атомного проекта не столкнулся с иностранцами. А нас ведь только на том полигоне были сотни ученых! Ну, я, конечно, тут же встал и ушел.

6 Устинов Дмитрий Федорович (1908–1984) — инженер-конструктор, в конце 1930-х гг. директор ленинградского завода «Большевик», в 1941–1946 гг. — нарком вооружения СССР, в 1946–1953 гг. — министр вооружения, в 1953–1957 гг. — министр оборонной промышленности СССР. В конце 1950-х — начале 1970-х гг. — заместитель председателя Совета министров СССР, первый заместитель председателя Совета министров, секретарь ЦК КПСС; в 1976–1984 гг. — министр обороны СССР. — *Прим. ред.*

Настроение у меня, понятно, сразу испортилось — кому приятно знать, что ты под колпаком у МГБ, — и я поехал прямо в министерство. Дождался назначенного времени и с начальником главка отправился на прием к Устинову. Доложил о нашей работе, показал и фотографию аппарата, и сделанные им снимки. Устинов выслушал очень внимательно и явно был доволен. А в конце беседы сказал: «Такой успех следует отметить — думаю, вы заслужили Сталинскую премию».

И спустя какое-то время мне действительно присудили Сталинскую премию. В институте не посмотрели, что я еврей, более того, что я религиозный еврей. Руководству ведь все было прекрасно известно, и оно преспокойно могло этим воспользоваться, чтобы премию мне зарубить. Но не воспользовалось — уж очень меня ценили, уж очень я был нужен. А уж когда в институт пришла на мое имя благодарность, подписанная лично Сталиным, то меня и вовсе чуть ли не на руках носили. И хотя такую благодарность получило все среднее звено участников атомного проекта, но личная подпись «великого вождя и учителя» производила тогда просто магическое действие.

После такого успеха мне дали в подчинение большую лабораторию. Это уже было самое настоящее признание. Шутка сказать — старший научный сотрудник, заведующий лабораторией в одном из ведущих оптических научно-исследовательских институтов страны! Я чувствовал себя на переднем крае технического прогресса и по-

нимал, что своими работами активно продвигаю его. Но на мои взгляды об устройстве мира и о том, кто на самом деле является его Создателем и Хозяином, научные успехи и административные признания не оказали ровным счетом никакого влияния. Как и раньше, я продолжал соблюдать заповеди, молиться каждый день и ходить в синагогу.

А отношение к евреям в стране становилось все хуже и хуже. В Ленинградский университет евреям стало поступить практически невозможно — хотя процентной нормы официально не существовало, фактически принимали не более одного процента от всех абитуриентов. Да и на престижную работу в приличное место тоже попасть стало крайне затруднительно.

Зачем далеко ходить — когда мой сын окончил институт, я, естественно, захотел устроить его к нам. Казалось, не может быть никаких проблем — молодой толковый парень, прекрасно завершил учебу. Но наш начальник отдела кадров, который ко мне хорошо относился, сказал прямо: «Я вашему сыну готов платить зарплату, но пусть сидит дома и в институте носа не показывает».

Моим непосредственным начальником был академик Владимир Павлович Линник, сын его тоже стал академиком — очень крупным математиком. Он вовсе не являлся антисемитом, хотя бы потому, что был женат на еврейке, но мне он как-то сказал: «Вы как завлаб можете делать все, что считаете нужным. Я вас только об одном прошу — не окружайте себя евреями».

Но я его не послушал и взял трех толковых евреев — двух кандидатов наук и еще одного доктора. Дал им хорошую зарплату и должность старших научных сотрудников, что по тем временам было совсем непросто. Но ничего, я все сумел пробить — тихо и без лишнего шума. И все прошло нормально, уж очень меня тогда ценили и предоставляли все возможности — лишь бы я делал свое дело.

При всех этих процентных нормах и поднимавшем голову антисемитизме кому-то ведь надо было работать, решать сложнейшие проблемы, с которыми мы постоянно сталкивались, так как в мою лабораторию передавали самые трудные задачи, спускавшиеся сверху в институт. И поскольку мы всегда с ними справлялись, и справлялись отлично, то в конце концов моя лаборатория превратилась в одну из самых больших в институте — в ней работали около пятидесяти человек.

Делали мы действительно вещи уникальные. Несколько групп занимались военными задачами, а я сосредоточился на гражданских медицинских приборах. К тому времени появилась волоконная оптика, и мы с ее помощью разработали сложнейшие приборы.

Например, первый стетоскоп, который глотают, и он дает возможность исследовать желудок. Первые советские цистоскоп и колоноскоп тоже были созданы нами. Когда директор повез наш первый стетоскоп показывать министру, он боялся, что прибор рассыплется, поскольку само волокно бы-

ло еще очень непрочным. Но все обошлось, и мы наладили промышленное производство.

Впрочем, иногда случались авралы, и тогда мне приходилось все бросать и лично подключаться к решению военных задач. Во время Корейской войны⁷ к нам поступил срочный заказ Министерства обороны.

Оказалось, что в воздушных боях американцы стали в массовом количестве сбивать советские самолеты. Проблема заключалась в том, что летчик нашего МиГа⁸ не мог видеть, что происходит позади самолета. Американцы это быстро поняли и стали заходить к МиГам с тыла, тем более что их самолеты были более скоростными и этот маневр могли осуществлять без каких-либо проблем. А оказавшись позади МиГа, летчик которого их не видел, они преспокойно расстреливали его.

И нам поставили срочную задачу — создать прибор, который позволял бы летчику МиГа видеть все, что происходит позади самолета.

Меня отправили на завод Микояна с приказом не возвращаться, пока не будет сделан прибор. Ко мне прикомандировали главного конструктора из его проектного бюро и заперли вместе с ним в дом отдыха для сотрудников завода. Дали двух-

7 Военный конфликт между Северной Кореей, поддерживаемой Китаем и СССР, и Южной Кореей, поддерживаемой США и Великобританией, длился с июня 1950 г. по июль 1953 г. — *Прим. ред.*

8 МиГ — марка советских скоростных истребителей, спроектированных в Отдельном конструкторском бюро завода № 155 (ОКБ Микояна) под руководством А. И. Микояна и М. И. Гуревича (отсюда аббревиатура). — *Прим. ред.*

недельный срок, чтобы мы могли придумать и завершить вчерне чертежи или хотя бы эскизы прибора. Следует признать, что он сразу у нас не получался. Но в конце концов мы придумали использовать специальное зеркало в виде призмы.

На заводе Микояна сам Микоян ведал только административной частью, а всеми инженерными задачами, всеми разработками занимался его напарник — еврей Гуревич⁹.

И вместе с Гуревичем я пропадал на полигоне в Жуковском, доводя прибор до ума. Но и тут дело застопорилось. После каждого полета летчик говорил: «Да, я вижу что-то, но как точку, а крупной, ясной картины нет. А на таких скоростях я должен все видеть четко и сразу».

Мы крутили и так и этак, меняли настройки, углы преломления света в аппарате, форму призмы. Но ничего не получалось — картинка если и была большой, то нечеткой. А время поджимало — на заводском аэродроме стояли шестьдесят МиГов, ждущих отправки в Корею, и мы их задерживали. В общем, напряжение было серьезное. Директор завода даже как-то в сердцах предложил мне: «Михаил Владимирович, садись на мое место. Делай что хочешь, приказывай, что и кому считаешь нужным, но прибор срочно сделай».

⁹ Гуревич Михаил Иосифович (1893–1976) — авиаконструктор, в 1940 г. совместно с Артемом Ивановичем Микояном (1905–1970), братом партийного деятеля Анастаса Микояна, разработал истребитель МиГ-1. В 1940–1957 гг. зам. главного конструктора, в 1957–1964 гг. главный конструктор ОКБ Микояна. — Прим. ред.

Я в паспорте был записан как Мендель Велькович, в синагоге к Торе вызывали как Менахема-Мендла бен Зеэва-Вольфа. Но такое выговорить никто, конечно, из моих коллег по работе не мог. И все меня звали Михаил Владимирович.

Короче, бились мы, бились, пока мне не пришла в голову некая идея (подробно ее излагать сейчас нет смысла), с помощью которой мы достигли желаемого результата. Я потом оформил на нее авторское свидетельство. Я для краткости говорю — прибор. А на самом деле это была целая система, очень сложная и деликатная, с обогревом, герметизацией — ведь МиГи летали высоко и на огромных скоростях.

Когда Микоян узнал, что прибор наконец пошел, он доложил об этом министру — все тому же Устинову. И тот захотел лично посмотреть на этот прибор. Я снова оказался в том же кабинете, что и после испытания атомной бомбы. Затащили мы этот прибор, я все показываю. Устинов нагнулся к нему, глянул и крикнул довольно: «Ну, все видно просто замечательно!»

Но смотрел-то он совсем не туда! А как об этом скажешь министру? Нельзя же его выставить дураком и вралем! Но я нашел выход и говорю: «А вот, товарищ Устинов, если вы сюда, в эту трубочку посмотрите, будет видно еще лучше». Он снова взглянул и говорит: «Да, действительно, здорово, еще лучше!»

Были у меня и другие приборы, в том числе и для подводных лодок. Как-то пришлось пожить

три месяца на сверхсекретной военно-морской базе. И со всеми задачами мы справлялись отлично.

Все эти годы я ходил в синагогу, но прятался. Прятался. Я ведь был еще и членом партии. Среди ученых, с которыми общался, я антисемитизма не чувствовал. Но когда институтское руководство хотело меня особо похвалить, они говорили: «Ну какой же ты еврей, ты хороший парень!»

Понятно, что с моими коллегами я никогда не вел никаких дискуссий на религиозные темы и не высказывался по этому поводу. Только один раз, когда я вычитал в одном журнале изречение Эйнштейна, что чем больше он вникает в глубины мироздания, тем больше понимает, что Вселенная не является случайным созданием, я не выдержал.

Принес на работу этот журнал и дал почитать нескольким своим близким людям. Но когда они начали это обсуждать, я в спор не вступил, а только слушал. Они-то считали, что, перефразируя слова Пушкина, наука и религия — две вещи несовместные. Но вся моя жизнь доказывала прямо противоположное.

Я, будучи ученым, работавшим на переднем крае научных исследований, всю жизнь прожил как глубоко верующий еврей! Так что наука и религия совместны, и еще как!

Должность завлаба я занимал с 1954 по 1987 год. Защитил докторскую диссертацию, у меня 19 авторских свидетельств, и я ушел на пенсию, только когда мне исполнилось 75 лет. И никогда мои религиозные убеждения не вступили в противо-

речие с научной работой. Почему? Да потому, что противоречия ведь никакого и нет. Наука исследует наш мир, но она не дает ответа на вопрос, почему и как он был создан. Ответ на этот вопрос дает только Тора.

В доме у меня всю жизнь был кашрут, соблюдали субботу и праздники. Когда я вышел на пенсию, то, конечно, бояться уже перестал. В синагогу я не ходил — это было далеко. Возле моего дома организовали миньян — времена стали уже посвободнее, и я молился в нем каждый день. А когда в Ленинград приехал раввин из Америки, я стал ему помогать — я ведь знал больше, чем все остальные. По субботам я читал *мафтир*¹⁰, а когда рав не мог — то ли болел, то ли был в отъезде, — я вел молитву.

Когда я в 2000 году уезжал в Израиль, он подарил мне на прощание тфилин, талит и написал письмо раввинам Израиля, чтобы они мне содействовали. Но мне никакое содействие не требовалось — пенсия у меня есть, живу я с детьми. С первого дня, как я поселился в Ришон-ле-Ционе, я хожу в наш «Бейт Хабад», участвую во всех молитвах. И единственное, чего я прошу у Всевышнего в свои 96 лет, — умереть в 119. Чтобы на моих похоронах сказали: скончался безвременно.

10 Мафтир, или гафтар, — отрывок из книг Пророков, которым завершают публичное чтение Торы в синагогах в субботу утром. — Прим. ред.

СОЛДАТ НА ПЕРЕПРАВЕ

Перец Березин

Это не всегда скромно — рассказывать о себе, самого себя хвалить. Но иногда, если никто о тебе ничего не знает, то рассказать не только можно, но и нужно. Когда наш праотец Авраѓам послал своего слугу Элиэзера искать невесту для Ицхака, он отправил с ним десять верблюдов, нагруженных всяким добром. Увидев эти богатства, брат Ривки Лаван подумал, что сам Авраѓам пришел к нему, но Элиэзер представился: «*Эвед Авраѓам анохи*» — «Я раб Авраѓама». Отсюда мы учим, что в определенных случаях можно рассказывать о себе и не стесняться.

Я родился в городе Невеле в 1919 году в семье потомственных хабадников. Они не были раввинами или великими знатоками Торы, а зарабатывали себе на жизнь обычными, земными профессиями. Дедушка — мясник, отец — торговец скотом. Но преданность Торе, любовь к ней, готов-

ность ради нее пожертвовать всем, то есть то, что называется *месирус нефеш*¹, у этих людей была такая, что им могли бы позавидовать самые большие праведники.

Мой отец был знаком со своим прадедом, который дожил до 103 лет и перенял от него любовь к нашим святым Ребе. Чтобы не быть голословным, расскажу несколько историй из жизни моего отца. Тогда сразу станет понятно, кто я такой, в какой семье воспитывался и почему всю свою жизнь вел себя так, а не иначе.

Мой отец Шмуэль Березин родился в 1893 году в Невеле в хабадской семье Хаима и Хавы Березиных. Их семьи жили в Невеле несколько поколений. У Хаима и Хавы было десять детей, а работа мясником не приносила больших доходов. Семья жила очень бедно, и уже с ранних лет отец — старший ребенок — начал помогать деду в добывании средств к существованию. Одна из его подработок состояла в том, что он рано утром, еще до занятий, отправлялся на бойню и разносил свежее мясо заказчикам. Зачастую ему приходилось идти несколько километров с тяжелым мешком на плечах, но каждый заработанный рубль был существенной помощью скудному семейному бюджету.

Несмотря на ограниченность в средствах, дед Хаим не жалел денег на хороших учителей. Все его дети занимались дома — с утра и до наступления сумерек. Собственно, это был не дом, а одна

¹ Месирус нефеш (ивр.) — преданность души.

большая комната. В зависимости от времени суток она служила то столовой, то спальней. А днем превращалась в хедер.

С точки зрения архитектуры Невель был городом довольно неказистым — каменных зданий раз, два и обчелся. В основном деревянные, грубо срубленные, без каких-то украшений избы. Улицы без тротуаров, и почти весь год, кроме летних месяцев, их затопляла грязь, доходившая до колен. В этой грязи, даже на центральных улицах Невеля, зачастую застревали телеги. Вместо тротуаров были деревянные помосты, но они быстро ломались и тоже тонули в грязи. Единственным чистым и красивым местом Невеля был центральный тракт, который по приказу Николая Первого проложили из Петербурга в Киев. Тракт проходил через Невель и, поскольку был стратегическим, как сегодня говорят, объектом, содержался в идеальном состоянии. По субботам, после дневной трапезы и полуденного сна, многие семьи выходили на прогулку вдоль этого тракта — себя показать, на других посмотреть. И полюбоваться на экипажи, а позже — автомобили, пролетавшие по этой столбовой дороге на полной скорости.

Главным богатством Невеля являлись его жители. В лучшие времена его еврейское население достигало 12 тысяч человек, подавляющее большинство составляли хабадники. Дело доходило до того, что, когда в Невеле появлялись странствующие проповедники — *магиды*, а были они, как правило, миснагеды, то, прослышав о прихо-

де очередного магида, дети специально прибегали посмотреть на живого миснагеда.

Когда отцу исполнилось тринадцать с половиной лет, дед отвез его в Любавичи, чтобы он продолжил образование в тамошней ешиве. В те времена было принято, чтобы ешиботники ели не в ешиве, а у любавичских хасидов. Отец был очень аккуратным и чистоплотным человеком, и ему не нравилось каждый раз есть в другом и к тому же чужом доме. Один из уже взрослых учеников ешивы реб Исроэл Левин (Невелер) быстро заметил это и устроил отцу нахлобучку. Тот в сердцах покинул ешиву и вернулся домой.

Произошло это всего лишь через три недели после начала его занятий в Любавичах. Дед Хаим был мудрым человеком, он ничего не сказал сыну, но спустя несколько недель, перед праздником Швуэт, вновь отправился с ним в Любавичи. На йехидусе у Ребе Рашаба дед Хаим попросил совета, как ему быть со старшим сыном дальше. Ребе внимательно посмотрел на мальчика и сказал: «Что ж, я думаю, он будет богобоязненным хасидом и без занятий в Любавичах». Намек был совершенно понятен, и они сразу же вернулись в Невель.

После этого дед Хаим определил отца в любавичскую ешиву в Витебске. Он прозанимался там какое-то время, а потом один из местных богачей попросил главу ешивы помочь выбрать одного из ешиботников — грамотного, приятного в обращении и богобоязненного, — чтобы он стал мела-

медом для его сыновей. В качестве платы за обучение он обязался заботиться о квартире, пропитании и одежде меламеда. Глава ешивы порекомендовал ему Шмуэля Березина.

Это был прекрасный период в жизни отца, но, к сожалению, продлился он совсем недолго. Через шесть месяцев пришло известие, что мать серьезно заболела. Отец сразу же собрал свои немногочисленные пожитки и поехал в Невель. Он успел еще застать мать в живых, она умерла через несколько дней после его возвращения.

Как старший сын, он не мог продолжать учебу — нужно было помогать деду Хаиму кормить младших братьев и сестер. Пришлось работать целый день, только вечером он отправлялся на урок по Торе, который давал городской раввин для молодых ребят, вынужденных работать, а не учиться.

Отец обладал деловой жилкой и спустя короткое время решил открыть собственный бизнес. Нашел нескольких компаньонов, где-то одолжил деньги и в шестнадцатилетнем возрасте стал совладельцем бойни. Ему сопутствовала удача, дела сразу же пошли отлично, что позволяло не только содержать братьев и сестер, но и оказывать помощь нуждающимся — бесплатно снабжать мясом многодетные семьи.

В Невеле жили бедно. На медикаменты, в случае необходимости, денег ни у кого не было. Поэтому куриный бульон, который в многодетных семьях варили из мяса, приносимого отцом, был для очень многих единственным лекарством.

Когда у отца появились деньги, он решил, что называется, «прибарахлиться». Купил себе хороший костюм, модную шляпу, часы с золотой цепью, которые носил в кармане жилетки, и дорожную трость. Но проходил он в этом шикарном наряде недолго — до того момента, пока не появился в нем в любавичскую синагогу. Его друзья-хасиды, увидев отца в таком облачении, решили, что подобный костюм не подобает хабаднику, который прежде всего обязан думать о духовном. И преподнесли ему соответствующий урок.

После завершения молитвы начался фарбрэнген, в котором, естественно, принял участие и отец. Первым делом его избавили от часов и трости, предложив пожертвовать их на нужды ешивы «Томхей тмимим». А затем каким-то образом чолнт из принесенной с кухни кастрюли оказался в его модной шляпе. В конце фарбрэнгена ему предложили по хабадскому обычаю перекувырнуться на столе. А стол, ну как назло, был весь запачкан чолнтом и остатками другой еды, которые оставили на костюме заметные пятна. По прошествии многих лет отец рассказывал эту историю с доброй улыбкой и говорил, что преподанный ему на фарбрэнгене урок скромности он запомнил на всю оставшуюся жизнь.

Когда отцу исполнилось 23 года, он женился на Кейле. У них родилось пятеро детей: три сына — Аѓарон-Зелиг, Йеѓуда-Лейб и я — и две дочери — Гита-Леа и Гинда.

Несмотря на то что он был очень занятым человеком — его дело шло хорошо и отнимало мно-

го времени и сил, — все мысли отца были связаны с Хабадом и нашими Ребе. Сперва он был хасидом Ребе Рашаба, а затем его сына, Ребе Раяца. Не было для отца ничего более дорогого, чем Ребе. Много раз он ездил к Рашабу, а уж что касается Раяца, то просто невозможно перечислить, сколько раз он бывал у него, став своим человеком в его доме.

Вплоть до отъезда Ребе из СССР он старался проводить возле него все праздники. Если, скажем, Швуэт или *Пурим*² иногда не получалось, то Рош а-Шона и Симхас Тойра — обязательно. Что бы отец ни делал, где бы ни был, он бросал все и приезжал на эти два праздника к Ребе в Ленинград.

Раяц однажды сказал отцу: «Хасид должен быть умным, богобоязненным и обладать добрым сердцем. Все эти три качества должны быть обязательно соединены вместе. Если он только умный, то может быть обманщиком, хитрецом. Если только богобоязненный — жестоким по отношению к людям. А одного доброго сердца на всех не хватит. Сочетать в себе все три свойства — вот в чем задача». Этому совету Раяца отец старался следовать до своего последнего вздоха.

Как-то раз Ребе спас ему жизнь. Не в духовном смысле, а в самом что ни на есть физическом. Отец вместе с дедом Хаимом поехал сопровождать Раяца в курортный городок Славянск, где Ребе при-

2 Пурим (ивр. «жребии») — праздник в память об избавлении евреев Персии от гибели, предуготовленной им Аманом; история избавления и учреждения праздника рассказывается в библейской книге Эсфири. Праздник отмечается 14 адара (в конце февраля — марте). — *Прим. ред.*

нимал лечебные ванны. Отец был еще достаточно молодым человеком, никогда не посещал подобные курорты и понятия не имел, какое сильное воздействие оказывают на человеческий организм минеральные источники. Он привык купаться в озерах, окружавших Невель, и поэтому, когда зашел в бассейн, с головой окунулся в него. И по видимому, наглотался этой воды.

Дело было в пятницу. Когда дед Хаим и отец вернулись на свою квартиру после вечерней молитвы и трапезы, отцу стало плохо. У него резко поднялась температура, началась рвота. Дед Хаим бросился к Ребе за благословением, хотя время уже было позднее. Ребе успокоил деда и сказал: «Я тебе обещаю, что он будет участвовать вместе с нами в третьей субботней трапезе»³. И так действительно произошло. Когда дед вернулся от Ребе, отцу стало значительно лучше, рвота прекратилась. А к утру у него уже была нормальная температура.

Раяц вообще проявлял к отцу особое отношение. Пасхальную ночь 1927 года отец удостоился провести в его ленинградской квартире. Вышло так, что за праздничным столом место отца оказалось напротив Раяца — у противоположного торца. В центре стола поставили серебряную чашу с супом. Это была не простая чаша, она принадлежала еще Алтер Ребе и передавалась из поколе-

3 Третья трапеза в субботу (*сеуда шлишит*) проводится на исходе дня, но еще в светлое время суток, как правило, после молитвы Минха. Во время этой трапезы, в отличие от двух других субботних трапез, не произносят кидуш.

ния в поколение главами Хабада. В честь праздника каждый из присутствовавших мог взять из нее по несколько ложек супа.

Но тот, кто раскладывал посуду на столе, забыл положить возле тарелки отца ложку. Он, конечно, никому ничего не сказал, а молча сидел и ждал, пока остальные участники трапезы закончат есть суп. И тут Раяц спросил его: «Муля (так он любовно называл отца), а ты почему не ешь?»

Отцу было неловко пускаться в объяснения, он предпочел пожать плечами и промолчать. Но Раяц увидел своим острым зрением, что у отца попросту нет ложки. И, к удивлению всех присутствовавших, велел отцу взять чашу и выпить суп прямо из нее.

Отец тоже был настолько удивлен, что подумал — ему послышалось. И, чтобы не показаться смешным, продолжал сидеть не шелохнувшись. Но ему не послышалось — Раяц повторил свое указание. Тогда отец взял чашу и осторожно сделал небольшой глоток.

«Пей, пей до дна, это поможет тебе в будущем», — сказал Раяц и не успокоился, пока отец не опорожнил чашу. И ведь что интересно — всю последующую жизнь дом отца был воистину полной чашей! И в материальном, и в духовном смысле. Благословение Раяца, данное отцу в ту пасхальную ночь при помощи чаши Алтер Ребе, сопровождало его многие-многие десятилетия.

Однажды отцу предложили заниматься доставкой мяса и других товаров из южных райо-

нов СССР, точнее, из района реки Дон, на север страны. С одной стороны, это сулило большие заработки. Но с другой — требовало длительного пребывания отца в бесконечных командировках. Отец долго колебался, но никак не мог принять решение — и плюсы, и минусы были очевидны и уж слишком велики. Ну что в таких ситуациях делает хасид? Едет к Ребе. И отец отправился к Раяцу за советом.

Тот внимательно выслушал, задал несколько вопросов и дал согласие на новую работу. Но спросил: «А что будет с воспитанием твоих детей?» И сам же ответил: «Я советую тебе приглашать в дом как можно больше гостей. И не просто гостей, а таких, кого не очень-то хотят видеть у себя другие, — бедных, больных. И постарайся, чтобы за ними ухаживали — с радостью и с почтением — твои дети».

И Раяц добавил: «Иногда так случается, что после фарбрэнгена хасиды чувствуют себя не самым лучшим образом. Особенно когда немного переберут с лехаимами. Пусть твои дети и тут проявляют к ним уважение и убирают за ними, провожают их до кровати, помогают раздеться. А если надо, то меняют постельное белье. Если они будут так себя вести, то вырастут хорошими, богобоязненными евреями».

Кроме того, Раяц велел ему как можно чаще организовывать в своей квартире фарбрэнгены, которые создадут в доме хасидскую атмосферу.

Всю свою жизнь отец тщательно выполнял эти указания Ребе. Двери нашего дома всегда были

широко распахнуты перед любым евреем. Каждый знал, что у нас он всегда найдет и ночлег, и еду. Многие десятилетия, даже в самые страшные годы антирелигиозных сталинских преследований, дом наш был тем местом, где всегда проводились фарбрэнгены. Где бы мы ни жили — в большом собственном доме или в маленькой квартирке, — отец не обращал на квадратные метры жилплощади никакого внимания. Раяц велел ему устраивать фарбрэнгены и приглашать много гостей — и точка.

То же самое я могу сказать и о его отношении к деньгам. Никогда отец не считался с тем, во что обойдется ему устройство фарбрэнгена или прием очередного гостя. «Если Ребе сказал, значит, Бог поможет», — говорил он.

И Бог ему всегда помогал выполнить указы Раяца. А благословение Раяца относительно его детей полностью сбылось — все мы выросли хасидами. И не только мы, но и его внуки и правнуки.

Семьи в Невеле были у всех большие — по восемь, девять, десять детей. А зарабатывали немного. И дети уже с 12–13 лет начинали помогать отцу кормить семью. Причем в Невеле жили люди гордые. Даже если шли спать голодными — ни у кого помощи не просили. Поэтому в ешиве тогда учились либо те, у кого семья была состоятельной, а таких в Невеле можно было сосчитать по пальцам, либо обладавшие светлой головой. Очень, очень светлой. У нас на весь город было, наверное, двадцать ешиботников.

Но в хедерах занимались все. Когда пришла советская власть, очень быстро хедеры закрыли. И, понятно, хасиды организовали подпольные. Занятия в них проходили по разным квартирам — три дня в одной, три дня в другой, чтобы власти не могли напасть на их след. Я и мои старшие братья тоже учились в таком хедере, у замечательных хасидов рава Залмана Либермана⁴ и рава Гершона-Бера Левина.

В советскую школу я почти не ходил. Хотя и называлась она еврейской, но учителя в ней делали все, чтобы детей от еврейства оттолкнуть. В Невеле найти таких учителей было трудно — у нас все были верующими. Хотя и соблюдали все по-разному, кто больше — по всей строгости закона, кто меньше, но верили во Всевышнего все. Поэтому учителей в невелиские еврейские антирелигиозные школы пришлось большевикам завозить из других городов.

И эти так называемые учителя просто рвали и металы, требуя, чтобы дети ходили в их школы, где велась грубая, сегодня говорят — оголтелая — антирелигиозная пропаганда. Поэтому отец долго меня в школу не пускал. До третьего класса я учился в хедере и дома, где мне преподавали не только религиозные дисциплины, но и учили читать и писать по-русски, немного — арифметике.

⁴ Либерман Залман родился в традиционной семье, получил традиционное воспитание, окончил ешиву в Любавичах. В 1930-х исполнял обязанности шойхета, мозля и меламеда в с. Ильинка Воронежской области. В 1937 г. был арестован и осужден. Дальнейшая судьба неизвестна.

Однажды отцу пригрозили арестом — тогда ведь существовал злодейский закон, в соответствии с которым власти за отказ родителей отдать своих детей в советскую школу имели право родителей отправить в лагерь, а детей — в детдом. И мне пришлось пойти. Но прозанимался я в так называемой «еврейской» школе недолго. Сразу же после своей бар мицвы я ее бросил и начал работать. А тех, кто работал, в школу уже не тянули.

В тот момент отец был начальником цеха, где делали цепи для гужевого транспорта, и я устроился при нем. Сперва я получал немного, а потом зарплата дошла до 200 рублей. Вроде бы все шло хорошо. Но я все время чувствовал себя не в своей тарелке — очень хотелось учиться. И поэтому я и еще несколько ребят наняли одного парня, который к тому времени уже учился в восьмом классе средней школы. Он происходил из не слишком верующей семьи, но сам был очень религиозным. И остался таким на всю жизнь.

Каждый из нас платил этому парню по пятьдесят рублей в месяц, и он давал нам урок каждый день — с семи до десяти часов вечера. Так мы прозанимались целых два года, с 1932-го по 1934-й.

Времена стояли тяжелые, антирелигиозная кампания была в самом разгаре. Поэтому приходили мы на этот урок по одному, а том Гемары несли в корзине или кошелке — чтобы не было видно. Всю неделю мы изучали Талмуд, а в четверг — ха-сидут. Ну и, понятно, в субботу днем до и после

фарбрэнгена я учил хасидут тоже. А на фарбрэнгене получал духовную закалку.

До 1928 года на фарбрэнгенах мы говорили о Ребе, о его письмах, учили его маамарим. Но после того как Ребе уехал за границу и хасидов стали преследовать за связь с ним, на фарбрэнгенах мы о Ребе говорили мало — было опасно. В основном рассказывали истории о прежних хасидах, таких, как, например, Шлойме-балагула, — какими они были, какие чудеса веры и преданности Торе проявляли и каким мелким по сравнению с ними кажется наше поколение. Те хасиды были все простыми, мастеровыми людьми — извозчиками, сапожниками, мясниками, пекарями, мелкими торговцами. Но вместе с тем — сведущими в Торе. Мне рассказывали на фарбрэнгенах про одного хабадника — сапожника по профессии, который во время работы наизусть повторял «Зо́ѓар»⁵.

А я лично знал кузнеца, который всю неделю полуголым в прожженном фартуке бил в своей кузне молотом по раскаленному железу — ковал подковы, лемехи, косы. А в субботу самостоятельно учил «Мидраш раба»⁶ — сложнейшую книгу, доступную далеко не каждому и написанную

5 «Сефер ѓа-Зоѓар» («Книга сияния») — базовая, самая известная и влиятельная книга в каббалистической литературе. Представляет собой мистический комментарий на Тору и предания о мудреце II в. н. э. Рашби (рабби Шимоне бар Йохане).

6 «Мидраш раба» — сборник из пяти мидрашей (экзегетических, юридических и дидактических комментариев) к книгам Пятикнижия и пяти мидрашей к «свиткам» Писания (Песни Песней, книге Эсфири, книге Руфи, Плачу Иеремии, Екклесиасту).

на арамейском языке. Этот кузнец — по внешнему виду простой работяга — составил целый словарь для «Мидраш раба» — идиш-арамейский. Вот какие тогда были хасиды!

Нам говорили на фарбрэнгенах: Ребе один во всем поколении. Стать им невозможно, для этого надо родиться в соответствующей семье. Но те, кого нам приводили в качестве примера, — кузнецы, сапожники и балагулы, — были такими же простыми людьми, как и мы. На них можно было равняться, на них нужно было стремиться быть похожими.

Сегодня на наших фарбрэнгенах много едят и мало говорят. В двадцатых–тридцатых годах в большевистской России все было иначе. Еды кошерной на столе — чуть-чуть: печенье домашнее, кто что принес, соленые огурцы, селедка, водка. Но зато в избытке разговоров о Торе, хасидизме и хасидах. Хасиды были как одна семья, жили заботами друг друга, стремились помочь друг другу.

Как-то на таком фарбрэнгене Хаим-балагула долго говорил, а когда закончил, крикнул ему другой хасид: «Хаим, откуда ты все про меня знаешь?» И тот ему ответил: «Когда лошади бегут в упряжке, они трутся друг о друга. А мы ведь тоже в одной упряжке — упряжке Ребе. Но ведь мы не бессловесные лошадки, мы говорим! И каждого из нас заботят дела другого, каждому небезразличен другой хасид. Потому что мы одна семья».

Наверное, поэтому в Невеле еврейство держалось намного дольше, чем во всех остальных ме-

стах Советской России. В Ленинграде даже так говорили до войны: если увидишь парня с бородой, значит, он из Невеля.

Но вернусь к нашей семье. Производство, которым заведовал отец, он построил так: евреи не работали в субботу, а русские — в воскресенье. И все были довольны, все работали слаженно, выполняли план, и придраться к нам было нельзя. Пока советская власть не решила закрутить гайки.

Отец был состоятельным человеком, владел богатым домом с большим двором. Но урок, который когда-то ему преподали в синагоге с шикарным костюмом, пошел впрок, и все свои средства он использовал для помощи евреям.

Когда большевики закрыли городскую микву, отец оборудовал новую в подвале нашего дома. Он выстроил бассейн за свой счет и оплачивал его содержание. Помогал ему поддерживать микву его близкий друг реб Гецл Рубашкин.

В 1926 году в Невель приехал посланник Ребе Раяца рав Рефозель Каган, чтобы занять пост городского раввина. Для него не могли найти подходящее жилье, и отец недолго думая отдал половину нашего дома, чтобы в ней оборудовали квартиру для раввина. В доме было два входа — один с улицы, парадный, а второй — черный, со двора. Так раввину отец отдал ту часть дома, в которую надо было заходить с улицы.

В 1929 году у отца отобрали дом и отдали его какому-то коммунисту. Наша семья переехала в маленький, полуразрушенный домишко, пото-

лок которого поддерживали старые проржавевшие столбы. Но отца волновало вовсе не это. Ему не давал покоя совсем другой вопрос — что будет с миквой?

Он начал уговаривать нового хозяина дома, чтобы тот не закрывал микву, которой пользовались десятки, если не сотни жителей Невеля. После долгих разговоров и просьб тот наконец согласился. Но с одним условием: прежняя дверь в микву будет закрыта, а чтобы никто с улицы не увидел, входить в нее можно будет только через окно, выходящее в сад. Отец сам переделал это окно в небольшую дверь, и миква благополучно функционировала еще целых три года.

К тому времени почти все хабадники покинули Невель. А реб Рефоэля убили фашисты, да будет проклята память о них, в первые же дни оккупации Риги.

В 1937 году начали арестовывать всех религиозных. Особенно тех, кто на виду. И вот тут выяснилось, что благословение Ребе Раяца не только дало отцу материальное благополучие, но и спасло его от ареста.

На исходе праздника Песах 1938 года к нам домой пришли сотрудники НКВД, чтобы арестовать отца. Тогда вообще стояли крайне тяжелые для Хабада времена — не проходило дня, чтобы кого-то из хасидов не арестовывали. А отец как раз в этот момент находился в Ленинграде в очередной командировке. Энкавэдэшники стали допытываться у матери, где отец, но она легко ушла от ответа.

«Он почти все время в командировках, — сказала она. — Я понятия не имею, где он сейчас. Знаю только, что должен вернуться через неделю».

Энкавэдэшники удовлетворились этим ответом и решили, по-видимому, что возьмут отца через неделю. Они убрались восвояси, но прихватили с собой в качестве заложника моего старшего брата А́гарона-Зелига. Мать сразу же побежала на почту и дала отцу телеграмму — она, конечно же, знала, как его найти. Получив такую телеграмму, отец спрятался в Ленинграде у знакомых и целый год не выходил на улицу. И так отсиделись. В тот раз его минула горькая лагерная судьбина.

История о том, как нам удалось добиться освобождения А́гарона-Зелига, звучит невероятно, фантастически. Но тем не менее это чистая правда, которую только сегодня, через семьдесят лет, я впервые могу сказать открыто.

Моя двоюродная сестра работала в одном из самых больших и популярных ресторанов Москвы. Там она случайно познакомилась с секретаршей Вышинского — генерального прокурора СССР⁷. Ну, какие услуги можно оказать в ресторане? Столик предоставить, когда мест нет, обслужить быстро. Вроде бы совсем немного. Но когда

7 Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954) — юрист, дипломат, партийный деятель, выступал государственным обвинителем на многих политических процессах 1920-х гг., с 1931 г. — прокурор РСФСР, в 1935–1939 гг. — прокурор СССР, был официальным обвинителем на трех московских процессах 1936–1938 гг., автором обвинительного заключения на маршала М. Н. Тухачевского и т. д. — *Прим. ред.*

речь идет о популярном, престижном месте, куда приходят сливки общества, то возможность моментально получить столик тоже значит кое-что, помогает пустить пыль в глаза. А за такое пылепускание люди порой готовы отдать очень многое. Моя сестра не раз помогала той секретарше устраивать «пылевые завесы».

И когда брата арестовали, сестра бросилась к ней — может ли она как-то помочь. Секретарша спросила: «Где его арестовали? В Москве?» Сестра ответила, что в Невеле. И тогда та сказала: «В таком случае я могу помочь. Это будет стоить пять тысяч».

И помогла. Она имела доступ ко всяким бланкам, печатям и к факсимиле Вышинского. Уж не знаю как, но она сфабриковала то ли письмо, то ли какое-то указание от его имени отпустить брата и отправила в Невель. Там, естественно, не стали разбираться, что и почему, а сразу же взяли под козырек. Так брат оказался на свободе после десяти месяцев пребывания в тюрьме. Помогло еще и то, что за это время ему не предъявили никакого обвинения и не открыли дела.

Мы, конечно, были рады-радешеньки и, понятно, держали всю эту историю в страшной тайне. И вот теперь пришло время рассказать о ней.

К огромному сожалению, после этого чудесного избавления брат прожил недолго. Поначалу, правда, все шло хорошо — никто его не преследовал, он спокойно работал, женился. Детей дожидаться не успел — грянула война. Брат ушел

в армию в первые же дни войны и сразу попал на фронт. Воевал несколько месяцев и погиб в бою.

Когда прошел год после попытки ареста отца и энкавэдэшники больше не вспоминали о нем, наша семья покинула Невель и переехала в Ленинград. Точнее, в его пригород Павловск. Мы выбрали это место не случайно. С одной стороны, Ленинград — огромный, многомиллионный город, где легко было затеряться. А с другой стороны, в пригороде люди жили не в многоквартирных ульях и коммуналках, где все друг у друга на виду, а в собственных домах. В таком доме, отгородившись от соседей приусадебным участком и забором, можно было, не привлекая к себе внимания, вести жизнь религиозных евреев. А ведь именно этого мы больше всего и хотели. Отец намеревался, как и прежде, ревностно выполнять указание, данное ему Ребе Раяцем, — быть центром еврейской жизни.

Мы продали свою квартирку в Невеле и купили вполне приличный дом в Павловске. И этот дом, как и в Невеле, стал местом, где кипела еврейская деятельность: проводились фарбрэнгены, ставились хупы, делались обрезания. Каждый любавичский хасид в Ленинграде, да и во всем Союзе, знал: в павловский дом Шмуэля Березина он может прийти в любое время и всегда найдет кусок хлеба и крышу над головой. Там, где были хабадники, там сохранялось еврейство.

А мой отец к тому же никого и ничего не боялся, хотя времена стояли страшные, когда люди за

намного меньшие вольности, чем те, что позволял себе отец, навсегда исчезали в ГУЛАГе. А его Всевышний хранил. Отец мог, пусть и на вечеринке, пусть и немного выпив, сказать кому-то: «Ты, сволочь большевистская». Других за такое моментально упекали за решетку. А отцу сходило с рук. Наверное, потому, что все, даже коммунисты, его очень уважали и просто не доносили о том, что он говорил, в соответствующие органы. Правда, все сходило отцу с рук до поры до времени.

В Ленинграде отец устроился в «Утильсырье» на грязную и непрестижную работу. Но именно поэтому никто им не интересовался. Что ему и было нужно. А я трудился на разных механических производствах. Когда я приходил устраиваться, то заявлял сразу: «Меня зовут Перец, а Перец в субботу не работает. Подходит это вам — берите, нет — будьте здоровы».

Парень я был молодой, сильный, ловкий, с двумя «правыми» руками. Поэтому, даже несмотря на такую проблему (с точки зрения работодателей, конечно), как соблюдение субботы, я без особых проблем находил себе службу. Тем более что я, зная свои ограничения, заведомо не искал места на престижных, высокооплачиваемых предприятиях. Я ведь не только сразу же предупреждал о своей религиозности, а и выглядел как верующий еврей — ходил всегда с покрытой головой, не брил бороду. После войны, когда мы вернулись в Ленинград из эвакуации, я был чуть ли не единственным молодым евреем с бородой в этом городе.

Так что, несмотря на все трудности и проблемы, мы продолжали жить как хабадники. Решение, принятое отцом, о покупке собственного дома в Павловске оказалось совершенно правильным. Благодаря этому дому мы остались живы. Как? Очень просто.

При нем был большой двор с сараем, в котором мать держала корову. Нам попалась хорошая, здоровая корова, приносящая каждый день по тридцать литров молока. Из него мать делала творог, брынзу и продавала на рынке. Деньги за молочные продукты были неплохим подспорьем в семейном бюджете. Кроме того, во дворе мать разбила огород и собирала хорошие урожаи. Так что овощи у нас были свои, почти весь год.

Когда немцы подошли к городу, мы перебрались в Ленинград, прихватив с собой не только все запасы провизии, но и корову. У сестры отца была большая квартира и даже гараж во дворе. В квартире разместились мы, причем без особой тесноты. А в гараже — корова, которая нас спасла в первые месяцы блокады. Но когда начались ежедневные обстрелы Ленинграда и снаряды стали рваться совсем рядом, наша кормилица, по-видимому, так перепугалась, что у нее совершенно пропало молоко. И как нам ни было ее жалко, просто так кормить корову в условиях, когда пищи не хватало людям, мы не могли. Пришлось свести корову к шойхету.

От ее мяса оказалось немного пользы, потому что его у нас почти сразу украли. Оставшееся мясо негде было хранить, и отец обменял его на хлеб.

Мать его подсушила на печке, и этими сухарями мы питались еще довольно долго.

А когда голод стал сильным, мать начала варить суп из корма, который мы привезли для коровы из Павловска. Конечно, в нормальных условиях это вряд ли можно было назвать едой, но тогда даже варево из отрубей казалось нам необыкновенным лакомством.

Очень помогали нам и продукты, которые передавал мой дядя Авром Цейтлин, заведовавший большой сетью ленинградских гостиниц и ресторанов. Он иногда пересылал нам консервы и немного хлеба. Мы не съедали все сами — часть продуктов я обязательно относил в центральную синагогу Ленинграда и раздавал больным и совсем ослабевшим евреям.

Я был молодой, здоровый, сильный, и меня мобилизовали в похоронную команду. Это было страшное занятие — мы ходили по квартирам и собирали тела умерших от голода людей. Тысячи и тысячи трупов валялись по квартирам, в общественных местах, просто на улицах. И, чтобы не начались эпидемии, руководство города организовало такие команды. За жуткую, но столь необходимую работу члены этих команд получали на 125 граммов хлеба больше в день. Сегодня это звучит странно — подумаешь, каких-то 125 граммов хлеба. Но тогда это была дневная норма! То есть нам выдавали двойной паек.

Такая добавка была чрезвычайно существенной и тоже помогла нам выжить. Но этого все рав-

но не хватало. И довольно быстро мы стали походить на живых скелетов. Мы не умерли от голода лишь потому, что в адаре⁸ 1942 года нас вывезли на Большую землю.

Покинув осажденный Ленинград, мы довольно быстро добрались до Кыштыма — небольшого городка, расположенного в 80 километрах от Челябинска. Там жили наши родственники, уехавшие раньше, — семья дяди, дедушка Хаим. Но в Кыштыме была очень тяжелая ситуация — и с продовольствием, и с жильем. Поэтому нам пришлось забраться совсем в глухомань — районный центр Лебяжье на границе с Казахстаном. Но зато жизнь в нем была намного лучше — в Лебяжьем размещались районный элеватор и мельницы. Поэтому, несмотря на военное время, в поселке всегда можно было купить хлеб по сносной цене.

Все нашли работу, устроились. Отец собрал вокруг себя евреев, организовал миньян. У него был маленький свиток Торы, с которым он никогда не расставался. Мы уехали из блокадного Ленинграда, оставив практически все свои вещи, но этот свиток взяли с собой. Не успела семья толком обосноваться в Лебяжьем, как отца мобилизовали в трудармию и отправили на завод в Челябинск. Моя сестра Гита-Леа отправилась вместе с ним. В Челябинске отец сразу же начал посещать синагогу и установил связи с местными евреями.

8 Месяц еврейского календаря, приходящийся на конец февраля — март. — Прим. ред.

Я не поехал со всей семьей в Лебяжье, а остался в Кыштыме ухаживать за дедушкой Хаимом. Он к тому времени уже не вставал с постели. Дед был настолько плох, что сам не мог надевать тфилин и талит. И я каждое утро надевал их на него. А вечером сидел с ним — рассказывал о наших новостях, просто разговаривал.

Я устроился на завод, изготавливавший сани для армии. И довольно быстро стал, по существу, начальником крупного участка, на котором делалась большая часть операций по производству саней. Из военной кинохроники, которую сейчас показывают, создается впечатление, что в Красной Армии было много автомашин. А на самом деле основным транспортным средством тогда являлись телеги. Зимой — сани.

Нужда в санях была очень большой, поэтому работали мы по пятнадцать часов в сутки. Зимой 1943 года к нам поступил срочный заказ на крупную партию саней, которую надо было отправить под Сталинград. Мы перешли на военное положение — спали прямо в цехе и работали без перерыва.

Наступила пятница. В обед вызвал меня начальник цеха и говорит: «Перец, ты знаешь — я тебя уважаю. Ты прекрасный работник, поэтому я позволяю тебе работать вместо субботы в воскресенье. Но сейчас дорога каждая минута. Поэтому завтра, в субботу, ты обязан выйти. Кровь из носу мы должны отправить в воскресенье четыре вагона саней».

Я, конечно, как и все, ненавидел фашистов и работал что было сил для победы. Но как объяс-

нишь этому человеку, что нарушение субботы все равно не приведет ни к чему хорошему? Наоборот, если я буду соблюдать ее, то Всевышний благословит и меня, и то, что я делаю. В том числе и сани, которые надо отправить в действующую армию!

Я решил: будь что будет, а субботу не нарушу. Но постарался сделать все, чтобы и в мое отсутствие работа шла без остановки. На моем участке помимо всяких других операций еще и приклепывали стальные полозья к корпусу саней. Кузня, где нагревали полозья, стояла во дворе, возле цеха. Я подошел к кузнецам, дал им две бутылки водки и наказал: «Завтра работайте как можно лучше». Ну, кузнецы очень обрадовались выпивке и заверили: сделают все, что возможно.

А в субботу, как назло, с самого утра начался сильный снегопад. Такой сильный, что, когда полозья вытаскивали из печи, их моментально облепляли хлопья снега. Полозья тут же остывали, их невозможно было приковать к саням. В воскресенье я пришел на участок, мы проработали до глубокой ночи, но партию отправить все равно не успели.

На следующий день меня вызвали в партком. А там уже целая комиссия сидит и разбирается, почему сорвали заказ для армии. Начальник цеха представил меня: «Хороший работник, никаких претензий к нему нет. Кроме одной — по субботам не выходит. И вот теперь из-за него не выполнили план».

Я не стал кипятиться, возражать, доказывать, что это неправда. А спокойно объяснил, что про-

изошло это вовсе не по моей вине — был бы я или нет, снегопад все равно не дал бы работать.

И тогда директор всего объединения говорит: «Хорошо, Перец, мы все поняли. Если ты дашь обещание, что отныне будешь выходить по субботам, мы тебя простим».

Он был, наверное, уверен, что в подобной ситуации, будучи припертым к стенке, я с радостью соглашусь. И не просто соглашусь, а по гроб жизни буду ему обязан, что спас меня от трибунала.

А я — уж не знаю, откуда такая смелость взялась, — ответил: «По субботам не работал и не буду».

«Как хочешь», — разочарованно сказал директор и кивнул начальнику спецотдела. Тот подошел ко мне и приказал: «Давай свою бронь». Я вытащил книжечку, которую постоянно носил с собой. Он спрятал ее в карман и говорит: «Через неделю приходи с вещами. Отправишься на фронт. Вот там тебе будут и субботы, и праздники».

Деваться некуда, стал я собираться. А вот дело сдавать оказалось некому. На мне так много держалось, что в одночасье все передать кому-то было просто нереально. Да и не было в тот момент никого подходящего, кто смог бы принять всю эту ношу на свои плечи.

Мне начальник цеха говорит: «Перец, ты так вот, с бухты-барахты, уехать не можешь. Делай что хочешь, но смену себе подготовь». А я ему отвечаю: «С превеликой радостью. Но мне дали неделю до призыва, кого я успею подготовить?» Он схватился за голову: «Они там себе что-то реши-

ли, а план выполнять мне! Сорву военные поставки еще раз — пойду под трибунал».

В общем, побежал он куда-то и добился отсрочки на месяц. А потом вообще сумел восстановить мою бронь. Я ведь был его правой рукой и без меня он действительно просто бы зашился.

Но самое интересное состояло в том, что как раз в это время в военкомате пересматривали дела всех белобилетников. И большинство мобилизовали — прямо под Сталинград. Их часть, едва попав на фронт, оказалась под массированным обстрелом и почти вся погибла. Меня этот пересмотр дел не коснулся, я ведь уже числился в призывниках. А когда пересмотр закончился, то именно в это время мне восстановили бронь.

Вообще, я должен заметить, что, несмотря на всю антирелигиозную большевистскую пропаганду, простые русские люди очень уважали верующих. Когда они видели, что человек действительно религиозен и готов во имя своей веры пойти до конца, то относились к нему с большим пиететом и помогали чем могли. Все наши русские соседи знали, что мы верующие евреи, и это вовсе не вызывало у них ненависти или презрения. Наоборот. Когда между ними возникали споры, они шли к отцу, чтобы он рассудил. И бесприкословно принимали его решение: «Что Муля сказал — так тому и быть».

Однажды в нашем цехе раскрыли махинацию с железом. Кто-то продавал его на сторону и зарабатывал большие деньги. В цех прислали следователя,

и он начал разбираться. И вот в субботу прибежали ко мне из цеха: «Перец, быстро иди, тебя следователь вызывает». Ну, я пошел — это же не работа.

Я объяснил следователю, что ничего про эти махинации не знал и никакого отношения к ним не имел. Это действительно было чистой правдой. Тот выслушал, составил протокол и протягивает мне свою авторучку: «Подпиши». Я отказался: «Еврею в субботу писать нельзя». Он посмотрел на меня внимательно и махнул рукой: «Ладно, вижу, ты человек религиозный, врать не будешь. Я тебе верю — иди с Богом».

Через два месяца после нашего приезда в Кыштым дедушка умер. Еврейского кладбища в городке не было. А как можно похоронить не на еврейском кладбище такого человека, как мой дед, который всю свою жизнь прожил как хабадник? Ближайшее же еврейское кладбище было в Челябинске.

Дядя работал врачом в госпитале и сумел получить там лошадь с подводой. И мы поехали в Челябинск, несмотря на то что стояли сильные морозы, а путь был неблизкий. Ехали три дня, и в пятницу оказались в восьми километрах от Челябинска. Ехать дальше означало нарушить субботу, и мы остановились в первой попавшейся деревеньке.

Еще с дороги мы сообщили отцу, что везем деда в Челябинск и он должен позаботиться о месте на еврейском кладбище. Отец сразу же обратился к габаю синагоги, который ведал и еврейским кладбищем, поскольку был главой местной общины. Он договорился с ним о месте и о том, что при-

готовят могилу. Задача эта была вовсе не простая — из-за морозов земля стала как камень. Но габай заверил, что к середине воскресенья все будет готово. Отец заплатил ему пять тысяч рублей и купил бутылку водки для рабочих. Воскресным утром мы все встретились возле челябинской синагоги.

Но когда приехали на кладбище, выяснилось, что габай успел продать приготовленную для деда могилу какому-то генералу за 12 тысяч рублей. У генерала утром умерла теща, и он ждать не хотел ни минуты. А для деда начали копать новую могилу, закончить которую могли только к следующему утру.

Отец был вспыльчивый и никого не боялся. Он сказал габаю: «В этой могиле будет лежать мой отец — или туда ляжешь ты». Тот испугался и отступил. Генералу пришлось подождать.

Это злое дело не прошло габаю даром — неделю спустя он внезапно скончался. А отца, которого к тому времени члены местной общины успели неплохо узнать и прониклись к нему уважением и доверием, избрали главой общины.

Он произвел в ней настоящую революцию. Почему? Да потому, что думал не о себе — не о своей безопасности, спокойной жизни и набитом кармане, а о том, чтобы евреям было легче соблюдать заповеди в жутких условиях сталинского режима.

За время руководства синагогой отец наладил выпечку мацы, сделал ремонт, построил большую сукку, организовал регулярный миньян, устраивал каждую субботу кидуш после молитвы. Но са-

мое главное его достижение состояло в том, что он осмелился сказать «нет» самому председателю горисполкома.

Тому очень не нравилось, что синагога находится в центре города. И он здорово наседал на отца, чтобы тот согласился на ее перевод куда-нибудь на окраину. Даже предлагал новое здание — намного лучше и больше, — лишь бы евреи убрались с глаз долой. Но отец не испугался и не сломался. Эта синагога так до сих пор и находится в самом центре Челябинска.

Отец добился даже того, что в синагоге был свой собственный раввин. На одном из челябинских заводов работал тогда реб Лейви Пресман. И отец добился просто невероятного — он вместе с делегацией от синагоги поехал на этот завод и убедил директора, что тысячи челябинских евреев нуждаются в раввине, который поможет им еще лучше трудиться во имя победы. И директор отпустил рава Пресмана! Отец сумел оформить все необходимые документы в соответствующих инстанциях, и вскоре в синагоге появился настоящий раввин!

Вместе они делали большую работу по поддержанию еврейской жизни в Челябинске. Да и просто по поддержанию жизни! Мне рассказывал один из прихожан синагоги, что отец спас его в первый же Песах.

Этот прихожанин работал на одном из оружейных заводов. Обычная смена на заводе длилась двенадцать часов. А два раза в неделю — по шестнадцать часов. Физическая нагрузка была колос-

сальной, и даже повышенная норма питания, которую получали рабочие, не могла компенсировать потерю энергии.

Приближался Песах, и этот еврей с ужасом думал, что же он будет делать. С одной стороны, он попросту не мог есть, ни при каких обстоятельствах, хомец в Песах. Но с другой — отказаться от хлеба и от макарон, которые давали на обед в заводской столовой, означало верное истощение в течение буквально нескольких дней. С приближением Песаха тревога буквально съедала его, пока он не пришел в синагогу.

Там он увидел моего отца, который сидел за томом Талмуда. У этого еврея сразу же возникло доверие к отцу, и он поделился с ним своей проблемой. Отец успокоил его: «Уверяю, что мы найдем решение. Голодным в Песах ты не останешься, и, конечно же, не приведи Господь, хомец есть тоже не будешь».

Отец сдержал слово — перед Песахом он передал тому еврею несколько килограммов мацы и еще кое-какие продукты, кошерные на Песах. Я потом узнал, что эту мацу он собирал буквально по листику. Но на следующий год отец сумел наладить выпечку мацы, и никаких проблем у евреев, которые хотели соблюсти Песах, уже не возникало. Во всяком случае, с кошерной мацой.

Расскажу одну историю, связанную с суккой, которую построил отец. До него в синагоге сукки вообще не было. И вот, еще шла война, в один из дней праздника Суккот отец вместе с други-

ми евреями сидел в построенной им сукке. Вдруг они услышали с улицы какой-то подозрительный шум. Время уже было позднее, а в те военные годы спать ложились рано. «Может, воры? — предположил кто-то, — надо звонить в милицию».

Но отец был человек смелый и ничего не боялся. Он вышел из сукки, открыл калитку на улицу и увидел человека в военной форме, подполковника по званию, который пытался перелезть через забор. Внешность у офицера была типичная, но отец на всякий случай спросил его на идише: «Чего хочет еврей?» Тот ответил, тоже на идише: «Я слышал, у вас тут есть сукка?» «Есть, — сказал отец и распахнул калитку. — Заходите».

Подполковник зашел в сукку, достал из кармана шинели два куска хлеба, положил их на стол и спросил, где можно сделать *нетилас ядоим*. Он хотел выполнить заповедь нахождения в сукке и для этого специально принес с собой эти два кусочка, чтобы сказать благословение над хлебом и произнести после этого молитву.

Отец остановил его: «Сперва сделайте кидуш, у нас есть кошерное вино. А потом уже помоеете руки — вот халы, рыба. Праздник — это праздник, если уж вы добрались сюда, чтобы его провести как полагается, то мы не дадим вам так просто уйти».

Подполковник с радостью принял приглашение. Когда все разошлись, а в сукке остался только отец и наша семья, офицер рассказал, что он главврач большого военного госпиталя, расположенного на окраине Челябинска. Он шел десять

километров пешком — праздник, ехать нельзя, — чтобы сказать благословение над хлебом в сукке.

Уже только ради одного этого еврея стоило выстроить сукку. А сколько было других, которые благодаря отцу смогли выполнять заповеди — и не только сукки? Сколько смогли молиться в миньяне, сказать кадиш, есть мацу на Песах? Вновь повторю: там, где хабадник, — там еврейство.

Должность главы общины хотя и требовала многих усилий и времени, но вовсе не освобождала от работы. Однако она позволила отцу уйти с завода и устроиться в «Утильсырье». Это, как я уже сказал, была неприятная работа, поскольку приходилось иметь дело со старыми, грязными вещами. Но зато отец был сам себе хозяин — он ездил по деревням и никому не должен был давать отчет, почему именно в субботу он делал в своих разъездах перерыв.

У отца был друг детства — Дов-Бер, тоже религиозный человек. Он оказался в Челябинске, и отец помог ему устроиться агентом «Утильсырья». Они спокойно работали и думали, что никто не обращает внимания на то, что они соблюдают субботу. Но однажды их обоих вызвала к себе заведующая областным управлением, еврейка, и сказала: «Товарищи, идет война, мы обязаны не просто работать, а с полной отдачей всех сил. Поэтому прекращайте свои выходные по субботам. Кстати, это отразится и на вашей зарплате».

Но отец ответил решительно: «Даже если мне предложат дом, полный золота, я не буду работать

по субботам». А Дов-Бер не устоял и согласился. Конечно, не из-за денег, а для того, чтобы, как говорится, «не лезть в глаза».

Зарплата у отца действительно была маленькая, он был вынужден подрабатывать еще в одном месте, и собирал копейку к копейке, чтобы после возвращения в Павловск отремонтировать наш дом. Мы не знали, в каком он состоянии, но понимали, что после оккупации ничего хорошего в нем не останется. А ведь этот дом должен был и после войны оставаться центром еврейской жизни.

Мы вернулись в Ленинград в конце 1945 года. Дом остался цел, но внутри, как мы и опасались, все разграбили, растащили, разломали. Мы долго приводили его в порядок. Но когда привели, он вновь стал местом, где проводились фарбрены, собирались евреи, где каждый желающий мог провести субботу. Отец свято продолжал выполнять указание Раяца. И денег, скопленных им в Челябинске, хватило для приведения дома в более-менее сносное состояние. Я специально говорю об этом, потому что с Дов-Бером, согласившимся работать по субботам, произошла грустная история.

Он действительно, как и пообещала заведующая областным управлением, зарабатывал больше отца и хранил все свои деньги на сберегательной книжке. До тех пор, пока в декабре 1947 года советское правительство быстро и неожиданно для всех не провело денежную реформу. Суть

ее состояла в том, что население просто ограбили — ввели новые деньги стоимостью в десять раз больше старых. Тем, у кого деньги хранились на сберкнижках, разрешили обменять из расчета один к одному небольшую сумму, а все остальное стало в десять раз меньше. То есть превратилось в ничто.

Реб Дов-Бер рассказал эту историю на одном из фарбренгенов в хабадской синагоге Лода. И завершил ее так: «Ну, работал я по субботам, работал — и что? Принесло мне это счастье? Да ничего подобного. На те деньги я даже купить ничего не сумел. А реб Шмуэль, который не отступил и субботу соблюдал как праведный еврей, дом свой отремонтировал. Хотя зарабатывал меньше моего».

Отец, как я уже говорил, никого и никогда не боялся. Помню, в послевоенные годы в одно из воскресений он вышел на улицу и останавливал евреев и неевреев. Наливал им рюмку водки и кричал во весь голос: «Эйн од милвадо! Ѓа-Шем — Ѓу Ѓа-Элоким!» То есть: «Нет никого, кроме Него, Господь — Он Бог!»

На эти крики пришел участковый, который хорошо был знаком с отцом, и спросил: «Мулька, что такое, что это за демонстрация? Если ты сейчас же не прекратишь, я отведу тебя в отделение». Но отец уже успел принять несколько лехаимов и ответил ему: «Ты коммунист? Если да, то водки у меня не получишь!»

Подобная история произошла и за двадцать лет до этого. На Симхас Тойра 1927 года в Ленин-

град съехались многие хасиды, чтобы проститься с Ребе Раяцем перед его отъездом за границу. Настроение у всех, кто в тот вечер находился в квартире с Ребе, понятно, было весьма невеселое. И тут вдруг прибежал, запыхавшись, один хасид и рассказал, что внизу по улице ходят с бутылкой водки два хабадника. И спрашивают у каждого прохожего, не еврей ли он. Нееврея отпускают, а еврею наливают рюмку и вместе с ним кричат: «Эйн од милвадо! Ѓа-Шем — Ѓу Ѓа-Элоким!»

«Все понятно, — сказал, улыбнувшись, Ребе Раяц. — Это реб Хаим Березин и его сын Муля. Только они на такое способны».

И тогда, и двадцать лет спустя отец хотел таким довольно рискованным способом разрушить стену отчаяния, стену молчания, отдаленности от Всевышнего. Он знал, чем такое поведение грозит в сталинском СССР. Но самопожертвование во имя Всевышнего для него было превыше всего.

Во время одной из тайных встреч с хасидами Ребе Раяц объявил, что составляет особый список тех, кто обязуется соблюдать заповеди, что бы ни произошло в будущем. Соблюдать даже с риском для жизни, с месирус нефеш — самопожертвованием. Отец записался в этот список и всю свою жизнь вел себя так, как будто ему предстояло через несколько минут встретиться с Ребе Раяцем и отчитаться, выполнил ли он данное обещание.

Когда я услышал, что реб Мендл Футерфас организовал выезд из СССР по фальшивым документам, я бросился во Львов, чтобы попробовать

уехать. Но, к сожалению, опоздал. Организацию раскрыли, аресты шли вовсю. Мне повезло — во Львове меня никто не знал, я сумел выскользнуть из города незамеченным и вернулся домой.

А в нашем доме находился очень уважаемый и очень опасный гость — реб Йона Каган (Полтавер). Это был особый человек, живая легенда. Всевышний не дал ему детей, и он посвятил себя ученикам сети подпольных ешив «Томхей тми-мим», которую возглавлял многие годы. Реб Йона относился к этим мальчикам как к своим детям и заботился не только об их учебе, но и о том, чтобы им было что есть, во что одеться, где жить. Он без устали разъезжал по всему Союзу, от одной подпольной ешивы к другой, и решал на месте их проблемы. Какие мог, понятно. За это большевики ненавидели его лютой ненавистью и считали одним из главных преступников антисоветского движения Хабад.

Ненависть эта стала беспредельной после того, как именно реб Йона вместе с реб Мендлом Футерфасом возглавил подпольную организацию по переправке хабадников в Польшу. Он входил в совет, Ваад, организации и следил за правильным расходованием собранных в общую кассу денег, которые тратились на приобретение фальшивых документов, и осуществлял непосредственную отправку людей за границу.

Когда организацию раскрыли, то эмгэбэшники начали просто свирепствовать — они не могли простить любавичским хасидам, что те сумели

так ловко обвести вокруг пальца советскую власть и вырвать из ее лап несколько тысяч хабадников. Аресты прокатились по всей стране, взяли около трех тысяч человек. Реб Йона сумел избежать ареста и несколько месяцев скрывался в нашем доме.

И вот в ночь Юд-тес кислев (2 декабря 1947 г.) мы готовились отпраздновать день освобождения Ребе. Это было строжайше запрещено, но хасиды потихоньку договорились между собой, что соберутся, придя поодиночке, в доме у отца. Но в тот момент, когда наша семья уселась ужинать вместе с реб Йоной, дверь внезапно отворилась и в комнату вошел один еврей, которого давно уже подозревали в том, что он стучит властям.

Обычно реб Йона никому не показывался, даже самым близким друзьям дома. Поэтому о его нахождении у нас знали буквально считанные люди. Но тот стукач вошел так внезапно, что реб Йона не успел выйти. Стукач как ни в чем не бывало присел к столу. Реб Йона хотел покинуть комнату, но было уже поздно — в дом ворвались эмгэбэшники. Они схватили реб Йону и устроили в доме повальный обыск. Перетряхнули буквально все, что было, и обнаружили портреты наших Ребе.

«Ну и кто же это такие?» — с издевкой спросил отца один из офицеров, указывая на портреты. «Это мои дальние родственники», — не думая ни секунды, ответил отец. «Что ты говоришь? Это ж надо — у такого простого еврея такие важные родственники. Все как на подбор — главы хасидов, — продолжил издеваться эмгэбэшник. —

Если ты их родственничек, то тебе следовало бы быть намного лучшим хасидом...»

В тот раз они не забрали отца, удовлетворившись тем, что в их сети неожиданно попала столь крупная рыба, как реб Йона. Они ведь пришли просто проверить, не устраивают ли фарбренген в честь *Юд-тес кислев*.

Отца забрали спустя три года, в октябре 1950-го, обвинив в «недонесении». Была такая чудовищная статья в советском уголовном кодексе: если ты знал о чем-то, что являлось нарушением советского законодательства или просто представляло опасность для властей, но не донес, это уже являлось уголовным преступлением. С помощью организации реб Мендла Футерфаса из Ленинграда выехали несколько десятков семей, и отцу пришили дело: он, мол, знал, что они готовятся незаконно пересечь границу по фальшивым документам, и не доложил куда следует.

Отец просидел в следственном изоляторе десять месяцев и ни о ком из хасидов, даже о тех, что уже уехали, слова не сказал. Хотя его пытались сломать — и морально, и физически.

Отца все это время держали в одиночке, и он длительное время кроме морд следователей и вертухаев не видел ни одного человеческого лица. Ему сутками не давали спать, заставляя стоять навтыжку. Но когда даже в таком положении его голова опускалась на грудь и он начинал задремывать, к нему тут же подскакивал вертухай и бил по лицу, чтобы он проснулся. Отцу сбрили

бороду. Он, конечно, сопротивлялся, поэтому его удерживали силой пять тюремщиков, пока шестой не выскоблил бритвой все его лицо.

Допросы шли каждую ночь, и вели их так, чтобы не только физически, но и психологически вымотать человека, лишить его воли, способности сопротивляться и в нужный момент вырвать признание в не совершенных им поступках, вытащить информацию о других людях.

Чтобы сильнее расшатать психику заключенного, допрашивали с перерывами. Отца вызывали к следователю, а потом отправляли в камеру. Только он устраивался на койку — снова тащили на допрос. Через полчаса вновь возвращали в камеру. Но стоило ему прилечь и закрыть глаза — опять вели к следователю. А тот кричал, угрожал, матерился. Один даже вытащил из кобуры пистолет, положил на стол, направив дуло в сторону отца: «Если сейчас же не признаешься, пристрелю!»

Отец, как я уже говорил, был человек отчаянный. И вовсе не испугался и не раскололся, как рассчитывал его мучитель, а закричал во весь голос: «Если прикоснешься к пистолету, я тебе голову стулом размозжу!»

Отец доказывал следователям, что слыхом ни о чем не слыхивал и понятия не имел ни об организации Футерфаса, ни о тех, кто собирался с помощью фальшивых документов покинуть «социалистическое отечество». Но ему не верили или делали вид, что не верят. Перед следователями была поставлена задача: упечь отца за решетку на дли-

тельный срок. А уж по какой конкретно статье — дело десятое. На последнем допросе следователь сказал ему прямо: «Ты сядешь за то, что любавичский хасид! Уже только одного этого нам достаточно».

В тюрьме отец отказывался от некошерной еды, которую там выдавали. Ел только хлеб, пил воду. Спасали его наши передачи — заключенному на следствии разрешалось ежемесячно получать передачу весом в пять килограммов. Но этого, понятно, не хватало.

Отец очень ослаб, у него открылась язва желудка, и ему сделали операцию. Причем не под общим, а под местным наркозом. Он к тому времени настолько обессилел, что врач боялся — сердце не вынесет общего наркоза и отец умрет прямо на столе. Поэтому дали местный, что было похуже любой пытки. Длилась операция четыре часа, и еще много лет после нее отец во всех подробностях вспоминал каждый ее этап.

После операции отца поместили в лагерную больницу. И тут ему повезло. Тот самый хирург, что делал ему операцию, русская женщина, увидела, что он ничего не ест. И когда узнала почему, то прониклась таким уважением, что принесла из дома новую кастрюлю и целую неделю, пока он был в госпитале, варила для отца в ней картошку и даже свежую рыбу.

Самое сложное было выдержать после операции Песах — ведь даже хлеб, составлявший основную часть его рациона, все восемь дней праздника отец есть не мог. К Песаху мы начали готовить-

ся заранее — каждый месяц вкладывали в посылку по килограмму мацы. Поэтому, когда наступил праздник, у отца ее было достаточно.

Вот и представьте: после операции на желудке восемь дней прожить только на маце и воде. Это был самый настоящий пикуах нефеш, опасность для жизни. В такой ситуации можно было бы себе, вроде бы, позволить пойти на какие-то послабления в кашруте. Но во всем, что касалось заповедей, отец никогда не шел ни на какие уступки.

Когда отца выписали из больницы, допросы возобновились. Во время одного из них, длившегося без перерыва почти сутки, следователю принесли еду прямо в кабинет. На стол перед ним поставили тарелку, наполненную жареным мясом и картошкой. Аппетитный запах заполнил всю комнату.

Следователь с издевкой предложил отцу: «Угощайтесь, Березин. Вам в камере такого не дадут». Но отец решительно отказался. Другой следователь сжалился и спросил: «Может быть, все же что-то съедите?»

«Если уж вы так любезны, — ответил отец, — мне вполне хватило бы стакана молока и куска хлеба». И — о чудо! — следователь отдал указание, и через несколько минут перед отцом поставили стакан молока и хлеб.

«Ну, пируйте, это ведь именно то, что вы просили», — сказал следователь. «Я не могу так есть хлеб, — ответил отец. — Я должен омыть руки».

Следователь сперва возмущился подобным упрямством, но потом сменил гнев на милость и по-

зволил отцу (в сопровождении солдата) пройти к водопроводному крану. Более того, он разрешил другому солдату принести кружку, с помощью которой отец сделал нетилас ядоим.

Однажды, чтобы сломать отца, следовательно, знавший, как он привязан к Ребе Раяцу, рассказал, что из Нью-Йорка пришло сообщение о смерти Ребе. Отец стиснул зубы и постарался не выдать того, что творилось в его душе. Ему, похоже, это удалось. Следовательно пристально посмотрел на него и с усмешкой сказал: «Я вижу, ты плохой хасид. Когда я сообщил это известие Мойше-Хаиму Дубровскому⁹ — он тоже здесь у нас, в Шпалерной, — так тот на месте хлопнулся в обморок».

Кончилось следствие тем, что, хотя никаких улик против отца так и не нашли, в сентябре 1951 года ему вlepили десять лет лагерей. Отправили его в Тайшет, и на пересылке в Новосибирске отец встретил своего старинного знакомого — Меера Цинмана¹⁰. К тому времени он уже сидел

9 Мойше-Хаим Дубровский был членом *Ваад га-рабоним* — Совета раввинов, руководившего подпольной организацией по выезду. Был ответственным за выполнение неожиданно возникающих дел: связывался с нужными людьми, вел с ними переговоры, а потом докладывал о полученных результатах.

10 Цинман Меер Янкелевич родился в 1913 г. в Холме Тверской губ. в семье раввина. Получил традиционное воспитание. Жил в Ленинграде. В 1938 г. арестован как «активный член контрреволюционной еврейской клерикально-националистической молодежной организации “Тиферес бахурим”». Из обвинительного заключения: «Являясь враждебно настроенным к политике ВКП (б) и советской власти, проводил среди евреев контрреволюционную националистическую пропаганду, направленную на создание недовольства мероприятиями ВКП (б) и советского правительства». Приговорен к 10 годам ИТЛ, отправлен в Ухтижемлаг, в 1947 г. освобожден. Жил полужелегально в Ташкенте, откуда в 1949 г., с началом

второй срок. Отец не видел его много лет и страшно обрадовался. Схватил Меера и прямо в камере пустился с ним в пляс, хотя после всего пережитого во время следствия он был крайне истощен и с трудом держался на ногах. На отца все посмотрели как на ненормального, а он воскликнул: «Меер, я тебе говорю — мы еще с тобой выйдем на свободу и будем в Эрец-Исроэл!»

К сожалению, сбылась лишь половина этого предсказания. Оба они действительно были освобождены, реабилитированы и встречались неоднократно в нашем доме в Павловске. Но реб Меер так и не удостоился увидеть Эрец-Исроэл. Он скончался и был похоронен в Ташкенте.

На другой пересылке отец вдруг увидел в большой камере, набитой заключенными, реб Мендла Футерфаса. «Реб Мендл, это ты?» — воскликнул на идише, не сдержавшись, отец. Он тогда не знал — если бы выяснилось, что он знаком с реб Мендлом, это грозило бы ему большими неприятностями. Но реб Мендл, имевший намного больший, чем у отца, тюремный стаж, все прекрасно знал и понимал. Поэтому он сделал вид, что не услы-

новых арестов, скрылся. Проживал нелегально в Кутаиси, работал слесарем и вязальщиком в артели «Сарецао нацарми». В 1951 г. арестован по обвинению «в связях с лицами, враждебно настроенными к советской власти». Вывезен для дальнейшего следствия в Ташкент. Из обвинительного заключения: «Периодически выезжал в Ленинград, где, проживая на нелегальном положении, встречался с участниками антисоветской националистической организации любавичских хасидов». В 1952 г. приговорен к бессрочной высылке в Красноярский край. В 1954 г. освобожден из ссылки. В 1957 г. реабилитирован.

шал оклик, а через какое-то время как бы случайно прошел мимо отца и бросил на ходу: «Ты меня не знаешь, и я тебя не знаю». А для пущей безопасности сказал это чуть ли не шепотом и на иврите.

Наша семья долгое время не знала, где точно находится отец. Нам лишь было известно, что его отправили по этапу в Сибирь. Поскольку отцу долгое время после прибытия в лагерь не разрешали переписку с семьей, первую весточку мы получили только через полгода. Да и то чудесным образом.

По почте к нам пришло письмо от неизвестного человека. Когда мы открыли его, то внутри оказался еще один конверт — грязный, надорванный и тоже с нашим адресом. Внутри второго конверта было письмо от отца. Прочитав первые строки, мать воскликнула: «Слава Всевышнему — он жив!» Но читать дальше она от волнения была уже не в состоянии. Письмо дочитала вслух моя сестра Гинда.

Отец написал, что находится на лесоповале, в бригаде с еще несколькими евреями. Их работа заключается в том, что они грузят срубленные деревья в железнодорожные вагоны. Он не может сообщить, что с ним, поскольку пока все еще лишен права переписки. Поэтому, в надежде на милость Всевышнего, он засунет конверт с письмом между стволами деревьев. Может быть, если его найдут при разгрузке, то отправят по нашему адресу.

Так оно и произошло. У какого-то рабочего, действительно нашедшего это письмо, хватило смелости и милосердия переправить его нам.

Переписку отцу не разрешали еще долгое время. А потом позволили — но всего лишь одно письмо в полгода! Отцу полагалось свидание, и мой брат отправился к нему в Сибирь. Дорога заняла больше недели, а свидание длилось буквально считанные минуты. Позже ситуация немного улучшилась, и отцу разрешили получать раз в месяц продуктовую посылку. Мы набивали ее домашними консервами, сушеными фруктами и сигаретами. Отец не курил, но сигареты были в лагере самой лучшей валютой, и он менял их на продукты.

В одной зоне с отцом сидело много интеллектуалов, ученых, художников. Будучи очень добрым и отзывчивым человеком, отец порой просил нас вложить в посылку книги, краски, цветные карандаши. Вес посылки был строго ограничен, и поэтому каждый ее грамм был воистину на вес золота. Но мы выполняли просьбы отца. Один из его лагерных друзей, профессиональный художник, в знак благодарности за полученные им от нас краски написал портрет отца. Этот портрет отец переслал нам, и каким-то чудом его пропустили. Он хранится у меня до сих пор.

В зоне отец нашел и хабадников. Хотя это и было страшно рискованно, по ночам они собирались у него в бараке. Вспоминали близких, говорили о Ребе — иносказательно, конечно. И даже отмечали праздники! Но какие же праздники без фарбренгена. И какой фарбренген без водки? А как же достать водку в зоне? Отец нашел выход. Точнее — одного заключенного, который был, что на-

зывается, расконвоированным. То есть имел право выходить за пределы лагеря. И вот он каким-то образом регулярно приносил им водку.

Перед первым своим Песахом в зоне отец написал письмо: «У нас тут около ста евреев, когда кто-то из детей приедет ко мне на свидание, пусть привезет побольше подходящих продуктов». Он не написал каких, но мы-то понимали: подходящих для еды в Песах.

Мой брат отправился в зону и прихватил с собой, наверное, килограммов пятьдесят еды. Большую часть ее составляла маца. За несколько бутылок водки, которые тоже привез брат, охранники разрешили отцу пронести из комнаты свиданий в лагерь все эти продукты.

И отец устроил в лагере седер! Настоящий пасхальный седер — с мацой. Звучит это совершенно невероятно, но так было. Седер в сталинском лагере! Конечно, тайно, конечно, за взятку. Но седер. Наварили картошки, а «Пасхальную агаду» отец знал наизусть.

Кашрут отец соблюдал даже в лагере. Сперва питался всухомятку, поскольку категорически, даже в условиях зоны, отказывался есть их варево. А потом каким-то образом сумел обзавестись печкой-буржуйкой, которой пользовался только он, и потому мог время от времени варить себе кошерную еду из продуктов, приходивших в посылках.

Но, конечно же, отец соблюдал не только кашрут. Он оставался настоящим любавичским хасидом и стремился приблизить к Торе евреев, нахо-

дившихся в зоне рядом с ним. Благодаря беседам с отцом и, главное, благодаря тому примеру, который он показывал своим поведением, несколько евреев полностью вернулись к вере, а несколько обязались соблюдать хотя бы некоторые заповеди.

Хабадники того поколения были особыми людьми. Их не интересовали деньги, не интересовали почет и уважение. Единственное, чего они хотели, — это соблюдать заповеди и помогать соблюдать их другим. Даже с риском для жизни, но соблюдать. Я слышу сегодня, как новые шлухим — любавичские посланники в России, которые делают воистину святое дело и восстанавливают там еврейскую жизнь, — говорят порой: «До нас тут вообще ничего не было». Не было? Мой отец, его друзья, отдавшие свои жизни за Тору, — их не было?!

Чтобы понять эту ситуацию, приведу пример. Во время штурма вражеских укреплений солдатам надо было переправиться под огнем противника на другой берег реки. Мост, по которому они шли, врагу удалось разрушить. Многие утонули. Но по их телам другие солдаты перешли реку и овладели вражеской крепостью. Кому принадлежит победа? Только тем, кто непосредственно ворвался в крепость? Или же в равной (если не в большей) степени тем солдатам, по телам которых их товарищи сумели переправиться на другой берег?

Нынешние посланники в СНГ продолжают наше дело, они стоят на плечах хабадников моего поколения и поколения моего отца, не жалевших жизни для Торы и заповедей, для сохранения

еврейской искры в темном царстве сталинского СССР. Поэтому говорить, что до них в России не было никакой еврейской жизни, по меньшей мере несправедливо.

После смерти Сталина, да сотрется его имя, начались перемены к лучшему. Но прошли еще долгих три года, и только в 1956 году моего отца амнистировали и освободили. Казалось бы, испытанные им страдания должны были сломать его или, как минимум, остудить его пыл. Но не тут-то было! Мой отец остался таким же пламенным хабадником, каким был до ареста. Он не замкнулся в себе и не захлопнул двери дома перед другими евреями.

Мы продолжали жить как хабадники — соблюдали кашрут, праздники, субботы. В нашем доме в Павловске по-прежнему устраивали фарбрэнгены, уроки Торы и хсидус, ставили хупы, делали обрезания, регулярно собирался миньян. Многие хасиды, боявшиеся открыто посещать в Ленинграде синагогу, на праздники приезжали к нам и проводили их в нашем доме, где был миньян и кошерная еда. И мы, дети Шмуэля Березина, хотя и имели к тому времени свои собственные семьи, ухаживали за ними. Указание, данное Ребе Раяцем, никто не мог отменить, даже советская власть со всем своим чудовищным аппаратом подавления.

Железный занавес понемногу давал трещины, и у нас установилась хоть и редкая, отрывочная, но все же более-менее регулярная связь с новым Ребе. Мы, конечно, не знали подробно-

сти, но главные его указания до нас все же доходили. И мой отец, как настоящий хабадник, считал своим долгом выполнять их — точно так же, как и указания Раяца. Поэтому, несмотря на все проблемы и трудности, как только он узнал о мивца тфилин, провозглашенной Ребе Менахемом-Мендлом, сразу же включился в ее проведение.

Напомню, что эта мивца, то есть операция, заключалась в том, чтобы помочь каждому еврею раз в день наложить тфилин. На Западе — в США и Израиле — хабадники стояли открыто на улицах городов. В СССР конца шестидесятых годов о таком, конечно, и подумать было невозможно. Но если Ребе сказал, значит, надо выполнять. И отец выполнял.

Он всегда носил тфилин с собой в портфеле и специально приезжал на работу к евреям, чтобы они (тайком от других, конечно) могли каждый день надеть тфилин и сказать молитву «Шма Исраэль»¹¹. Хотя времена стояли уже не сталинские, за такое поведение отец мог сильно поплатиться. Но если Ребе дал команду помогать евреям накладывать тфилин, то отца ничто уже не могло остановить.

Как-то раз к нам в Павловск приехала пожилая еврейка и рассказала, что у нее родился внук. Она очень хочет сделать ему обрезание и «ввести в завет Авраама», но боится. Тем более что ее сын служит офицером в Советской армии. Поэтому

11 «Слушай, Израиль [Господь Бог наш, Господь един]».

она решила посоветоваться с отцом, можно ли каким-нибудь образом провести все быстро и тайно. Так, чтобы не только в части сына никто ничего не узнал, но и его соседи по дому не догадались.

Отец заверил женщину, что все будет сделано быстро и тайно. Они договорились, что обрезание проведут, как и положено, на восьмой день. Когда наступил срок, отец вместе с моэлем, моей сестрой Гиндой и еще одним хабадником приехали в Царское Село, где жил офицер. Он был на службе, а бабушка под каким-то предлогом отправила из дому его жену. Операция заняла не более получаса, и никто ни о чем не догадался. Отец с моэлем посетили этот дом только еще один раз, чтобы сменить перевязку. Больше они с этой женщиной и с ее семьей никогда не встречались. Таких случаев было не один и не два. И даже не десять.

Много лет подряд мы подавали документы на выезд в Израиль и регулярно получали отказ. Но в 1969 году пришло, наконец, долгожданное разрешение. Мы не медлили ни минуты, распродали по дешевке все, что у нас было, и уехали. В Израиле мы сперва поселились в Кфар-Хабаде.

Спустя несколько месяцев, в месяце тишрей, мы с отцом удостоились посетить Ребе в Нью-Йорке. Счастью нашему не было предела. Когда отец вошел в комнату к Ребе на йехидус, Ребе сразу же спросил его: «Так вы и есть Муля?» Тут отец не выдержал и расплакался. Находясь в советской тюрьме и в зоне, несмотря на пытки и издевательства, он ни разу не проронил ни одной слезинки.

А в комнате у нашего святого Ребе от волнения и радости слезы хлынули потоком из его глаз.

В Израиле отец продолжал приближать евреев к Торе и заповедям. Каждую пятницу он приезжал на военную базу «Тель га-шомер» и помогал всем желающим надеть тфилин. Многие, в том числе и высокопоставленные офицеры, откликались на его призыв. И все относились к отцу с большим уважением.

В самом Кфар-Хабаде он активно участвовал в общественной и религиозной деятельности. В частности, был одним из главных действующих лиц при строительстве миквы и синагоги «Бейт Нахум-Ицхак». Отец скончался в 1978 году в возрасте 84 лет.

Я с семьей вскоре после приезда поселился в хабадском квартале Лода, где и живу до сих пор. Все мои дети пошли по моему пути, все — хабадники. Все прошли армию, как это принято в Хабаде, работают на производстве, в хай-теке. И все мои дети, все девять внуков и десять правнуков продолжают традицию, полученную от своих предков.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Для людей, чьи свидетельские показания записаны и собраны мной в этой книге, все Любавичские Ребе вовсе не являются историческими личностями. Нет, для них главы Хабада — от Алтер Ребе, скончавшегося в начале XIX века, и до Ребе Менахема-Мендла, покинувшего этот мир в 1994 году, — живые люди, с которыми мои собеседники советуются, к которым апеллируют, по которым каждый день сверяют свою жизнь. Упоминания об их деятельности, их трудах, их решениях, обязательных для любого хабадника, постоянно встречаются в рассказах моих героев. Для них Любавичские Ребе — неотъемлемая часть их мира, поэтому, как правило, все эти упоминания сделаны вскользь, как сами собой разумеющиеся, без расшифровки или комментариев. И для того чтобы читателю, незнакомому во всех подробностях с биографиями Любавичских Ребе, было легче понять, о чем рассказывают герои этой книги, необходимо привести ряд биографических данных и дать краткую историческую справку о движении Хабад.

Это движение было создано в конце XVIII века Алтер Ребе — рабби Шнеуром-Залманом из Ляд (1745–1813). Он

был не только чрезвычайно харизматичным человеком, увлекшим за собой тысячи последователей, но и великим мудрецом, обладавшим к тому же недюжинным литературным талантом. Алтер Ребе сумел вместить в написанные им небольшие по формату книги — «Шульхан арух га-рав», «Законы изучения Торы», «Танью» — столько информации по галахе и каббале, такое количество философских идей, объясняющих смысл существования этого мира и взаимоотношений его Творца с человеком, что они стали главными книгами Хабада и изучаются до сих пор не только любавичскими хасидами, но и всеми евреями, стремящимися понять смысл своего пребывания на земле.

Алтер Ребе родился 18 эула 1745 года в местечке Лизно Могилевской губернии. Он — прямой потомок другого великого мудреца — Магараля из Праги, род которого восходит к царю Давиду. Слава о необычайных способностях мальчика Шнеура-Залмана распространилась далеко за пределы его родного города. Уже на праздновании бар мицвы Шнеура-Залмана провозгласили великим знатоком Талмуда.

В 1760 году он женился на Штерне и переехал в Витебск, где продолжил изучение Талмуда. В восемнадцать лет он углубился в каббалу, ведя подчеркнуто аскетический образ жизни. В 1764 году Алтер Ребе отправился в Межерич и стал самым молодым учеником Межеричского Магида рабби Дов-Бера — преемника основателя хасидизма Бааль-Шем-Това (1698–1760). По его указанию Алтер Ребе составил знаменитый законодательный кодекс «Шулхан арух га-рав» и новый вариант молитвенника.

После смерти Межеричского Магида рабби Шнеур-Залман взял на себя задачу распространения хасидизма в Литве, Белоруссии и Польше — цитадели *митнагдим*, противников хасидизма. Одновременно он занялся созданием философской системы Хабада, совмещающей

в себе эмоциональные и интеллектуальные аспекты хасидизма, Талмуд — с учением каббалы. Он работал над этим более 20 лет и изложил созданную им систему в книге «Танья», увидевшей свет в 1797 году.

Популярность Алтер Ребе вызывала зависть и ненависть у его идеологических противников. В 1799 году он был арестован по ложному обвинению в измене русскому императору. Алтер Ребе посылал денежную помощь своим хасидам и другим евреям, жившим в Эрец-Исраэль, находившейся тогда под контролем Турции. А поскольку Османская империя воевала с Россией, в доносе дело было представлено так, будто Алтер Ребе поддерживает заклятого врага России.

Алтер Ребе заточили в Петропавловскую крепость, но доказательств его вины найти не удавалось. Следовательно были поражены и знаниями Ребе, и его необычайной харизмой. Слух о необыкновенном узнике дошел до царского двора. В тюрьме Алтер Ребе посетили несколько министров и, по слухам, даже сам император Павел. Он будто бы решил обмануть Алтер Ребе и оделся в простую одежду. Но Алтер Ребе сразу увидел, что перед ним все не тот человек, за кого пытался выдать себя посетитель, и оказал ему царские почести. Это произвело сильное впечатление на императора. Через полтора месяца после ареста Алтер Ребе освободили. С тех пор день освобождения Алтер Ребе — 19 кислева (Юд-тес кислев) превратился в праздник хасидов Хабада, который называют Новым годом хасидизма и Праздником освобождения.

Спустя два года Ребе переехал в Ляды, где намеревался создать новый центр хасидизма. Там он прожил десять лет.

Когда армия Наполеона вторглась в Россию, Алтер Ребе сразу же занял антинаполеоновскую позицию, опасаясь, что обещанное французским императором уравнивание евреев в правах приведет к ассимиляции. Поэ-

тому Ребе и его хасиды активно помогали российской армии. Уходя от наступающих французов, Ребе вместе с семьей провел пять месяцев в скитаниях и переездах. Зима 1813 года была очень холодной; он заболел и слег в постель. Алтер Ребе скончался 24 тевета и был похоронен в городке Гадяч Полтавской губернии.

Вторым Любавичским Ребе стал сын Алтер Ребе, рабби Дов-Бер по прозвищу Мителер (1773–1827). Прозвище Мителер Ребе («Средний Ребе») р. Дов-Бер получил потому, что стал связующим звеном между двумя знаменитыми главами Хабада — Алтер Ребе и р. Цемахом Цедеком. Мителер Ребе развил и укрепил движение. Он был не только блестящим оратором и прекрасным организатором, но и большим знатоком Торы, оставившим после себя многочисленные комментарии к Учению. Мителер Ребе дал своим молодым хасидам особое указание — изучать хасидизм минимум три часа в день, а женатые и работающие должны были учиться три дня в неделю по часу.

В 1813 году Мителер Ребе переехал в белорусское местечко Любавичи, ставшее с тех пор столицей Хабада. Выбор местечка не был случаен, его название, как неоднократно напоминал сам Ребе, указывает на одну из главных отличительных черт любавичского хасидизма — любовь к каждому еврею.

Третьим Любавичским Ребе стал Менахем-Мендл, которого принято называть Цемах Цедек (1789–1866), внук Алтер Ребе, зять р. Дов-Бера. Он был автором многих книг, представляющих собой уникальный синтез эзотерических и экзотерических аспектов Торы. В восемь лет Цемах Цедек уже проявил необычайные способности в изучении Талмуда, с двенадцати лет начал подробно конспектировать уроки деда. Впоследствии эти записи (просмотренные и исправленные Алтер Ребе) стали основой книг «Тора ор» («Свет Торы») и «Ликутей Тора» («Избранное Торы»), являющихся коммен-

тариями Алтер Ребе к Пятикнижию. После бар мицвы внука Алтер Ребе установил особые часы занятий с ним, а напарником мальчика по изучению Талмуда был брат его покойной матери Дов-Бер — будущий Мителер Ребе.

В 1803 году, когда ему едва исполнилось 14 лет, Менахем-Мендл женился на своей двоюродной сестре Хае-Мушке, дочери Мителер Ребе. В восемнадцать лет он написал первую книгу — «Таамей га-мицвот» («Смысл заповедей»). Когда в 1828 году Мителер Ребе скончался, ребе Менахем-Мендл возглавил движение.

Он сразу начал борьбу с указом Николая I, обязывавшим евреев отбывать рекрутскую повинность с двенадцати лет. Смысл указа заключался в том, чтобы постепенно привлекать еврейских мальчиков к православию. Ребе Менахем-Мендл создал целую систему выкупа рекрутов и подготовил убежища, в которых дети прятались от рекрутского набора. Хасиды Хабада проникали в военные лагеря, поддерживали юных солдат и укрепляли их связь с Торой. Ребе Менахем-Мендл вел борьбу с министром просвещения С. С. Уваровым, намеревавшимся ввести меры по русификации еврейского населения. Борьба увенчалась успехом, но в ее ходе Ребе был арестован и несколько месяцев провел в тюрьме.

После смерти ребе Менахема-Мендла его труды были собраны в книге «Цемах Цедек» («Росток праведности»). Книга приобрела огромную популярность, и постепенно р. Менахема-Мендла, как это зачастую принято в еврейской традиции, стали называть по ее названию — Цемах Цедек. Под этим именем он и вошел в историю.

Четвертым Любавичским Ребе стал сын Цемаха Цедека р. Шмуэль (1834–1882), один из крупнейших знатоков Торы своего времени.

Активную общественную деятельность он начал еще при жизни отца, в 1855 году, когда по указанию Цемаха Цедека отправился в Санкт-Петербург для участия в кон-

ференции, посвященной выпуску учебников с переводом на немецкий язык для еврейских детей. Рабби Шмуэль открыто высказал свое отрицательное отношение к этим учебникам, не испугавшись реакции чиновников.

В 1856–1866 годах он много ездил по еврейским центрам империи, встречался с руководителями еврейских общин и всячески поддерживал в них стремление противостоять ассимиляции.

На время его руководства Хабладом (1866–1882) пришелся всплеск антисемитизма в стране, выразившийся во всевозможных ограничениях для евреев и в первых погромах, разразившихся после убийства царя Александра II. Ребе Шмуэль был одним из самых активных борцов не только за права евреев, но и просто за их спасение от погромщиков. Одной из его акций в этом направлении была организация в 1869 году совета глав еврейских общин Санкт-Петербурга. Совет действовал постоянно, ведя борьбу с преследованиями евреев.

Р. Шмуэль никогда не оставался в стороне, если возникала проблема для той или иной общины, и всегда высказывался четко, ясно и бескомпромиссно. Даже высшие царские чиновники не могли запугать его и относились к Ребе с уважением.

Но в историю хасидизма четвертый Любавичский Ребе вошел не только из-за своей общественной деятельности, но и благодаря крупному вкладу, внесенному в развитие философии хасидизма. Его ответы на вопросы, его блестящие маамарим (статьи и выступления на религиозные темы) привлекли к Хабладу десятки тысяч новых сторонников, искавших и находивших в его трудах и в книгах его предшественников ответы на самые актуальные и сложные вопросы.

Четвертый Любавичский Ребе возглавлял Хаблад сравнительно недолго, но сумел подготовить движение к принципиально новому этапу в его развитии. Царское

правительство проводило политику выталкивания евреев за пределы империи. Поэтому в конце XIX века началась массовая эмиграция евреев в США, Латинскую Америку и Южную Африку. В течение нескольких десятилетий, до Первой мировой войны и последовавшего за ней большевистского переворота, когда границы России закрылись, из нее выехали более двух миллионов евреев.

Хабад не оставлял своих соплеменников, куда бы их ни забрасывала судьба, и вел среди них работу по сохранению обычаев предков, расширению еврейских знаний, поддержанию уровня религиозности. В первое столетие своего существования Хабад действовал только в пределах Российской империи, но с расширением географии и масштабов еврейской эмиграции Хабад распространился по всему миру. Следует подчеркнуть, что и поныне деятельность Хабада распространяется на всех евреев, вне зависимости от их принадлежности к тем или иным общинам.

Пятый Любавичский Ребе, р. Шолом Дов-Бер (1860–1920), которого чаще всего именуют Ребе Рашаб, известен также как «Рамбам хасидизма». Это почетное прозвище он получил потому, что его статьи о сложнейших эзотерических вопросах хасидизма были, как и основной труд Рамбама «Мишне Тора» («Повторение Торы»), написаны простым языком, доступным даже не очень разбирающемуся в талмудических тонкостях еврею.

Рашаб был не только мудрецом, но и замечательным организатором. В 1897 году он основал ешиву «Томхей тмимим», для которой сам выбрал название. Оно взято из молитвы праздника Симхас Тойра, в которой сказано: *Томех тмимим гошиа на!* («Поддерживающий искренних, помоги нам!»)

«Те, кто будет обучаться в этой ешиве, помогут всему Израилю», — сказал Ребе Рашаб в день ее открытия. Эта ешива в принципе отличалась от всех, существовавших

до того времени, поскольку, по замыслу ее основателя, в ней не только обучали Талмуду и хасидизму, но и воспитывали в ешиботниках преданность Всевышнему, любовь к Торе, заповедям и каждому еврею.

Кроме того, в ешиве «Томхей тмимим» впервые было введено систематическое и ежедневное — полтора часа утром, до молитвы, и полтора часа перед сном — изучение хасидизма. Ребе Рашаб указывал, что хасидизм следует изучать так же серьезно и основательно, как и Талмуд, и по точно такому же методу — *хеврута*, то есть с напарником-оппонентом.

Перед смертью Ребе Рашаб сказал ученикам: «Я ухожу на небо, но оставляю вам мои труды». Ребе Рашаб сказал не «даю», а «оставляю», подчеркнув тем самым, что написанное им следует изучать не только глубоко, но и самостоятельно, подвергая его сомнению и анализу.

Много времени и сил Ребе Рашаб посвятил не только созданию трудов по хасидизму, но и защите евреев Российской империи от произвола властей. Благодаря его действиям были отменены несколько крайне тяжелых для евреев законов и директив, разработанных правительством во времена Александра III, известного своим антисемитизмом.

Осенью 1915 года фронт приблизился к Любавичам, и Ребе Рашаб был вынужден вместе с семьей перебраться в Ростов-на-Дону. Бурные события революции и Гражданской войны помешали ему вернуться домой. Когда в 1920 году в Ростове окончательно установилась советская власть, Ребе сразу же понял, чем она грозит евреям, и начал направлять своих хасидов на деятельность по сохранению еврейства.

Как-то, увидев из окна демонстрацию большевиков, шествовавшую по улице мимо его дома, Ребе Рашаб сказал: «Нет, с этими я на одном свете не уживусь». Ребе скончался в Ростове-на-Дону в 1920 году.

Ребе Йосеф-Ицхак — Раяц, шестой Любавичский Ребе (1880–1950), — был единственным сыном Рашаба и его жены Штерны-Сары.

Уже в 17 лет он стал личным секретарем отца; год спустя женился на своей троюродной сестре Нехаме-Дине Шнеерсон. Р. Йосеф-Ицхак был назначен отцом главой сети ешив «Томхей тмимим». Во время Русско-японской войны он наладил снабжение еврейских солдат царской армии кошерным мясом. Как и его предки, р. Йосеф-Ицхак вел бескомпромиссную борьбу с царским правительством, защищая свой народ. Он открыто призывал руководителей иностранных государств и еврейские общины оказать давление на царское правительство, чтобы остановить погромы, дважды подвергался аресту, но каждый раз находился в тюрьме короткое время.

В 1920 году после смерти Рашаба Ребе Раяц возглавил Хабад. Он развернул борьбу за сохранение еврейской жизни в СССР, создав подпольную сеть ешив, хедеров и микв, уберегших от ассимиляции десятки тысяч евреев. Одновременно Ребе заботился об усилении деятельности Хабада за границей. По его указанию в 1921 году был открыт варшавский филиал ешивы «Томхей тмимим». В 1924 году он переехал в Москву, затем в Ленинград.

Ребе Раяц много раз получал завуалированные, а затем и открытые угрозы от «евсеков» — членов Еврейской секции ВКП (б), требовавших свернуть работу по сохранению еврейства. В июне 1927 года он был арестован и отправлен в Шпалерку — ленинградскую тюрьму НКВД. Ребе был приговорен к смертной казни, которую под давлением мировой общественности заменили на ссылку в Кострому, а спустя несколько дней — на депортацию из СССР.

Ребе Раяц поселился в Риге. В 1931 году он совершил поездку в Палестину, а через три года перебрался в Польшу. В 1940 году с помощью американских хабад-

ников Ребе выехал через Германию в Ригу, а оттуда — в США. Прибыв в Нью-Йорк, Ребе Раяц приобрел дом в Бруклине по адресу Crown Heights, 770. С тех пор этот дом стал всемирным центром любавичского хасидизма, а число 770 превратилось в один из символов движения.

В США Ребе Раяц занимался еврейским воспитанием и сохранением еврейских традиций в условиях мощной ассимиляции, характерной тогда — да и теперь — для американской еврейской общины. Он создал в Нью-Йорке ешиву «Томхей тмимим», издательство «Кеѓат», Молодежное движение хасидов Хабада. После завершения Второй мировой войны Ребе приложил огромные усилия для духовного спасения остатков европейского еврейства.

Ребе Раяц скончался в 1950 году. Седьмым Любавичским Ребе стал его зять Менахем-Мендл Шнеерсон (1902–1994), превративший Хабад во всемирное движение.

Р. Менахем-Мендл родился в 1902 году в Николаеве, где его дед по матери Меир-Шломо Яновский занимал пост городского раввина. Он был назван своими родителями, Леви-Ицхаком и Ханой Шнеерсон, в честь Ребе Цемаха Цедека, его прапрадеда, и буквально с момента рождения стало ясно, что речь идет о необычном ребенке. Достаточно сказать, что Ребе Рашаб в день его рождения прислал шесть телеграмм, в которых не только поздравлял родителей с первенцем, но и, как вспоминала ребецн Хана, дал подробные указания, как вести себя с новорожденным. Так, он предписал, чтобы с первых дней жизни ему омывали руки перед едой, надевали на него *талит катан* и ермолку.

Уже в раннем возрасте Менахем-Мендл проявил поразительные способности в изучении Торы. В 17 лет он достиг такого уровня, что в Екатеринославе, где р. Леви-Ицхак служил раввином, просто не оказалось людей, способных его обучать, и поэтому отец, сам являвший-

ся одним из крупнейших знатоков Торы своего времени, стал давать ему специальные уроки.

В двадцатых годах р. Менахем-Мендл переехал в Ленинград и стал женихом Хай-Мушки — средней дочери Раяца. Он не только усиленно занимался, но и помогал будущему тестю в управлении созданной им подпольной системой еврейского обучения. В день ареста Ребе Раяца р. Менахем-Мендл, как всегда, рано утром отправился навестить его. Хая-Мушка успела крикнуть ему из окна: «Шнеерсон, у нас гости». Р. Менахем-Мендл сразу же понял, каких гостей имела в виду невеста — чекисты еще находились в квартире, — и бросился к одному из секретарей Ребе. До прихода чекистов с обыском они успели уничтожить многие документы и тем самым спасли жизнь сотням людей.

В 1927 году вместе с семьей Раяца он выехал из СССР и спустя несколько месяцев женился на Хае-Мушке. Р. Менахем-Мендл совмещал изучение Торы с учебой в Берлинском университете на инженерном и философском факультетах. В 1933 году продолжил обучение светским наукам в парижской Высшей инженерной школе, где получил диплом корабельного инженера, посещая параллельно лекции в Сорбонне. В 1941 году переехал в США и некоторое время работал инженером на судостроительном заводе в Нью-Йорке. С 1942 р. Менахем-Мендл возглавил центральные организации Хабада, созданные в США Ребе Раяцем — издательство «Кеѓат» и Молодежное движение хасидов Хабада. Под его руководством это движение быстро распространилось по всей территории США и открыло свои отделения во многих странах мира. В 1951 году он стал седьмым Любавичским Ребе.

Р. Менахем-Мендл пользовался колоссальным авторитетом во всем еврейском мире не только потому, что был одним из самых великих знатоков Торы, но и благо-

даря своей бескорыстной любви к каждому еврею. Он призывал евреев вернуться к своей культуре и наследию, направлял тысячи своих посланцев во все концы планеты, всегда уделяя особое внимание евреям России, помогая им и поддерживая с ними связь даже в годы самых жестких антиеврейских преследований. Об этом, в частности, свидетельствуют и герои этой книги.

За более чем сорок лет руководства Хабадом Ребе превратил его из хасидского двора, последователями которого являлись в основном российские евреи, во всемирное движение, куда вошли представители всех еврейских общин, снискавшее уважение и признание не только в еврейском мире. Не случайно вот уже многие годы президенты США ежегодно провозглашают день рождения седьмого Любавичского Ребе всеамериканским Днем образования.

Отец Ребе, Леви-Ицхак, о котором рассказывают несколько героев этой книги, занимал пост городского раввина Екатеринослава (после революции 1917 года — Днепропетровск) с 1909 по 1939 год. Несмотря на угрозы и преследования, он отстаивал интересы еврейской общины, за что в 1938 году был арестован и осужден за антисоветскую деятельность. В качестве меры наказания р. Леви-Ицхак был в 1939 году сослан в городок Чиили под Алма-Атой. Незадолго до смерти он получил разрешение переселиться в Алма-Ату, где скончался в 1944 году. Р. Леви-Ицхак оставил несколько очень глубоких каббалистических произведений и книг по хасидизму.

Его жена, ребецн Хана, сумела выехать из СССР в 1946 году. Р. Менахем-Мендл встретил ее в Париже и помог оформить документы на въезд в США. С 1947 года она жила в Нью-Йорке, где и скончалась в 1964 году.

Содержание

Давид Шехтер. Предисловие составителя	5
Зуша Гросс. Счастливчик	9
Михл Вышедский. Хозяин своей судьбы	31
Йона Левенгарц. Страх, который всегда с тобой . .	82
Мелех Левенгарц. Хасид Ребе	117
Дов-Бер Прусс. Один за всех, и все за одного . . .	154
Нисон Йосфин. А я упрямый.	190
Това Альтгойз. Книга Иова: современный вариант	223
Фрида Левин. Передача эстафеты	270
Меир Грузман. Настоящий хабадник	310
Менахем-Мендл Лейкин. Наука и религия — две вещи совместные	350
Перец Березин. Солдат на переправе	381
Краткая историческая справка	434

С 60 Солдаты на переправе / Д. Шехтер — Москва : Книжники, 2014. — 448 с. — (Чейсовская коллекция).

ISBN 978-5-9953-0315-2 (Книжники)

Материал для этой книги собран среди любавичских хасидов, живущих в Израиле — в Кфар-Хабаде, Лоде, Бней-Браке, Ришон-ле-Ционе. Их рассказы порой удивительно напоминают так называемые «хасидские майсы». Но в данном случае это не легенды, не фантастические истории о чудесах, которые то ли творили праведники, то ли из лучших побуждений придумали их последователи. Это и не дидактические истории о преданности, бескорыстии и готовности хасидов к самопожертвованию, призванные подвести слушателя к соответствующим выводам о пользе добра и вреде зла. Нет, это самые настоящие свидетельские показания о том, что в действительности происходило совсем недавно в СССР.

УДК 821.161.1-94+296.67
ББК 84(2Рос=Рус)6-4+86.33

ЧЕЙСОВСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

СОЛДАТЫ НА ПЕРЕПРАВЕ

Воспоминания

хасидов Хабада, собранные

и литературно обработанные

Давидом Шехтером

Подписано в печать 10.11.2013. Формат 84×100/32.

Усл.-печ. л. 21,84. Тираж 1500 экз.

Заказ № 4430.

Издательство «Книжники»

127055, Москва, ул. Образцова, д. 19, стр. 9.

Тел. (495) 663-21-06; (495) 710-88-03

E-mail: info@knizhniki.ru; lechaim@lechaim.ru

Интернет-магазин: www.knizhniki.ru

Отпечатано с электронных носителей издательства
в ОАО «Тверской полиграфический комбинат».

170024, Тверь, пр-т Ленина, 5.

Тел.: (4822) 44-52-03, 44-50-34. Тел./факс: (4822) 44-42-15.

E-mail: sales@tverpk.ru. www.tverpk.ru.



Зуша Гросс. 2000-е годы.

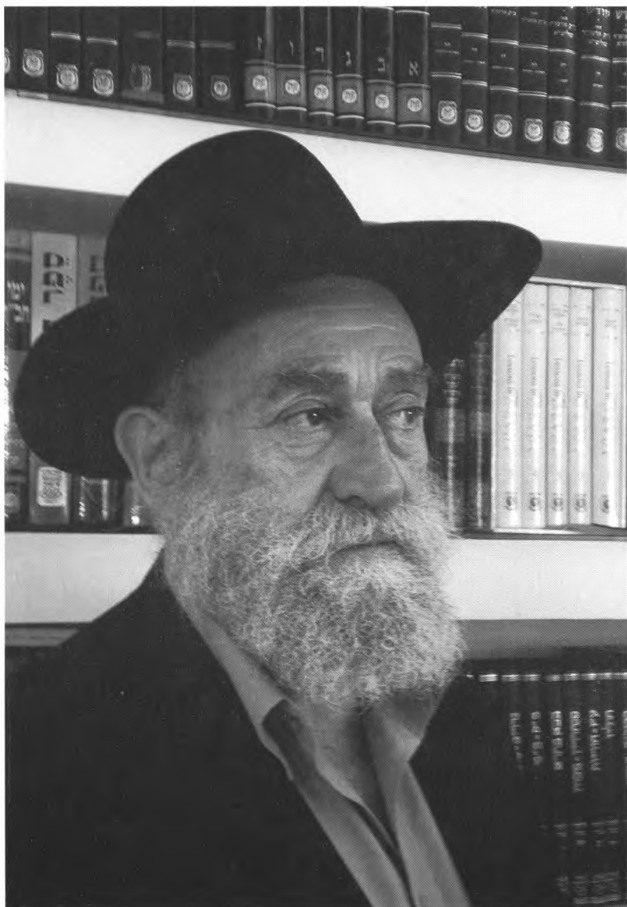


Шмуэль Миндель — дед Зуше Гросса со стороны матери, который был назначен Ребе Раяцем на должность шохета и машгиаха в Ленинграде.



Зуше Гросс во время Войны Судного дня.

Ребе дает доллар р. Зуше Гроссу (слева):
«Служите Всевышнему всем сердцем».



Михл Вышедский в своей библиотеке.

Кфар-Хабат. 2012 год.

Фото Давида Шехтера

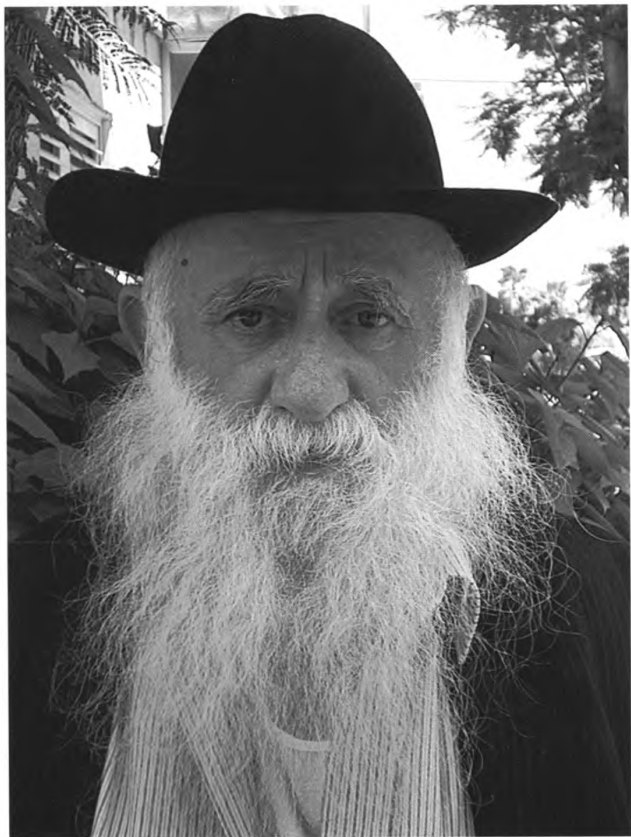


Михл Вышедский на одном из вечеров по сбору средств для евреев СССР. Нью-Йорк. 1967 год.

На свадьбе. Михл Вышедский (в центре), справа от Михла сидит его отец — Мойше Вышецкий (прежде Вышедский), крайний слева — Гендл Либерман (Футерфас; старший брат р. Мендла Футерфаса), крайняя слева — мать Вышедского Хася. Нью-Йорк. 1968 год.



Йона Левенгарц. Кфар-Хабат. 2008 год.
Фото Давида Шехтера



Элимелех Левенгарц. Кфар-Хабат. 2008 год.
Фото Давида Шехтера



Йона со своей матерью Эткой. Сухуми. 1958 год.



Будущие тесть и теща Йоны — Симха Городец-
кий с женой Раей. Кременчуг. 1924 год.



Три брата Левенгарц. Слева направо: Йона, Элимелех, Мойше. Сухуми. 1957 год.

Йона в цехе. Ташкент. 1961 год.

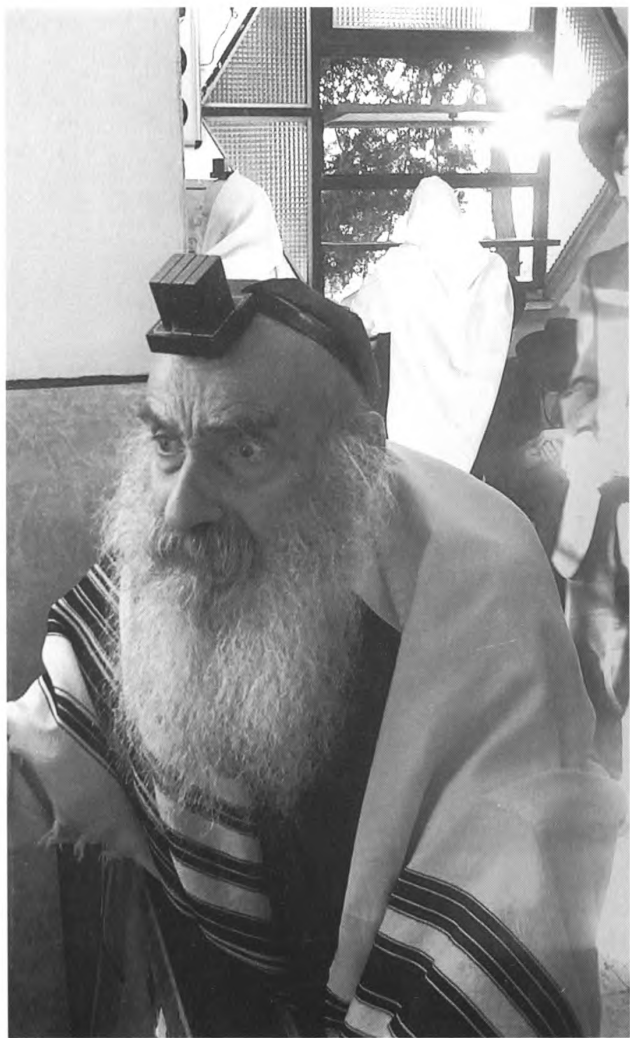


Семья Левенгарц. Слева направо: стоят Элимелех, Перла и брат Мойше, сидят отец Авром-Шмуэль и его жена Этка. Ташкент. 1964 год.

Элимелех Левенгарц (справа) у Ребе. Нью-Йорк. 1976 год.



Дов-Бер Прусс. 2008 год.
Фото Давида Шехтера



Нисон Йосфин. 2008 год.
Фото Давида Шехтера



Элиёгу Йосфин (отец Нисона) перед свадьбой.
Невель. Начало XX века.



Това Альтгойз. 2000-е годы.

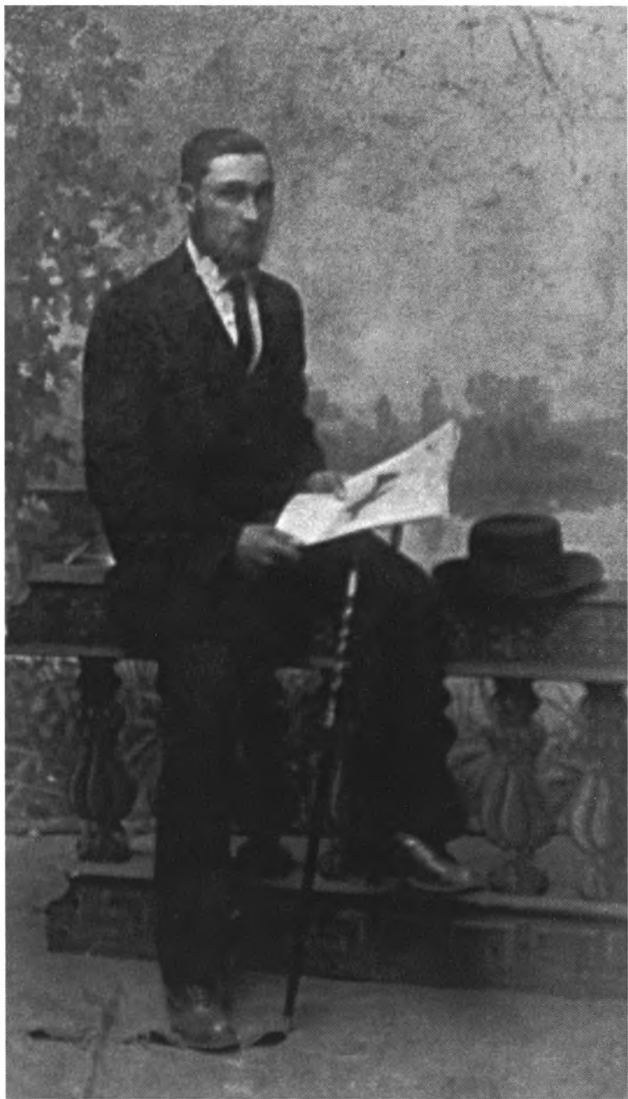


Вверху. Премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион вручает Зелигу Альтгойзу награду за отличную службу.

Хупа Товы и Зелига. Со свечами стоят Пинхас Альтгойз и Янкев-Йосеф Раскин. Кфар-Хабат. 1954 год.



Фрида Левин. Кфар-Хабат. 2000-е годы.



Отец Переца Березина Шмуэль в молодости.



Пере́ц Бере́зин (в центре на втором плане)
на своей свадьбе. Под Ленинградом,
в доме Березиных. 1949 год.

Пере́ц Бере́зин на хасидском фарбрэнгене
в 1964 году. Под Ленинградом,
в доме Березиных.



Перец Березин. Лод. 2009 год.
Фото Давида Шехтера



Менахем-Мендл Лейкин. В синагоге «Бейт-Хабад». Ришон-ле-Цион. 2008 год.



На банкете в честь шестидесятилетия, 1972 год.
Слева направо: сын Сергей, жена Злата,
Менахем-Мендл Лейкин.

С женой Златой на отдыхе в санатории «Дюны»
под Сестрорецком. 1977 год.



Меир Грузман.
Италия.
1946 год.



Меир Грузман с семьей. Израиль. 1965 год.



Меир Грузман в своем кабинете.

Кфар-Хабат. 2009 год.

Фото Давида Шехтера